

Абхазия в русской литературе

Составитель — кандидат филологических наук И. И. Квициния

Издательство "АЛАШАРА"

Сухуми — 1982

Редактор — кандидат исторических наук Т. Л. Аршба

Рецензент — доктор филологических наук Х. С. Бгажба

СОДЕРЖАНИЕ

- Е. ЕВТУШЕНКО. С душою — о Стране Души (Вместо предисловия).
- От составителя.
- Е. ЗАЙЦЕВСКИЙ. Абазия.
- Письма А. А. БЕСТУЖЕВА-МАРЛИНСКОГО.
- П. КАМЕНСКИЙ. Келиш-бей.
- В. НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО. Пицунда.
- ЧЕХОВ. Письмо неустановленному лицу.
- Д. МОРДОВЦЕВ. Прометеево потомство.
- ГАТЦУК. Абраскил.
- А. ТОЛСТОЙ. Эшер.
- ГОРЬКИЙ. Рождение человека. Калинин. Письмо З. Мориной.
- К. ПАУСТОВСКИЙ. Из горного дома. Три письма из Сухума в Одессу. Где нашли золотое руно. Бросок на юг.
- СТРАЖЕВ. Махаджир. «Сухумская антология».
- В. КАМЕНСКИЙ. Прибой в Сухуме. Привет Сухуму! Абхазия. Завоеванное счастье.
- П. ПАВЛЕНКО. Гагры.
- К. ФЕДИН. Письмо А. М. Горькому. Суук-су. Член делегации. Письмо А. М. Горькому.
- В. ШЕРШЕНЕВИЧ. «Эй, худые иссохшие скалы...».
- В. ШИШКОВ. Письмо А. М. Горькому. Отец Макарий.
- Д. ФУРМАНОВ. Гагры. Адлер. Афон.
- И. А. НОВОДВОРСКИЙ. В Сухумском кафе. Осеннее. Отпускное.
- А. ПОМОРСКИЙ. Бзыбь. Праздник урожая.
- Н. АСЕЕВ. Абхазия. Стихи о Сухуми. Майский дождь в Сухуми.
- Ю. ИНГЕ. Очамчире.
- А. СОФРОНОВ. Над берегом Черного моря. Буйволы.
- С. КИРСАНОВ. Растение в полете.
- И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ. Охота на Кавказе.
- Н. УШАКОВ. Гагры.
- Н. ТИХОНОВ. Абхазский пейзаж. Санчарский перевал. Сосны Пицунды. Беседы в Стране Души. О стихах Ивана Тарбы.
- А. ЧИВИЛИХИН. Горная речка.
- К. СИМОНОВ. Вырубленное из камня. Живет в своей любви к народу и земле. О поэзии Баграта Шинкубы.
- Д. ГОЛУБКОВ. Ткварчели. «Наверно, все деревни в мире...»

- Н. КРАСНОВ. Абхазия.
- Е. ЕВТУШЕНКО. Море. Под кожей статуи Свободы.
- С. ВАСИЛЬЕВ. Черты открытого лица.
- Евг. ДОЛМАТОВСКИЙ. Последние стихи Дмитрия Гулиа.
- Н. ГРИБАЧЕВ. Ткварчели.
- И. БАУКОВ. Рица.
- А. ДЕМЕНТЬЕВ. Абхазия в моем сердце
- Л. ТАТЬЯНИЧЕВА. Мыс Пицунда.
- А. КУДРЕЙКО. Сухумский снег.
- БОКОВ. «Какое там море?...» Абхазия. Новоафонская пещера.
- Р. АРТАМОНОВ. Сухуми.
- В. СОКОЛОВ. Пицунда.
- Р. КАЗАКОВА. «Абхазские слова во мне живут...»
- Я. КОЗЛОВСКИЙ. Па пляже.
- С. СМИРНОВ. Земля Апсны.
- КОММЕНТАРИИ

С ДУШОЮ — О СТРАНЕ ДУШИ

(Вместо предисловия)

Если взглянуть на карту мира, то Абхазия предстает как крошечный кусочек человечества. Но в том и сила человечества, что его отдельные — маленькие и большие части — неотделимы от понятия «человечество». Любой гегемонизм, шовинизм, национализм преступны потому, что пытаются поставить один народ над другим, возвыситься за счет чьего-то унижения. Именно потому не выжила ни одна империя — ни византийская, ни римская, ни французская, ни английская, что основным законом их существования было попираание одним народом других. Гитлеровский рейх довел идею империи до аморальной концентрации, выразившейся в газовых камерах, в их замысле поголовного истребления или порабощения народов во имя процветания арийской расы. Где все эти империи? Они распались. Кто бы ни пробовал создавать новые империи, они будут распадаться вновь.

Империализм породил особый литературный жанр — «колониальные» романы, когда жизнь завоеванной страны является лишь фоном приключений и любовных интриг завоевателей, а до страны, где происходит действие, до народа этой страны, писателю нет дела. К сожалению, привкус этого колониального романизма дал себя знать и в двух недавно прогремевших западных фильмах «Олений охотник» и «Апокалипсис». Эти фильмы критика противопоставляла один другому. «Олений охотник» обвиняли в милитаризме, «Апокалипсис» называли «антивоенным фильмом». Но несмотря на разницу их задач, у обоих фильмов один и тот же трагический недостаток: действие происходит во Вьетнаме, а сам вьетнамский народ — это только безликий фон событий. А жаль, потому что оба фильма талантливы.

Русская классика потому и стала классикой, что избежала такого взгляда на завоевываемые царским правительством народы. Русские писатели влюбились в Кавказ, и он не был для них только фоном для их интимных переживаний. Они старались понять душу других народов, раскрывавшуюся перед ними во всей глубине человеческих трагедий. Таковы стихи Пушкина, «Бэла» Лермонтова, «Хаджи Мурат» Толстого. Пастернак впоследствии точно заметил, что такая любовь к Кавказу вызвала даже зависть холодного придворного мира.

Страны не знали в Петербурге,
и, злясь, как на сноху свекровь,
Жалели сына в глупой бурке
за чертову его Любовь.
Правители поработали Кавказ, писатели влюблялись в него.

И среди народов Кавказа — один из самых интереснейших, неповторимых и генеалогически сложнейших — это абхазский народ. Абхазский язык метафоричен, музыкален... Так исторически сложилось, что в Абхазии образовалось уникальное содружество национальностей — грузин, русских, армян, турок, греков, персов, эстонцев, и даже существуют абхазские негры, когда-то по прихоти князей завезенные сюда ради потехи. Но немногочисленный абхазский народ не растворился в этом конгломерате, не утратил ни своих обычаев, ни языка, ни своей национальной гордости, которую не надо путать с национализмом. Я бы сказал даже, что истинный интернационализм невозможен без национальной гордости. Разве можно полюбить чужой народ, если не любишь собственного?

Русские писатели выразили свое уважение абхазскому народу не как формальную благодарность за абхазское гостеприимство. Эта книга, где представлены далеко не равноценные и по художественной значимости, и по глубине исторического проникновения произведения, важна именно своей неформальной искренностью. Она является своего рода историческим документом, неотъемлемым от истории наших народов: и абхазского, и русского. Эта книга написана с душою о стране души — Апсны. А если бы сюда можно было подключить произведения русских писателей, написанные не об Абхазии, но в Абхазии, то в этой книге были бы десятки тысяч страниц. Ведь под шум абхазских деревьев и моря писал свои военные романы Симонов, ведь Твардовский, бродя по гульрипшскому берегу, задумывал свои новые стихи о России...

Я написал в Абхазии не только стихи о ней, не только переводил абхазских и грузинских поэтов, но и «Сказку о русской игрушке», «Балладу о штрафном батальоне», северный цикл, здесь начал поэму Братская ГЭС»; написал многие главы романа «Ягодные места», завершил повесть «Ардабиола». Здесь хорошо думается, работается.

Когда-то безвременно ушедший абхазский талантливейший поэт Алексей Ласуриа открыл мне свой народ, свою страну. Мне повезло, потому что моим первым гидом по Абхазии был человек, у которого ничего не было от гида. Он мне много рассказывал и о трагедиях абхазского народа. А понять какой-либо

народ, не зная его трагедий, невозможно. Русские писатели — представленные в этой книге, не были специалистами по истории Абхазии. Но простим им это — ведь до сих пор не создана такая историческая монография, которая была бы достойна сложнейшей судьбы абхазского народа. Тем не менее я убежден, что будущая монография об Абхазии не обойдется без многих цитат из этой книги, полной важнейших исторических свидетельств. Гости бывают разные: одни могут только восхищаться пейзажами и застольными пиршествами, другие — злорадствовать по поводу увиденных недостатков. Но и первая, и вторая категория, несмотря на кажущуюся противоположность, одинаковы: это гости случайные, поверхностные. Самая лучшая категория гостей это те, кто не гости. Друг выше, чем гость. Истинная дружба народов — не «гостизм» и «тостизм», а взаимопонимание по простой и точной народной формуле, которую так любил Симонов: «Чужого горя не бывает». Эта формула — и есть нравственная основа этой книги.

ЕВГ. ЕВТУШЕНКО

Ноябрь 1980 г. Гульрипш

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Каждая письменная литература развивается в неразрывной связи с историей того народа, которому она принадлежит, опирается на его устно-поэтическую традицию.

Вместе с тем в формировании и развитии каждой из литератур немаловажное значение имеют взаимосвязи с литературами других народов. Русская литература является тем источником, на опыте которой учатся многие литературы. Связи абхазской литературы с русской и русской советской (как и с другими, в частности, грузинской) идут по многим каналам, одним из которых является отражение темы Абхазии в произведениях русских и русских советских писателей. Оно началось до возникновения абхазской письменной литературы. В ранних русских письменных источниках встречаются сообщения об Абхазии, но они носили нерегулярный характер.

В начале XIX века (в 1810 году) Абхазия добровольно вошла в состав русского государства, что создало предпосылки для ее экономического и культурного развития. С этого времени начинается проникновение русского влияния в Абхазию. Ее стали посещать многие выдающиеся культурные деятели России, в том числе писатели, которые посвятили Абхазии целый ряд художественных произведений. Правда, порой писателей привлекает экзотика края, но вместе с тем они стремятся к достоверному изображению исторических событий, этнографии, серьезное внимание уделяется литературному переложению услышанных легенд, поверий и т. п.

После победы Великого Октября, создания многонационального советского государства появились неограниченные возможности для развития

национальных литератур. В 20-х годах русские писатели посвящают Абхазии произведения, в которых проступают наряду с романтическими мотивами мотивы социалистического переустройства Абхазии.

Задолго до первого съезда советских писателей А. М. Горький говорил о необходимости контактов между литературами, чтобы «белорус знал, что такое грузин, тюрк..., а все другие знали, что такое украинец, белорус, узбек». Русские писатели в 30-х и последующих годах уже как бы заново открывали для себя Абхазию. Их интересует теперь не столько ее богатая природа, сколько преображенная жизнь трудового народа.

Тема Абхазии продолжает развиваться и в произведениях более молодого поколения русских писателей. Эта преемственность говорит о том, что Абхазия, её люди прочно вошли в творчество писателей России.

В настоящем сборнике «Абхазия в русской литературе» собраны воедино и представлены прежде всего материалы, характеризующие историю зарождения и развития данной темы в русской литературе. При этом отбирались произведения значительные по содержанию и художественным достоинствам, развивающие славные традиции нерушимой дружбы народов нашей страны. В основе расположения материала лежит хронологический принцип. Составитель стремился, по возможности, представить то или иное произведение в его целом виде. В тех случаях, когда произведение было большим, брались отдельные главы, отрывки, представляющие законченный эпизод или картину.

Сборник снабжен комментариями составителя, в которых даются краткие сведения о писателях, представленных в книге. Объем сборника, к сожалению, не позволил включить целый ряд произведений русских писателей об Абхазии. Их полное издание — дело будущего.

Данная книга не является первой попыткой собрать воедино произведения русских и русских советских писателей, в которых отображена Абхазия. Эту тему разрабатывали и продолжают разрабатывать член-корреспондент Академии наук Грузинской ССР Г. А. Дзидзария, доктор филологических наук Х. С. Бгажба, кандидат филологических наук С. Л. Зухба, кандидат исторических наук В. П. Пачулиа, кандидат филологических наук А. Л. Папаскири, кандидат филологических наук Б. А. Гургулия, историк С. З. Лакоба и другие. Вместе с тем мы постарались собрать в одной книге как можно больше произведений об Абхазии, созданных русскими писателями, попытались в какой-то степени систематизировать эти произведения, охватывающие период с XIX века до 80-х годов нашего столетия.

Настоящая работа выполнена в Абхазском институте языка, литературы и истории им. Д. И. Гулиа Академии наук Грузинской ССР.

Е. ЗАЙЦЕВСКИЙ

АБАЗИЯ

<http://apsnyteka.org/>

Забуду ли тебя, страна очарований!
Где дикой красотой пленялся юный ум,
Где сердце, силою пленительных мечтаний,
Узнало первые порывы смелых душ
И вдаль несло восторг живейших удивлений!
Волшебный край, приют цветов!
Страна весны и вдохновений!
Где воздух напоен дыханием садов
И горный ветерок жар неба прохлаждает,
Где нега точная в тиши густых лесов
К забвению и мечтам так сладостно склоняет!
Где поражают робкий взор
Кавказа ледяные зубчатые вершины,
Потоки быстрые, леса по цепи гор,
Аулы дикие и темные долины!
Где все беседует с восторженной душой!
Там сладостно ночей теченье,
Роскошны сны и тих покой!
Там в грудь мою лились восторг и наслаждение,—
И я дышал огнем поэзии святой!

1823 г.

Здесь и в приведенных далее в книге текстах сохранены авторские правописание и пунктуация.

ПИСЬМА А. А. БЕСТУЖЕВА-МАРЛИНСКОГО

БРАТУ ПАВЛУ ИЗ ГЕЛЕНДЖИКА

(от 23 апреля 1836 г.)

В самом деле, как можно сравнить природу и воды около Сухума с, нищими окрестностями Геленджика, а что до губительности климата — все один черт по всему берегу Черного моря.

БРАТЬЯМ НИКОЛАЮ И МИХАИЛУ ИЗ КЕРЧИ

(от 19 июня 1836 г.)

Не знаю, как-то перенесу предстоящее мне испытание в Абхазии, куда я назначен. Батальон этот расположен в Гагре и Пицунде, в самых гробовых местах Черноморского побережья. Места эти имеют только морем сообщение между собою, и то чрезвычайно редко. Нет ни зелени, ни живности, потому что за вал нельзя высунуть носа, а в самой крепости ходить — пули врагов с окрестных скал бьют людей даже на койках. Полтора комплекта в год поедается там цынгой и

<http://apsnyteka.org/>

лихорадками, и не было примера, чтобы кто-нибудь выжил там более двух лет или после двух лет без страданий до конца жизни, — а жизнь коротка после Гагр.

**БРАТЬЯМ НИКОЛАЮ И КСЕНОФОНТУ ПОЛЕВЫМ, ИЗДАТЕЛЯМ ЖУРНАЛА
«МОСКОВСКИЙ ТЕЛЕГРАФ»**

(от 19 июня 1836 г.)

Вы должны были получить одно мое письмо через Севастополь, писанное на фрегате «Бургас», после поездки в Сухум-Кале и Мингрелию. Да или нет? Я часто

хожу теперь по морю, и все мое младенчество обновляется мне, когда рыщу по валам Черного моря... Я переведен в ужасный климат Абхазии. Есть на берегу Черного моря, в Абхазии, впадина между огромных гор. Туда не залетает ветер; жар там от раскаленных скал нестерпим, и, к довершению удовольствий, ручей пересыхает и превращается в зловонную лужу. В этом ущелье построена крепостишка, в которую враги бьют со всех высот в окошки; где лихорадка свирепствует до того, что полтора комплекта в год умирает из гарнизона, а остальные не иначе выходят оттуда, как с смертоносными обструкциями или водянкою. Там стоит 5-й Черноморский батальон, который не иначе может сообщаться с другими местами как морем, и, не имея пяди земли для выгонов, круглый год питается гнилою солониной. Одним словом, имя Гагры, в самой гибельной для русских Грузии, однозначше со смертным приговором.

ГРАФУ А. Х. БЕНКЕНДОРФУ

(от 13 июля 1836 г.)

... Я убежден, что его императорское величество, назначая меня при производстве в 5-й Черноморский батальон в крепость Гагры, не предполагал, сколь смертоносен этот берег Черного моря, погребенный между раскаленных солнцем скал, лишенный круглый год свежей пищи и воды, даже воздуха... Для меня, полуживого, Гагры будут неизбежным гробом...

П. КАМЕНСКИЙ

КЕЛИШ-БЕЙ

... Смеркалось.

В одной из чище смазанных саклей, перед камином, где тлелось несколько ореховых бревен, сидел задумавшись Келиш-бей.

Земляной пол внутреннего покоя устлан был коврами, добытыми с бою или выменянными на пленников; на стенах висели заветные родовые шашки, винтовки, кинжалы, конские сбруи — единственные украшения жилища самого зажиточного, полномочного властелина гористанского; поодаль, в самых

непринужденных положениях стояла верная стража Келиша, составленная из многих испытанных молодцов, отличившихся особенно в последнем набеге против джикетов (1); любимый сын Келиш-бея, Аслан, только что вернувшийся из поездки в Лыхны, по восточному обычаю поджав ноги, сидел и курил трубку; время от времени выпуская густые клубы синего дыма, он слушал рассказы о последних подвигах своего отца; притворная внимательность, а подчас дурно скрытая горская зависть невольно прокрадывалась на лице его.

— Замолчи, Хамырза! Твои льстивые для меня рассказы, — сказал Келиш-бей словоохотливому повествователю — не любо Аслану; я помню себя в его лета: отец ли, брат ли, друг ли, мне неприятно было слушать про их удалые, отчаянные выходы, будь хоть цельный выстрел только, хоть удачный удар шашки по скрученной бурке, хоть смелая переправа только через кипучую Бзыбь или Кодор — мне было все равно; я кусал губы с досады, скрипел зубами, бессился: зачем то был не я, про кого рассказывали... А мой Аслан не далеко лег от своего корня.

При этих словах невольно взглянул каждый на исполинский рост Келиша, на его жилистые руки, возвышенное чело, и потупил взор при его орлином взгляде.

— Оставьте нас, — продолжал Келиш, — у меня есть дело к сыну.

Все вышли. Аслан встал, подошел к отцу. Долго молчали оба. Келиш начал:

— Чего хотят от меня турки, эти хитрые шалварники?... Хотят, чтобы Келиш-бей, душою горец, ненарушимо хранивший доселе обычаи, как наследье, передаваемое между нами от отца к сыну, поправил долг дружбы и святой закон гостеприимства: грозят мне, Келешу, за то, что я принял и укрыл Таяр-пашу в своем доме, в своих владениях. Мое ли дело до распрей паши Трабезонтского с султаном, до сто зеленых шнурков, так охотно жалуемых им каждому наместнику, который не умел бы рабски гнуть шеи перед посылаемым надсмотрщиком и выполнять беспрекословно все пустые, вздорные большею частью [приказы] дивана? Я видел в Таяр-паше простого изгнанника, беззащитного беглеца, преследуемого надменным, самовластным владыкой, просящего у меня крова: я не мог отказать ему, оттолкнуть его: кости отцов моих застучали бы мне проклятием в своих могилах... Его нет здесь более; я дал средства уйти ему, и связан клятвою не открывать его убежища, и не нарушу, не переломлю ее, пока эта родовая шашка не переломится о

череп которого-нибудь из врагов моих, а ты знаешь ее доброту — может ли это когда-нибудь статься?...

— Твой отказ, Келиш, — прервал Аслан, — раздражит султана, а гнев его нанесет ужасную, неотвратимую бурю на землю родимой нашей Абхазии, тобой же возвеличенной; тебе легко было управиться с твоими соседями, жалкими, по названию только царями; одно имя Келиша заставляло трепетать их; твоими аманатами были их наследники престолов; — а теперь, пожалуй, откажи — и слава Келиша споткнется о камень, который не преминет подбросить ему мощная рука султана...

Последние слова, как зерно пороха, пали на раскаленную душу Келиша: глаза его налились кровью, губы задрожали, лицо покрылось багровым румянцем; схватив одною рукой Аслана, другую рукоять кинжала, он закричал почти в исступлении:

— Молчи, молчи, Аслан! Что говоришь ты? Мне ли бояться кого-нибудь? Мне ли, как ребенку, из страха выполнять чью-нибудь волю?... Да есть ли хоть уголок для этого низкого чувства в сердце Келиша?... Моему ли сыну советовать унижаться?... Ты ли это, Аслан?... Видно, Мешади, посол турецкий, подлый льстец, достойный раб своего властелина, успел уже заговорить тебя?... Я не ожидал, что ты будешь слушать шипение этой ядовитой змеи! С презрением внимал я, когда говорил он устами его посланного, советовал, что заучил сам с детства в гаремах своих повелителей, дышащих развратом, изменою, коварством! Я выгнал его почти вон. Но ты, Аслан, ты вырос под небом свободной Абхазии, взлелеян руками бесстрашного Келиша, ты от кого научился языку слабодушия и трусости?... Что мне султан, хоть бы он владел мечом Мухаммеда! Умру, погибну первый, но не паду душою!... Аслан, ты оскорбил меня, и я не прощу тебе обиды, пока в первом удачном набеге ты не смоешь ее своею кровью...

«О, я смою, смою, и не мою обиду, думал Аслан, а твою, и не моею кровью, а дорогою, теснящею меня, ненавистною мне...»

— Аслан! — продолжал Келиш, — я хочу, чтобы ты завтра же отправил Мешади, чтобы я его не видел более; он знает мой ответ султану — и я не переменю его.

Келиш-бей, назначенный судьбою хотя на временное преобразование, возвеличение своего края, был одарен от природы всеми способностями, необходимыми для совершения исполинского подвига: его чело было означено печатью великого, прозорливый ум, твердость воли, иногда доходившей даже до упрямства, сила души и тела прорывались в каждом его поступке; покойный, снисходительный, даже кроткий до времени, как вообще человек сознающий свое превосходство во всем и над всем его окружающим, он был, подобен величавой реке, тихо, мерно катящей свои волны; но горе тому, кто задумал бы нарушить, остановить ее спокойное течение: в один миг она делается стремительным потоком, является демоном-разрушителем, губит, расторгает препоны; нет препятствия, нет преграды — все летит вдребезги под истребительными ее порывами! Таков был Келиш-бей, когда задумывал кто-нибудь мешать ему в исполнении его воли, его высоких, благородных помыслов, его возвышенных побуждений. В своих кровавых набегах, убийственных свалках с соседями, он походил на тигра, зашедшего кровь своей жертвы; неистовство Келиша равнялось лишь его кротости в спокойном духе, но ничего не было легче привести его в исступление. Аслан знал это, но зачем раздражал его?... Приятно играть непогодами моря, но подчас приятнее играть бурями сердца человеческого — и это тоже наслаждение не душ обыкновенных; а для тайного злодея страдания, бешенство отмеченной жертвы сладостны, как нечаянный подарок!

... Проходя мимо сакли, в которой расположено было незначительное турецкое посольство, Аслан вошел в нее.

— Здравствуй, Мешади! — сказал он лежащему на ковре с длинной бородой, с еще длиннейшею трубкой в зубах, турецкому дипломатическому агенту.

Кривой нос, маленькие глаза ни на минуту не останавливаются, полуоскаленные зубы, неширокий выпуклый лоб, словом все черты лица посла были отмечены клеймом коварства, пронырливости, лести; тщательный наряд, особливо круто свитая чалма из дорогой шали, делали его заметным между прочими находившимися в сакле. Мешади, прежде нежели отвечать на обычное приветствие Аслана, дал знак рукой выйти своей свите.

— Откуда, Аслан?

— Я от Келиш-бея, и мне славно удалось раздражить волка: взбесился до неистовства, идет открытой войной на султана — чего же лучше?...

— Аллах! Аллах! — закричал Мешади. — Келиш сгубил себя! Мои советы, добрые наставления — всем пренебрег он: поделом же будет: старый пес сам лезет в петлю!.. Я ли не уговаривал его выдать Таяр-пашу, смириться — и слышать не хотел!.. На что он надеется? Жаль бедного: как он заблуждается! Надобно, Аслан, поскорее избавить от труда делать глупости... Беда, да и только!.. Открытое презрение власти султана! нет, земля Аллаха не увидит подобного преступления!..

По мере того как Мешади витийствовал, Аслан хмурился — и наконец тучи дум повисли на бровях его.

— Что ты, Асланушко, Асланчик, задумываешься?... Полно ребячиться. Дело решено, друг... Пришла счастливая мысль в голову: неужели дрогнет рука выполнить ее?... Давно пора бы тебе сдвинуть с места эту гнилую колоду, которая лежит у тебя поперек дороги к власти, пора столкнуть в могилу этого старого упрямца... Отец! Отец! громкое слово! Какое же право имеет он губить тебя? А ты знаешь, к чему поведет отказ его султану: камень на камне не останется в Сухуме; земля абхазская, твое наследие, обольется кровью, спалится под молнией; вас пленниками поведут на показ в Стамбул, цепь и кол — вот чем одарит тебя Келиш, вместо абхазского престола: славный подарок от отца сыну!... Полно, Аслан; медлить нечего, выбор не труден: смерть Келишу или позор и казнь на голову Аслана!.. Да и к тому же твои надежды быть владельцем Абхазии могут остаться надеждами: не забудь, что ты сын, и одна рука султана может отстранить это препятствие; не ты, так Сафар-бей, Батал-бей, кто-нибудь да возьмется за дело — и вот золотая рыбка лучом проскользнет у тебя между пальцев, поймают другие...

...Верстах в трех от Сухума, в густой чаще леса собирались участники заговора Аслана, большею частью абхазцы, несколько цебельдинцев, мулла, три или четыре мамаевские черкесы и сибирский перебежчик из ссыльных. Аслана не было.

— Да, брат Хирбс, — говорил один из цебельдинцев абхазцу, — хорошо, что между вами у худых отцов есть добрые дети: зазнался Келиш-бей, стал давить, угнетать

вас — вот и явился Аслан, родной сын его; удачный выстрел — и вы опять свободны, опять грабь, режь, продавай пленников. А между нами, в Цебельде совсем не так: горы и леса спрятали нас даже от соседей, одноплеменных горцев, да не спрятали от своих злодеев-грабителей. Какой-нибудь Нимкуруш-Маршано, правда, молодец против русских, да не клади плохо шеи своей; позавидовал моему стаду баранов, о прошлой зиме, когда я гнал их на пастьбу к Келасугу — отнял; позавидовал моему кукурузнику — стравил; позавидовал моей сакле, уж на что я жил от него далеко, в Дале, над самой Кодорой — позавидовал и сжег. Что было делать! взглянул направо — прощай Тех, налево — прощай Наа (2), сказал и ушел к Вам, и долго буду бегать, скитаться, но все не разряжу винтовки на ветер; ржавей, сырей заряд: рано или поздно, высушит кровь Нимкуруша!...»

— Всякому свое, Сарлып, — отвечал абхазец, — меня отбичевали колючкой — как бы ты думал за что? Срезал винограду кисть в чужом саду, да зацепил и лозы! Меня мучили за виноград! Да целые леса им повиты: в иной чаще леса не продерешься из-за него; так нет: зачем берешь и портишь не свое; твой сосед назвал его своим, огородил, очистил, так и не тронь чужого; мое, твое, свое... меня били за слова, а винограду стоит сделать шаг, хоть объешься...

И это-то Келиш называет справедливостью. Нет, старая собака, ты от меня за побои даром не отделаешься! Огородился с 300 своих приверженцев да думаешь, что прав и цел, — нет, пуля справедливее тебя: она еще лучше отыщет и мое и твое...

— А что же ты думаешь, — подхватил другой абхазец, — после лучше будет? с Келишем и черт разве канет в омут?... Эх, брат, от зла не уйдешь, а к тебе оно придет и без зову. Убьем Келиш-бея и из его крови полезут шайтаны, словно мухоморы; нам с тобой и от них не видеть добра; как не вертись, а от камня на шею не отвертишься...

— Да хоть крови-то напиться, — прервал первый абхазец, — кровь мщения слаще нашего меду, слышал я...

— Борода! — прервал его презрительно ссыльный. — Вам, обманщикам народа, нелюб этот аглы адам (3); Келиш-бей не боится, гонит вашу братию — правовестителей ислама, потому что вы уничтожаете, вредите всем благим его замыслам, — и вот за что вы его не любите, поносите: а чем он виноват, что турки мешают ему, мешаясь не в свое дело? он не хочет, не должен признавать ни целей, ни видов турецкого правительства в водворении в его крае — да, в его крае: он стяжал Абхазию не одним наследством и снисходительностью турок, а умом и кровью, своею собственной кровью — да и скажи, пожалуйста, вот ты, тоже умный человек, все ведающий мулла, что за выгода твоим землякам тянуться за этим берегом, от Трапезонта до Анапы, держать везде свои гарнизоны и не сметь никуда показать носу, бросать кучи золота и без всякой пользы, надобности?...»

— Да, гяур, без всякой пользы говоришь ты; а посмотри на этого исполина неверных: ваш Урус тоже затевает здесь усилиться; надо мешать ему, надо

вредить; а без нас у этих джиганов горских не было бы и порошинки. Келиш с урусом (4) заодно, ищет его покровительства, Аллах знает, по каким видам надо и его столкнуть с этого света...

— Аслан! Аслан! — слышалось в другом кругу горцев, столпившихся около огня; и точно подошел Аслан.

Все умолкли.

На Аслане не было обыкновенного богатого наряда: простая, короткая абхазская черкеска, косматая бурка, башлык, на поясе широкий кинжал и неизменное ружье за плечами.

— Дело решено! — сказал он, обращаясь к перебежчику. — Завтра к ночи будьте все готовы, собирайтесь в крепость, не ходите кучками, по первому выстрелу бросайтесь в княжеские сакли... — продолжал он шепотом, обратись к одному из соумышленников, — Сафар, Рустан, Батал и мать — пусть все падут под кинжалами; за Келиша берусь я сам... За осторожность и тайну отвечает голова твоя, — слышишь?...

«Завтра», — говорил он про себя, — и злобная улыбка переливалась по лицу злодея, гранилась в каждой черте его. — «Завтра Аслан будет в возможности располагать жизнью и смертью каждого из вас; многим веревка и камень для лучшего сохранения тайны»...

Долго еще совещались злоумышленники. Вихрь бушевал по лесу и разносил их клятвы и угрозы; огонь догорал, дождик начинал накапывать — стали расходиться.

... Прежде нежели приступлю к развязке кровавой драмы, прошу читателя взглянуть на исторический ход дел Абхазии того времени.

Абхазия, пролегая по юго-восточному берегу Черного моря, сперва широкою долиною, постепенно суживается в виде треугольника до укрепления Гагры, основание которого представляет берег моря, а один из боков скалистый хребет Кавказа. Долина эта в прибрежных своих оконечностях заключает много бухт, хотя не слишком выгодных и не всегда доступных... Она издавна обращала на себя внимание многих государств, а с половины XVII столетия, если не соделалась совершенною данницею Турции, то по крайней мере считалась ею. В 1770 году, во время пребывания в этом краю генерала Т. с русскими войсками, действовавшими против турок, владетельный князь Абхазии Леван, происходивший из знаменитого рода княжеского в Мингрелии Шервашидзе, просил генерала Т. принять его под покровительство Российской империи, но переговоры эти не состоялись, были прерваны буйными неприязненными поступками абхазцев против находившегося там русского отряда. Спустя несколько лет позже Леван Шервашидзе принял мухаммеданскую веру и получил от Порты в управление крепость Сухум. По смерти князя Левана Абхазия разделилась на уделы между детьми его; но старший из них, известный нам Келиш-бей, умел соединить в своих руках управление всем княжеством и

обратить на себя внимание и расположение турецкого правительства. Первым подвигом его оружия было покорение джикетов, народа, обитавшего на берегу Черного моря, от Гагр до селения Мамая (5). Имея всегда при себе стражу, готовую к бою, и несколько хорошо вооруженных галер, он держал в страхе всех жителей морского берега, от Геленчикского залива до Батума. Многие из последних не принадлежали ему, никто, видимо, не признавал его власти, но боялись все без изъятия. В своих неожиданных набегах, налетая тучею, грома и опустошая все, он невольно вселял страх и вынуждал мнимое подданство каждого племени; влияние его на Батум и вообще турецкую Гурию поддерживалось родственными связями с пашею Трапезонтским. В 1779 году он занял крепость Анакрию (6), принудив силою Григория Дадыяна, князя Мингрельского, уступить ее; чтобы упрочить это новое приобретение и иметь даже перевес над самою Мингрилиею, он вслед за тем захватил старшего сына Григория, Левана. малолетнего наследника княжения, под видом аманатства; но Русское правительство, вмешавшись в дела, заставило его возвратить малолетнего князя. В 1806 году Келиш-бей, по родственным связям, дал у себя убежище отрешенному Портою Трапезонтскому Таяр-паше, сыну известного в истории Кавказа Батал-паши. Султан потребовал его выдачи, но Келиш-бей отговаривался законами гостеприимства, выслал беглеца из своих владений и дал ему средства уйти в Россию. Порта, не имея, возможности законно наказать мнимого своего послушника, вооружила против него родного его сына, Аслан-бея, обещав за голову отца обладание княжеством и власть полномочного правителя Абхазии.

... День прошел в страшных .предчувствиях природы; ночь — роковая ночь!

Еще к полудню разыгралось море: густые, черные клочья облаков быстро обтекали раскаленный, хотя осенний свод сухумского неба; порывистый ветер с моря свистел по побережью, и к вечеру заревела буря... Огненные ленты молний, сопровождаемые грозными раскатами грома, фосфорический блеск крутящихся валов, треск исторгаемых с корнем деревьев окрестного леса — то было три бури вместе: волна на море, ураган в лесах и предгорьях метель и вьюга на темени цебельдинских исполинов.

Часу в 8-м вечера молодая женщина, в широкой турецкой абе (7), вышла из крепости; пройдя сады и повернув прямо к берегу, она остановилась на прилежащем песочном кургане, набитом с моря. Блеснувшая молния осветила Фатьму. В руках ее мелькнул знакомый золотой кинжал... Опять молния — и ее уже не было на прежнем месте... Грянул гром, отдаленные раскаты повторились в отголосках... Потом смолкло все, могильный мрак и тишина воцарились на земле и в небе...

В сакле Келиш-бея, по обыкновению, горел огонь в камине — товарищ всех помыслов, дум, занятий горца, напутная звезда самых тайных, сокровенных движений души и тела, всего существа горца, любимый предмет его созерцания.

И знаете ли, как скоро прививается эта привычка вообще на Кавказе — эта нежная привязанность, страсть к дымящемуся, чуть мерцающему огоньку в камине?.. Как часто случалось просиживать по целым часам и тонуть в мыслях с

этим, хотя безмолвным, но теплым как душа друга собеседником; как часто случалось поверять ему свинцовые думы и тягостные чувства тоски и грусти, под которыми изнемогало сердце! То блеснет, то стихнет, то горит ярким пламенем — и вдруг потухнет, затлеет и подернется пеплом, нашептывая будто: «вот жизнь, судьба твоя!»...

Келиш-бей сидел один с верным Хамырзой своим, поверяя ему, как товарищу еще детства, свои мысли, предположения о будущем устроении Абхазии.

На дворе не переставала завывать непогода; холодный, порывистый ветер дул в неплотно притворенные оконницы, развешенные по стенам оружия и сбруи трястись и звенели, как бы наскучив уже своим бездействием, как бы взывая к своему владельцу, к его мощной руке — отряхнуть с них прах забвения; но не тем был занят Келиш.

— Так ты, Хамырза, не согласен, что легче оканчивать, нежели начинать высокое дело, и что развитие его и конец таятся большею частью в начале, как в зерне кукурузы, прозябающем под землею, весь будущий плод с чалой и с початками.

— Согласен, Келиш, — отвечал Хамырза. — Как бы ни было обширно предприятие, великий человек, всмотрясь прежде пристально, обдумав весь постепенный ход его, легко свершит начатое, даже без помощи, без содействия других; но преследование недостижимой цели в руках самого великого делается мечтою, прости мне слово — сумасбродством. Ты, Келиш, много возвеличил нашу Абхазию, сделал ее грозною для всех соседей; но что в том пользы для самого края? Прибавилось ли хотя на волос чего-нибудь к его благоденствию? Бедность, дикость, необузданность — по-прежнему, наши благодетели; зверские, кровавые набеги — наша услада, наша пища... Я сам не могу отвыкнуть от них; без радости, какого-то непонятного чувства удовольствия не могу про них вспомнить, рассказывать; и таковы мы все, а ты хочешь сделать из этой толпы диких, алчных зверей что-то благоустроенное, спокойное, даже мирное, и вместе грозное? Невозможно, невозможно, Келиш! ты сам себя обманываешь.

— Ты благоразумно обвиняешь меня, Хамырза; я люблю слушать твои смелые речи; точно ли виноват я во всем, и виноват ли я один? Будь в твоей воле взрастить, воспитать тучную виноградную лозу, — с целью некогда вкусить сладкого, сочного плода ее, — отказал ли бы ты себе в этом удовольствии?.. Но виноват ли будешь ты, если сосед твой, или хуже — из домашних же твоих кто-нибудь станет подламывать подпорки, подрезывать не вовремя лозу, обрывать неспелые еще гроздья, словом, истреблять ее? Вот мое положение. Я открою тебе главный недуг, заразу Абхазии, и вообще всего Гористана, что хотел бы я сделать и успел бы, может быть, если бы всякому высокому помыслу суждено было сполна довершать в глазах того, кто его задумал; но в этом мире наоборот как-то все устроено, все как-то не доделывается... .Слушай меня: главное препятствие всякому желанию устроить, улучшить, претворить который-нибудь из участков Кавказа встречаем в упрямом однообразии характеров обитателей, неподвижной одинаковости их нравов, обычаев, образа жизни, войны, привычек, даже одежды, вооружения; однообразие это определяется, выкраивается по одной и той же

мерке тремя главными обстоятельствами, которые держат все в оцепенении. Первое — природа; там, где она дика, где скована льдом и вечными снегами, где она отвердела в граните, там обитатель-горец, видимо, остыл, замерз, окаменел для движения вперед, возможного на пути образованности; там, где она цветиста, роскошна, как например природа наших долин абхазских, привязанность обитателя так сильна к ней, так околдовывается он ею, что нет человеческой силы, которая бы могла оторвать его от нее, так глубоко уважение, обожание к этой очаровательнице, что он считал бы преступлением всякую попытку улучшить ее, придать ей более блеску и полезности, приспособить ее к своим нуждам. Второе мешающее обстоятельство — это, какова ни есть, наша религия: я сам мухаммеданин, но ненавижу, друг, мухаммеданизм, подавляющий все естественное, доброе, благое; его проповедники, эти муллы — первые хищники, развратители: они, как пиявки, сосут кровь нашу, как черви подтачивают прямое дерево характера горцев, с избытком награжденного от природы самыми прекрасными высокими дарами; их уловка всегда быть личными деятелями, не давать себя ставить средством к достижению какой-нибудь цели; оттого все мои попытки дружить с ними, подчинить их моему влиянию оставались тщетными и большая часть моих благодетельных предположений неисполненными. Третье и более всех прочих затруднительное обстоятельство, Хамырза, — продолжал Келиш, — это страшное устройство нашего внутреннего быта, нашего самоуправления, сила, ловкость, удалство, несколько личных воинских подвигов в набегах и грабежах дали право некоторым из среды нашей же на власть, на вес между нами; но в чем состоит это право? в наружных знаках уважения, в большем участии в добыче; нам снимают шапки, стоят перед нами почтительно, называют нас князьями, дают некоторую часть, не как лань, но как произвольный подарок из своей собственности, — вот все преимущества владельца горского; но пусть из круга этих владельцев вырвется один, который захотел бы большего... ну пусть я... ты знаешь, Хамырза, чего может хотеть Келиш: ему мало ничтожного предпочтения, он хочет влияния на судьбу народа, его преобразования — тогда эта толпа мнимых подданных, поверь мне, найдет случай даже и Келиша укорить в неучастии в общих опасностях, в трусости, в сомнительном молодечестве, в неумении соблюсти выгоды и пользы своих одnogорцев в отношении другого народа, где является для них же представителем, с обманом, с хитростью, часто с потерей части: даже родные его дети, товарищи по званию и доблестям еще будут менее его сотрудниками и защитниками; а муллы — об этом и говорить нечего: вот положение Келиша, вот его и оправдания...

Высчитывая мои подвиги завоевательные, ты говоришь, что существенное положение управляемого мною народа не улучшено: судьба горца, говорю тебе, брошена

сама природой в его собственные руки, и всякое стеснение, его свободы, которое неминуемо было бы следствием улучшения его состояния, он не простит и своему благодетелю, просветителю — назови как хочешь; он не отдаст ни одной части этой свободы за весь золотой сераль султана: разве возьмешь ее силой, да что же в том проку, что в нем без нее? виноградина без сока, тело без жизни, гнилой каштан, даже негодный и на настилки... Отними свободу — он зачахнет, сгниет,

не захочет жизни... И что же думаешь, Хамырза, наше кровомщение, к а н л а, как зовем мы его обыкновенно, так зря завелось между нами? нет, товарищ, это лучший залог взаимной безопасности и самосохранения каждого; и твой упрек в необузданности, которая так редко обнаруживается в этом насильственном обычае нашем, уничтожается сам собою. Мы не турки: у нас нет кадиев судить, рядить, находить правого и виновного; ...кинжал — сыщик... Знаю, знаю, не одно лезвие острится на главу Келиша — и поделом: сильный найдет сильнейшего, а здесь может решить и не личная схватка рука об руку, грудь с грудью: меткий выстрел из-за куста... Но боязнь не останавливала бы меня: одно убеждение, что мне не удастся свершить начатое, отнимает у меня руки, колеблет мой дух... Много вертится полезного, великого, для вас непонятного в голове Келиша; но он не скажет, хоть тебе, Хамырза, что в этом сердце стучит предчувствие не осуществить сполна его высоких помыслов, а знаешь ли кому заповедно кисметом это высокое назначение?... Взгляни, вот подарок Русского царя (8) — и я унесу его в гроб с собой, как залог обещания устроить, образовать, просветить мою Абхазию...

Восторженное лицо Келиша прояснилось, глаза его блистали каким-то пророческим светом. В эту минуту, если он не казался великим, то был по крайней мере провозвестником, сознавателем.

Далеко за полночь расстался Келиш со своим собеседником: знал ли последний, что не увидит более своего покровителя?... Кому не случалось засыпать под ясным, тихим небом, а просыпаться под бурей неожиданной непогоды? Таков ход дел человеческих, так обманчивы ожидания, так сомнительны самые верные предположения, так безмолвен голос сердца, когда бы он мог быть и поразговорчивее!..

Взволнованный Келиш еще не ложился; мысль его далека была от смерти: он думал об Абхазии.

Вдруг зашумело что-то перед саклей, слышались чьи-то скорые шаги, дверь распахнулась и показалось дуло винтовки, а за ним и бледное, безумное лицо Аслана... Грянул выстрел, и несчастный Келиш упал на землю: роковая пуля злодея редко пролетает мимо цели, духи ада управляют ею, наводят на прицеленную жертву...

Ярко вспыхнуло пламя в камине и осветило кровавое пятно на человечестве, зверскую картину отцеубийства.

Злодей имел духу подойти еще к теплomu трупy отца своего, хотел дознаться не дышит ли он, проверить свое злодейство...

Соумышленники Аслана ворвались в княжеские сакли, по трупy владельца прошли они к другим покоям; Сафар-бей с матерью ускользнули, Батал (9), тяжело раненный, сочтенный за убитого, уцелел; Рустан-бей погиб, злодеи не пощадили даже и новорожденного младенца.

Шум и тревога разлились по Сухуму; охранная стража сбежалась, но поздно! Тот, кто так часто водил ее на бой и славу, лежал теперь без жизни...

Мгновенно, молнией падает раскаяние в душу самого закоренелого злодея: огненной змеей ввивается оно в сердце и сожигает самую бесчувственную душу... Аслан, оглушенный, как громом, своим преступлением, выбежал из сакли... Отцеубийце душно и под открытым небом; воздух его, земля колеблется под его ногами.

1837

1 Одно из абхазских племен.

2 Тех, Наа — горы в верховьях Кодора.

3 Умный человек (турецкое).

4 Русскими.

5 Черкесское село к западу от Гагры (авт.).

6 Крепость на берегу, у устья Ингури (авт.).

7 Плащ (турецкое).

8 Бриллиантовая табакерка с портретом, полученная в подарок от императора Павла I (авт.).

9 Братья Аслан-бея (авт.).

В. НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО

ПИЦУНДА

У берега стояло несколько заранее приготовленных лошадей.

Сели — и в ущелье.

С полчаса — все глушь да дичь... Но рот показались изгороди, опушенные розовыми лепестками нарциссо-цветных анемон, славших нам навстречу свой благоуханный привет. Вот какой-то сад чуть-чуть наметился вдали. Только и различаем ближе к нам стриженое «шапкой» дерево, увешанное гирляндами винограда. На одну минуту дохнули на нас прелестные скабиозы, крупные голубые цветы которых расстилались тут же. Весь лужок перед саклей был усеян ими. Какой-то мальчонка, с глазами больше его самого, и выющимися локонами черных, как смоль, волос, безжалостно топтал цветы и боролся с маленьким белым козлом, что, по-видимому, доставляло бесконечное наслаждение его сестричке, еще меньше, с глазами еще больше и кудрями еще завивистее... Она хлопала микроскопическими ладошками, выкрикивала что-то, видимо, ободряя несколько струсившего козленка, и в восторге обратилась ко мне, воспевая, вероятно, похвальный спич братишке своими пухлыми, точно пчелой ужаленными, губками. Я до того загляделся на эту идиллию абхазской долины, что и горы забыл... Уж очень комична была солидная важность козла, который

точно дело делал, подставляя свой упрямый лоб маленькому шалуноу и уморительно потоптывая в землю копытцами...

Плетневая сакля была тут же, но самая жалкая, бедная. Зверолов-зырянин в тундре устраивается богаче по отношению к домашнему обиходу его жилья; хотя, разумеется, для того же зырянина, запирающегося на всю долгую зиму в свою избу, невозможна ни та благоухающая чистота, какую мы встретили в этой нищенской лачуге, ни то изящество обращения с гостем, которое абхазцы [впитали в себя с молоком матери]. В самом деле, странствуя по Кавказу, я не раз имел случай убедиться, что неуклюж и грязен бывает только раб или сын раба, не сумевший сбросить с себя еще этого наследия своих отцов и дедов. Человек свободный — не бывает неповоротлив, груб. Возьмите вы любого крестьянина, — грузина, абхазца, горца, — как он красив, ловок; как он сумеет всюду и при всякой обстановке отстоять свое достоинство, не растеряться, не ударить в грязь лицом!.. И в этой бедной семье абхазского поморья мы встретили такой изящный прием, как и в других местах горного Кавказа... Обитатель этого шалаша нисколько не стыдился своей бедности, и владетельный принц едва ли мог бы принять нас с таким же достоинством и радушием, как этот полудикарь.

— Мы живем бедно... Не [строим каменных домов]. Тепло!..

И действительно, плетеные стены, свободно пропускающие благоуханный воздух, — гораздо лучше каменной темничной кладки, возведенной точно для того, чтоб внутри ее копились смрад и духота от бесчисленных, плодящихся там, поколений...

Шалаш, куда вошли мы, был только началом абхазского поселка или, лучше, починка. За полверсты — стояла другая лачуга, от нее сажень за полтора-третья.

Четвертая в сторону забила, пятая на вершушку холма забралась и закуталась там от постороннего взгляда в зеленое облако дубовой рощи... Всего — хижин двадцать, а разбросалась верст на восемь. Абхазец выбирает жилье по душе, мало думая о необходимости скучиваться. В центре починка — оглоданные временем развалины

большой круглой башни. Очевидно, основание ее было несколько больше вершушки. Узкие бойницы начинаются сажень за пять от земли. Здесь вся эта абхазская деревушка спасалась, когда ей грозило нашествие джигетов с севера или сванетов с запада. Разбойничьим шайкам этим оставалось только одно удовольствие — сжечь все хижины, истребить сады, угнать скот, который еще не успели спрятать хозяева, и поджигитовать и помолодечествовать перед башней... в почтительном расстоянии от ее бойниц, откуда сыпались на грабителей мелкие пульки или, ранее — острые стрелы защитников.

Несколько пооглядевшись, я заметил, что хижина абхазская, куда мы пристали, состоит из двух половин, разделенных таким же плетнем. Отделение прекрасного пола здесь не так педантично наблюдается, как в других мусульманских странах.

Красивая абхазка сидела в углу, вместе с сестрой, которая только лицо свое завесила, да и то так, не по необходимости, не потому, чтоб это было в обычае, а чтоб показать, что и мы-де приличия знаем. Из-за перегородки мычала корова, даже пахло навозом.

Окошечки такие, что едва-едва кулак просунешь. Да и не надо: свет сквозь стены сакли отлично проходит: и воздуху полный доступ. Часто хижинки строятся совершенно круглые.

Какие микроскопические коровы здесь! Я даже засмеялся, увидев одну тощую у хозяина. Наш годовой теленок, пожалуй, больше будет. Кормиться их прямо в лес выгоняют. Надзор очень плохой... Абхазцы богаты воображением. Нигде так прочно не живет предание старины, так поэтично не рассказываются былины. Мир сказок здесь — почти мир действительности. Никто и не сомневается в их непреложной реальности. Абхазец до сих пор и магометанин, и христианин, и язычник. Рядом с верой в Магомета он благоговеет перед крестом и остается верен культу своих языческих богов.

Удивительно красиво умеют абхазцы повязывать себе голову башлыком, служащим им вместо шапки. В этом их отличие от черкесского костюма... Замечательно красив и строен кажется этот полудикарь, когда он стоит перед вами подбоченясь и опершись одним плечом на ружье. Стройный стан, смелое лицо, развязность, даже некоторый аристократизм приемов делают его хорошим сюжетом для картины.

Мы долго не могли оставаться в одинокой лачуге абхазского починка. Пароход дал свисток, нужно было торопиться. А там, с палубы, опять этот ряд веющих диким величием гор, опять эти сизые ущелья, залегающие между ними в поэтическую глушь страны, за передними горами видны несколько туманные вершины других, а на третьем плане едва-едва показываются или, лучше, слегка отделяются из голубой дымки смутные очертания самых дальних гигантов...

Быстро оставляем мы за собой всю эту красоту, и жаль оторваться от нее, сердце болит о том, что нет возможности самому исходить каждый уголок этой дивной Абхазии.

И чем дальше, тем она лучше и краше...

Горы отступают все дальше и дальше от берега... Перед нами уже, словно зеленые облака, круглятся и расстилаются рощи и леса... Пологий мыс врывается вперед, уходя далеко в море... Зеленые облака на нем еще более скучиваются... Растительность как бы хочет здесь развернуть всю свою невиданную роскошь. Точно волшебный сад какой-то... Солнце обливает золотым блеском этот передний план картины, оставляя во тьме горы, составляющие фон ее... Даже море кажется каким-то изумрудным, отражая в покойном зеркале своем изумрудную зелень... Между деревьями мелькает что-то круглое, какое-то красное строение с конической крышей...

А. ЧЕХОВ**ПИСЬМО НЕУСТАНОВЛЕННОМУ ЛИЦУ**

Сухум. 25 июля 1888 г.

Я в Абхазии! Ночь ночевал в монастыре «Новый Афон», а сегодня с утра сижу в Сухуме. Природа удивительная до бешенства и отчаяния. Все ново, сказочно, глупо и поэтично. Эвкалипты, чайные кусты, кипарисы, кедры, пальмы, ослы, лебеди, буйволы, сизые журавли, а главное — горы, горы и горы без конца и краю... Сижу я сейчас на балконе, а мимо лениво прохаживаются абхазцы в костюмах маскарадных капуцинов; через дорогу бульвар с маслинами, кедрами и кипарисами, за бульваром темно-синее море.

Жарко невыносимо! Варюсь в собственном поте. Мой красный шнурок на сорочке раскис от пота и пустил красный сок; рубаха, лоб и подмышки хоть выжми. Кое-как спасаюсь купаньем... Вечереет... Скоро поеду на пароходе. Вы не поверите, голубчик, до какой степени вкусны здесь персики! Величиной с большое яблоко, бархатистые, сочные... Ешь, а нутро так и ползет по пальцам.

Из Феодосии выехал на «Юноне», сегодня ехал на «Дире», завтра поеду на «Бабушке»... Много я перепробовал пароходов, но еще ни разу не рвал.

На Афоне познакомился с архиереем Геннадием, епископом сухумским, едущим по епархии верхом на лошади. Любопытная личность.

Купил матери образок, который привезу.

Если бы я пожил в Абхазии хотя месяц, то, думаю, написал бы с полсотни обольстительных сказок. Из каждого кустика, со всех теней и полутеней на горах, с моря и с неба глядят тысячи сюжетов. Подлец я за то, что не умею рисовать...

Д. МОРДОВЦЕВ**ПРОМЕТЕЕВО ПОТОМСТВО***

Из истории последних дней независимости Абхазии

(Печатается с сокращениями.)*

Часть первая

I

В ясную лунную ночь 2-го мая 1808 года, между разбросанными по склону горы саклями аула Соуксу, любимой резиденции владетелей независимой Абхазии, по извилистой горной тропе шли два путника. Судя по одеянию, это были абхазцы. Но богатые бешметы и оружие, сверкавшее при лунном свете серебром и дорогими камнями, изобличали в них особ высокого звания. Один из них был старик, судя по седым длинным усам; однако и стройный, гибкий стан, и юношеская легкость походки показывали, что седое дитя гор и дивной южной природы еще незнакомо с приступами обидной старости. Другой был высокий, широкоплечий, с перетянутой в рюмочку талией, молодой человек. Позади их, в почтительном отдалении, следовали две тени. То были их нукеры.

Весенняя южная ночь дышала чудной красотой. Внизу, на гладкой поверхности моря, тянулась широкая серебристая полоса лунного света и упиралась в самый берег, от которого доносился легкий метрический говор моря, строго-размеренно набегавшего на пологий берег и мелодично шуршавшего его отполированными гальками. От полуразрушенных каменных стен древнего монастыря, темным остовом высившегося над Соуксу и его серыми саклями, и от этих саклей, и от укреплений спящего аула, и от стройных пирамидальных тополей и иглоподобных кипарисов на кладбище аула ложились черные тени, точно ножом отрезанные от освещенных луною гор, а среди них то там, то здесь теплились фосфорическим блеском светящиеся червячки. С гор по временам доносился однообразный, как бы плачущий, крик ночной птицы, да мерно журчала черная речка Соуксу, скатываясь к морю по неровному каменистому ложу.

— Я рад, что Арслан, наконец, исправился, — заговорил старик, прерывая молчание. — Хвала Аллаху!

— Да, отец, много он причинил нам горя своим неповиновением и злобой, — сказал в свою очередь молодой спутник.

— Ну, мой милый Батал, забудем старое: пусть оно покроется пеплом забвения... Теперь я спокойно могу управлять своим народом, не боясь нашествия ни кубанцев, ни турок. В союзе с Россией Абхазии не страшен и сам падишах. Посмотри, как храбрые слуги Белого царя урезают полы бешметов и у Турции, и у Персии. Я еще помню, когда Крым был под властью пятою падишаха. А теперь Крым — баштан Белого царя. Из Крыма к берегам нашей дорогой Абхазии плывут корабль за кораблем, и уже на мачтах у них не полумесяц треплется на полотнищах, а оттуда глядит наша горная птица-орел, да еще с двумя головами.

— Да, отец: одну отрубишь, другая останется, — улыбнулся тот, кого старик назвал Баталом.

— Скоро, пожалуй, и Анапу эта птица заклюет, — продолжал старик. — Да и Поти, думаю, скоро прикроют урусы своею шапкой, а то, чего доброго, и наш кунак, Кчук-бей, сам протянет руку за этой шапкой да за желтыми кругляками. Вот у падишаха и с этой стороны будут отрезаны полы бешмета. А Персия? Разве с Бабахана, повелителя Ирана, урусы не снимают с ног чувяки? Как ни реви его лев, а с двухголовой птицей ему не справиться: — она высоко летает и смело смотрит на солнце. А у Белого царя, говорят, и солнце никогда не заходит.

— Как так, отец? — удивился Батал. — Как не заходит солнце?

— Так и не заходит, мой милый Батал: у Белого царя столько земли, что когда он в Петербурге ночью ложится спать, то за Сибирью уже встает солнце; тут одни вечерний намаз творят, а там другие — утренний.

— Значит, у урусов и теперь день?

— У одних день, а у других ночь. Теперь одни урусы видят месяц вот этот, а другие — солнце.

— Аллах, Аллах! — с удивлением воскликнул Батал.

— Вон и Наполеон ничего не мог сделать Белому царю, — продолжал старик. — Пришел, постоял у порога его сакли, а через порог не посмел переступить, — двухголовая птица глаза бы ему выклевала.

Продолжая таким образом разговаривать, они подошли к воротам укрепления, при входе в которое стояло двое часовых. При виде пришедших часовые отдали им честь и свободно пропустили их в ворота.

— Арслан-бей воротился? — спросил старик часового.

— Воротился, ваша светлость, — был ответ.

Войдя в ворота, пришедшие повернули вправо по направлению к длинному двухъярусному зданию, обнесенному галереями с покатыми навесами. Колонны, поддерживавшие навесы, обвиты были диким виноградом, на темных листьях которого трепетал лунный свет. В окнах виднелись огни.

— Зачем Арслан ездил в Сухум, отец? — спросил Батал. _

— Я посылаю его за князем Бежаном.

— А разве он воротился из Мингрелии?

— Воротился, когда ты был в Кодоре.

— А в Потю когда ты пошлешь к Кучук-бею и кого?

— Арслана с Бежаном. Но отчего у них кони не расседланы?

Они подошли к большому зданию и стали подниматься на галерею.

— Ни одного нукера не видеть у дверей! — проворчал старик. — Куда они пропали? спят, что ли?

Он отворил дверь в переднюю. Но в этот момент из комнаты раздался выстрел, и Батал, следовавший за отцом, со стоном свалился на пол.

— Злодеи! кто здесь? — закричал старик, выхватывая из-за пояса кинжал и бросаясь вперед.

Из комнаты последовали четыре выстрела почти в упор.

— Это я! — с искаженным лицом выступил вперед худой загорелый абхазец с саблею наголо.

— Арслан! сын мой! — простонал старик, хватаясь за сердце.

— Да, это я — сын твой — только блудный сын! — с злорадным смехом отвечал злодей. — А вот тебе сыновий поцелуй!

И он саблею рассек череп старика-отца до самой переносицы.

— Алла! Алла! — в предсмертной агонии бормотал старик, поражаемый новыми сабельными ударами.

На шум и выстрелы из дальних покоев прибежали двое юношей, стройных как молодые пальмочки, и остановились на пороге с выражением ужаса на прелестных лицах.

— Отец... брат... о, Аллах! — бессвязно бормотали они.

— А! братцы-змееныши... любимчики! — со злою улыбкою посмотрел на них отцеубийца. — Бей их, Бежан! Докончим, друзья, и этих змеенышей-мстителей...

— Пусть мстят на том свете, — сказал тот, кого называли Бежаном, и тут же заколол обоих юношей.

— А теперь айда! — сказал отцеубийца, вытирая окровавленную саблю о полы отцовского бешмета и торопливо вкладывая в ножны.

И убийцы — их было всего пять человек — быстро спустились с галереи, сели на

лошадей и спокойно выехали из ворот укрепления мимо часовых, ничего не подозревавших и, по обязанности, отдавших честь злодеям.

Еще не замер топот их лошадей в отдалении, как в доме, в котором совершены были четыре убийства, все поднялось на ноги, в страшном смятении: прислуга, вскочившая со сна, полураздетые женщины, дети — все бежало к месту убийства. — Аллах, Аллах!.. что это!.. где убийцы?.. кто они? — вопили женщины.

— Арслан... брат... Бежан Шервашидзе, — слабо простонал Батал, в котором еще оставались признаки жизни.

II

Так погиб от руки старшего своего сына, Арслан-бей, престарелый Келеш-бек, владетель независимой Абхазии, происходивший из древнего и знаменитого рода князей Шервашидзе.

Абхазия — это дверь той дивной мифической и исторической Колхиды, именем которой полна вся классическая древность. Это — жилище мифической богини Эос,

откуда каждое утро выезжал на небо на своей огненной колеснице лучезарный Гелиос. Там, по свидетельству Гомера, обитала и пленительная, «светлокудрая дева Цирцея, богиня, сестра кознодея Эета»; там Геллеспонт состязался «с равными по силе мужам амазонками»; там, по словам Гесиода, в его Теогонии, «Фемида, родила Океану — богатую водоворотами реку Фазис» (Рион); там хранились «лучевые стрелы быстроногого Гелиоса в золотых покоях» и оттуда «божественный» Язон на своем быстроходном корабле «Арго» привез «золотое руно», несмотря на все козни Медеи. Там, говорит Эсхил в своем «Прометее», этого прикованного к горам Кавказа бога «оплакивали воинственные, неустрашимые девы Колхиды и Океаниды», пока Геркулес не поразил своей стрелой орла, Зевсова палача, терзавшего печень бога, похитившего для смертных частицу небесного огня. Туда, по свидетельству Геродота, заходил из Египта и Рамзес-Сезострис со своими полчищами. За этот дивный уголок земного шара проливали кровь и финикияне, и египтяне, греки и римляне, воины Митридата и генуэзские наемники. Теперь, в то время, когда начинается наше повествование, этим благодатным уголком Колхиды владели потомки первобытных, полумифических колхов — князя Шервашидзе, прямые, быть может, потомки богов «кознодея Эета» и светлокудрой сестры его, девы Цирцеи. Таким, по крайней мере, потомком кознодея Эета был «кознодей» Арслан-бей, предательски погубивший своего отца, Келеш-бека, и трех родных братьев. Арслан-бей представлял собой исторический, можно сказать, коллективный тип истинного абхазца, и составлял гордость своей родины. Это был такой отчаянный головорез, такой необыкновенный джигит и наездник, какие редко встречаются даже в самой Абхазии, не говоря уже о других горских странах. По мирозозерцанию абхазца — это был гений, о котором в соседних с Абхазией местностях слагались целые легенды. Рассказывали, что он был единственным из смертных, который одержал победу в борьбе с непобедимым «духом гор». Дух этот является в виде ослепительной красоты девушки, которая, как ее прародительница Цирцея, увлекает в свои сети мужчин и губит их своими ласками, своей любовью; тех же, которых она не может победить обаянием своих прелестей, эта ненасытная красавица разрывает в клочки. Но только с Арслан-

беем она ничего не в состоянии была сделать. Рассказывали, что Арслан-бей, возвращаясь однажды с охоты через глухой, непроходимый лес, наткнулся на это прелестное, но опасное чудовище, на «духа гор». Это была очаровательная золотокошая девушка с бирюзовыми глазами. Роскошная шелковистая коса окутывала ее всю точно золотой буркой. При виде Арслан-бея красавица движением рук откинула косы за плечи и явилась во всей своей чарующей наготы, прикрытой только... тенью от густолиственной чинары. Увидев Эту поразительную красоту, Арслан-бей застыл и онемел от изумления и восторга. Красавица медленно приближалась к нему, маня к себе очаровательной улыбкой и выразительными жестами, которые опьянили бесстрашного абхазца. Он не мог сдвинуться с места и оторвать глаз от поразительной красоты, какой он в жизни не видел, даже не воображал о возможности такой красоты на земле. Подойдя к нему, юная Цирцея молча с улыбкой поднесла к его лицу свои маленькие ручки с растопыренными розовыми пальчиками. Тут только опомнился Арслан-бей. Он понял, что красавица, показывая ему все десять розовых пальчиков, требовала десяти лет сожительства с ней. Арслан-бей отрицательно покачал своей курчавой головой. Тогда красавица пригнула один пальчик, предлагая девять лет сожительства. Арслан-бей снова выразил молчаливое отрицание. Красавица стала пригибать пальчик за пальчиком, умеряя свои требования, но по мере отрицаний со стороны Арслан-бея, очаровательное личико ее становилось все более зловещим. Арслан-бей понял, что она сейчас растерзает его, и предупредил ее нападение. Он моментально схватил небольшую прядь ее шелковистых волос, дал шпоры своему коню и исчез с быстротой молнии, унося с собой волосы «духа гор», как талисман своей жизни.

С самого раннего детства, можно сказать, даже с самого младенчества, Арслан-бей привык обращаться с оружием. Едва он начал ходить, как выпросил у мужа своей кормилицы кинжал, и с тех пор это оружие стало единственной любимой его игрушкой. Едва мало-мальски окрепли его младенческие ножки, как он уже крепко держался в седле и, вцепившись, словно клещ, своими маленькими ручками в гриву коня, бешено скакал по аулу, возбуждая удивление взрослых абхазцев. Воспитываясь по обычаю всех абхазских княжеских родов не при дворе отца, в резиденции Келеш-бека, а в горном ауле своей кормилицы, он вместе с ее мужем и старшими сыновьями еще в детстве исколесил все горы и равнины Абхазии, с детства научился переплывать через бурные реки своей родины, через Кодор, Бзыбь, Ингур, Рион и бороться с яростными волнами Черного моря. Тутшуг, муж его кормилицы, воспитал в молодом принце истинного героя, по понятиям абхазцев, отчаянного разбойника и, нечего греха таить, гениального вора. Юный принц, вместе со своими молочными братьями, такими же головорезами, скоро начал делать ночные и дневные набеги на Гурию и Мингрелию, пригонял оттуда табуны лошадей, стада буйволов, нередко привозил взятых в плен гурийских девушек и детей, — и всю эту богатую военную добычу щедро раздавал своим кунакам по аулу, а те с благодарностью принимали лошадей и буйволов, а красивых девушек продавали в турецкие гаремы, иногда за огромные цены.

Неудивительно, что абхазцы боготворили молодого принца и видели в нем гордость своей дикой страны. Окончив таким блистательным образом свое, можно сказать, абхазское университетское образование, Арслан-бей должен был возвратиться ко двору своего отца, в аул Соуксу. С громким плачем провожала

кормилица своего обожаемого вскормленника. Весь аул Чичи, в котором воспитывался Арслан-бей, вышел на проводы молодого принца, и всем казалось, что их гордость, их слава, их ясное солнышко навсегда покидает их. Проводы сопровождались залпами из ружей и печальной, словно похоронной, музыкой. Юные красавицы аула, девочки двенадцати-тринадцати лет, поголовно влюбленные в молодого героя, тайно утирали предательские слезы. Но больше всех плакала прелестная Дида, молочная сестра

Арслан-бея и его сверстница, с которой когда-то одновременно они сосали грудь: он — своей кормилицы, она — своей матери. У Диды глаза распухли от слез. Она знала, что ей больше уже не ходить в ту горную пещеру, увитую диким виноградом, куда она с одиннадцати лет ходила на свидания с Арслан-беем почти каждую ночь, если только он не предпринимал ночных поездок в Гурию или в Имеретию. Одиннадцати лет она узнала, что любит его не как молочного брата, а как... она сама не знала, как... Но он был ей дороже всего на свете — дороже жизни. Поцелуи ее родных братьев были для нее то же, что поцелуй матери и девочек-сверстниц; но объятия, поцелуи и ласки Арслан-бея палили ее зноем, и она горела от них, как на сладком огне, дрожала, как от лихорадочного озноба. Мало того, она ревновала его ко всем девочкам аула: она бледнела и страдала, когда он глядел или заговаривал с какой-нибудь из них. Пламенный темперамент юга так рано разбудил женщину в этой девочке, что уже в двенадцать лет, узнав от матери, что в раю Магомета, на том свете, правоверным мужчинам будут прислуживать и услаждать их чувственность прелестные гурии, она терзалась мыслью, что и ее Арслан-бей будет в раю окружен гуриями и будет отдавать им свои ласки.

Теперь, когда Арслан-бей должен был уехать ко двору своего отца, Дида обезумела от горя. Ночью, накануне его отъезда, когда они в последний раз сошлись в своей горной пещере, Дида, ласкаясь к своему возлюбленному, как тигренок, до того предавалась отчаянию, так безумно проявляла свои чувства и неудержимую, жгучую страстность и ужас разлуки, что Арслан-бей стал опасаться за ее рассудок и за ее жизнь. Когда, поцеловав ее в последний раз, он, измученный взаимными ласками и потрясенный страданиями любимой девочки и жалостью к ней, выходил из пещеры, Дида, обвинив его шею своими гибкими ручками и неудержимо рыдая, безумно шептала: «Ты мой, ты мой! возьми меня с собой, возьми меня в рабыни!».. Так он донес ее на руках до самого аула; но, спуская с рук на землю, он услышал ее решительный шепот: «Я прибегу к тебе в Соуксу... Жди меня... Без тебя я умру!»

Утром, в час разлуки, Дида держала себя мужественно, только припухшие прекрасные глаза ее изобличали, что девочка много плакала. И не удивительно: отъезжавший молодой принц был ее молочный брат, а о нем неутешно плакала и ее мать, плакал почти весь аул, Арслан-бей выехал из аула Чичи в сопровождении блестящей свиты из дворян и конвоя из нукеров. Шумный и пестрый кортеж молодого принца увеличили почти все обитатели аула, способные носить оружие. В Соуксу Келеш-бек принял своего сына с подобающей торжественностью и задал блестящий пир, на котором собрались все родственники бека, почти все князья и дворяне Абхазии и все кунаки молодого принца из аула Чичи, который, через воспитание у себя Арслан-бея, считался породнившимся с владетельным домом Абхазии. Пир продолжался три дня, и для этого торжества сложили свои головы чуть ли не целые стада баранов, кур, каплунов, индеек и горных коз. Дикая

музыка неумолкаемо гремела, пищала, визжала и завывала с утра до вечера. Но торжественные дни скоро миновали. После окончания национального образования в горах, образования чисто разбойничьего, молодому наследнику владетельного дома Абхазии надлежало дать и гражданское, так сказать, государственное образование. Арслан-бей засадили за грамоту, просто за турецкую и арабскую азбуку. Началось скучное время. Новая наука не так легко давалась юному джигиту, как наука набегов, разбойничества, воровства и убийств. Буквы в турецкой и арабской азбуках казались ему какими-то безобразными чудовищами, которых он не умел отличить одно от другого, и которые, казалось, прыгали перед его глазами и издевались над ним, так что он со злобой «выкалывал им глаза» своим кинжалом. Надо было покупать новые азбуки, а Арслан-бей обходился с ними, как и со старыми: безжалостно казнил их, разрубал шашкой, стрелял в них из пистолета.

Отец сначала снисходительно относился к диким вспышкам своего первенца, прощал ему расстрелянные азбуки, потом стал сердиться, отбирал у него оружие, наконец, наказывал. Но все это только ожесточало необузданного юного дикаря. Он грубо обращался со своим наставником, старым муллою; но тот все терпел. Однако и его терпению наступил конец. Желая убедиться, знакомы ли его юному воспитаннику все буквы арабского алфавита, мулла развернул перед ним Коран и стал экзаменовать своего непослушного ученика. Арслан-бей путал буквы, показывал не те, какие у него спрашивал учитель, и, наконец, взбешенный своей непонятливостью, наплевал на Коран. Мулла пришел в ужас и пожаловался Келеш-беку. Терпение последнего истощилось, и он посадил буйного сына под стражу в крепостной башне.

Но наутро ни Арслан-бей, ни приставленного к нему часового не оказалось в башне. Исчезли из конюшни и два лучших скакуна. Юный беглец очутился в ауле своей кормилицы, и Дида едва снова не сошла с ума от радости. Взбешенный Келеш-бек разослал гонцов во все концы Абхазии для поимки непокорного сына, но тот как в воду канул. Обожаемый всем населением страны за свои наезднические подвиги, за свою щедрость, идол Абхазии и ее будущая гордость, Арслан-бей везде находил радушный прием и укрывательство. Каждый абхазец считал за счастье видеть у себя дорогого и именитого гостя; а выдать своего гостя, и притом такого гостя, как Арслан-бей, — да это было бы больше, чем преступлением, это было бы величайшим святотатством! Много лет таким образом пропадал Арслан-бей. Он собрал около себя небольшой отряд самых отчаянных молодых абхазских князей и джигитов и со всей необузданностью страсти предался дерзким набегам на пограничные области Гурии, Мингрелии и Имеретии. Он появлялся и в турецких владениях за Рионом и за Поты, и среди кубанских горцев, и около Анапы. Нередко он набирал партии смельчаков среди черкесов, под самым Эльбрусом; вихрем налетал на казацкие станицы за Кубанью, неоднократно врывался в Кисловодск, в Пятигорск и всегда возвращался с богатой добычей, которую почти целиком всегда отдавал своим союзникам. Часто в этих набегам его сопровождала юная Дида, лихая наездница, и никто, кроме ее отца Тутшуга и братьев, не догадывался, что под красивым одеянием молоденького джигита, обвешенного дорогим оружием, скрывается нежное тело юной и прелестной девушки. Весной 1806 года Арслан-бей напал на Кисловодск вместе с карачаевцами и едва не похитил царевну Дареджану, прелестную дочь последнего царя Имеретии, Соломона II, катавшуюся в

окрестностях Кисловодска со своей приятельницей, юной принцессой Геоухер, дочерью владельца Карабага, Ибрагим-хана, и только быстрота карабагских коней спасла хорошеньких наездниц от рук отчаянного абхазца.

Так продолжались смелые похождения Арслан-бея до начала 1808 года. В это время до него дошла весть, что Келеш-бек лишил его наследства, а преемником по себе и будущим владельцем Абхазии назначил второго своего сына, Сефер-Али-бея. Узнав об этом, Арслан-бей решил погубить и отца, и ставшего ему на дороге брата. С этой целью он притворно принес отцу повинную, явился к нему в Соуксу со всеми знаками раскаявшегося преступника: по обычаю горцев, он пришел на двор своего отца с висевшей на шее саблей. Это означало, что виновный отдает повинную голову на казнь, пусть собственная родительская сабля рубит преступную голову.

Келеш-бек простил блудного сына... Мы уже видели, что из этого вышло.

III

Весть о трагической смерти Келеш-бека и двух его младших сыновей быстро облетела всю Абхазию. Партия князей и дворян, разделявшая политические симпатии старого бека относительно сближения с Россией, была глубоко потрясена этой печальной вестью и возмущена гнусным злодеянием отцеубийцы и братоубийцы. Но более молодые элементы этой, тогда еще вполне азиатской и дикой страны, большинство абхазской молодежи, отчаянные джигиты и наездники, для которых набеги и разбои были родной стихией, эти охотнее склонялись на сторону Арслан-бея, под начальством которого в последние годы ими совершено было немало возмутительных злодеяний, понимаемых ими как блистательные военные подвиги. Люди с более здравыми понятиями, узнав о смерти Келеш-бека, спешили в Соуксу, чтобы почтить память погибшего владыки Абхазии, выразить свое соболезнование его семейству и негодование виновнику общего горя, который, по совершении преступления, поспешил со своими приверженцами в Сухум-Кале и заперся в тамошней крепости, проклиная свою неудачу.

А неудача его состояла в следующем. Зная, что он лишен своим строгим отцом наследства в пользу Сефер-Али-бея, он хотел разом покончить и с отцом, и с братом-наследником, чтоб самому завладеть престолом Абхазии. Но оказалось, что в момент прибытия его со своими соучастниками в Соуксу для совершения двойного убийства, Сефер-Али-бея не оказалось в Соуксу. В этот самый вечер, за несколько часов до приезда Арслан-бея в Соуксу, Сефер-Али-бей уехал со своей женой в Мингрелию. Дело в том, что он был женат на мингрельской княжне, на родной сестре бывшего владельца Мингрелии, Григория Дадиана, и притом так, что главную тайну романа, кончившегося браком, не знал в Абхазии никто, даже сам Арслан-бей. Тайна эта была известна только двум лицам: Григорию Дадиану и его жене, княгине Нине Георгиевне. Тайна эта состояла в следующем. Сефер-Али-бей, часто бывая в Мингрелии у князей Дадианов, еще юношей влюбился в сестру князя Григория, в большеглазую резвушку княжну Тамару. Девочка, как большинство южных женщин, которым знойное солнце юга прививает и знойный темперамент, пламенно, со своей стороны, полюбила красивого абхазца и ни за кого не хотела выходить замуж. Никто сначала не знал причины ее упорства, но кормилица княжны, души в ней не чаявшая, разгадала ее тайну: оказалось, что

Тамара думает только о Сефер-Али-бее. Узнал об этом и князь Григорий, узнала и княгиня Нина. Но как быть? Брак Тамары и Сефер-бея — немыслим: Тамара — христианка, а Сефер-бей — мусульманин. Но всемогущая любовь победила требования религии. Сефер-Али-бей тайно принял крещение и был наречен Георгием, князем Шервашидзе, это историческая фамилия владетельного дома Абхазии. Именно в вечер, предшествовавший убийству Келеш-бека, Сефер-Али-бей и Тамара уехали из Соуксу к княгине Нине, владетельнице Мингрелии, на праздник ее рождения. Это-то случайное обстоятельство и спасло Сефер-бея от руки братоубийцы. К нему в ту же ночь отправлены были гонцы с печальной вестью об ужасном событии в Соуксу, и Сефер-бей с Тамарой немедленно возвратились с дороги. Когда они прибыли в Соуксу, то встречены были в ауле таким ужасающим воем, такими дикими воплями и ревом причитаний всех обитателей аула, что, казалось, наступило светопреставление. Но это было только обычное, традиционное выражение общественной скорби. Женщины рвали на себе волосы, царапали лица ногтями до крови; мужчины били себя по лицу, ударяли кинжалами в грудь. Народ, для которого убийство «простое телодвижение», которому смерть кажется только лишением возможности владеть кинжалом, этот народ выказывал неудержимое обрядовое оплакивание покойников. Это был естественный взрыв южного пламенного темперамента, ни в чем не знающего меры.

Этот неистовый вопль и эти ужасные картины дикого самобичевания встретили Сефер-бея и Тамару у крыльца и в самом дворце. Тела убитых уже выставлены были в приемном покое. Они покоились на возвышениях, покрытых желтым сукном, — цвет глубокого траура. Келеш-бек лежал на переднем возвышении. Лоб его перевязан был белой чадрой с вышитыми золотом изречениями из Корана. Эта повязка представляла подобие чалмы и до половины скрывала ужасный разруб черепа и лба, произведенный саблей Арслан-бея. На меньших возвышениях, справа и слева, как бы прижимаясь к отцу, покоились два молоденьких, миловидных мальчика, младшие сыновья Келеш-бека. Вопли и стенания встретили Сефер-бея и Тамару при входе в покои, где лежали покойники. Здесь ожидала их еще более трогательная, душераздирающая, картина. Дочери Келеш-бека, молоденькие княжны, а также невестки, жены младших братьев Сефер-бея: Хассан-бея, Батал-бея и Таяр-Бея, облеченные в траур, непременно желтый, с распущенными косами, обрезали с воплем пряди своих роскошных волос и, словно черными цветами, покрывали ими тела отца, братьев, свекра и юных деверьев.

В этот момент со двора донеслись еще более дикие завывания. Оказалось, что это явились из своих аулов кормилицы трех жертв Арслан-бея. Кормилица в Абхазии — лицо почти священное. Посредством своих кормилиц абхазские князья не только поддерживали тесную связь с народом, но при помощи кормилиц приобретали и власть, и силу в стране. Каждое новорожденное дитя, мальчика и девочку, тотчас же сдают на руки кормилице из какого-нибудь аула, и тогда не только семья кормилицы, ее родные, но и обитатели всего аула считаются как бы породнившимися с князем и делают его вернейшими слугами и союзниками: идут с ним на войну, поддерживают его в распрях с другими князьями и вообще готовы умереть за него. Мало того, отдавая своих детей на воспитание не только абхазцам, но также черкесам, джигетам, убыхам и другим горным народам, фамилия Келеш-бека Шервашидзе находила крепкую поддержку у всех этих

народов, которые во время войн Абхазии с соседями высылали под знамена князей Шервашидзе отборнейшие и храбрейшие дружины. Теперь, когда весть о гибели Келеш-бека и его двух младших сыновей облетела Абхазию, кормилицы убитых князей явились, каждая со своим родом и целым аулом, оплакивать жертвы злодейства. Они-то и издавали теперь на дворе страшные вопли, стоны и проклятия убийце. Первою ввели под руки в траурный покой необыкновенно дряхлую, страшную старуху, которая неистово рвала седые космы своих все еще густых волос и когтями царапала залитое кровью лицо. Она уже не могла вопить и причитать, потому что от плача и проклятий совершенно потеряла голос, и только хриплые звуки вылетали из ее обессиленной груди. Это была оставшаяся еще в живых, почти столетняя кормилица самого Келеш-бека. Все расступились, давая ей дорогу к мертвецу. Подведенная к нему, она, увидав на лбу князя страшный знак от разруба саблей, подняла к небу руки, прохрипела какое-то страшное проклятие убийце и припала, как пласт, к мертвому телу своего владетельного вскормленника.

За ней вошли две другие кормилицы и также с воплем прилипли к телам юных князей. Снова нечеловеческий крик донесся со двора. Среди воплей и гула голосов можно было различить только: «Батал-бей! Батал-бей!» Это явилась со своим родом и аулом его кормилица, до которой дошел слух, что и ее вскормленник убит. Но Батал-бей не был убит; он был только тяжело ранен и теперь лежал в особой комнате, и за ним заботливо ухаживала его молоденькая жена и несколько рабынь.

— Что же не видать остальных сыновей бека, Хассан-бея и Таяр-бея? — спрашивали находившиеся на галерее посетители. — Неужели и они бежали с убийцей?

— Нет, — отвечал один из нукеров покойного бека, — Хассан-бей и Таяр-бей добрые сыновья; а их теперь нет в Соуксу; они у князя Манучара Шервашидзе, в его старом замке; они на днях отправились к нему на охоту.

— Но вот и они, — сказал другой нукер, указывая на трех всадников, въехавших на двор в сопровождении нескольких джигитов.

Это были, действительно, князь Манучар Шервашидзе и два сына Келеш-бека, Хассан-бей и Таяр-бей, спешившие к убитому отцу и братьям. Князь Манучар сразу заметил, что все бывшие во дворе бека смотрели на него с нескрываемой неприязнью. Он не мог не знать причины этой неприязни: ведь родной брат его, князь Бежан Шервашидзе, участвовал в злодейском умерщвлении Келеш-бека и двух его сыновей. Поэтому он как бы сам чувствовал себя причастным к преступлению и уже дорогой обдумал, как поступить в этих критических для Абхазии обстоятельствах и чем помочь Сефер-бею, с которым он лично был и в дружбе, и в свойстве, потому что женат был на дочери владетельницы Мингрелии, Нине Георгиевне, светлейшей княгине Дадиан. Поэтому, тотчас при входе в траурный покой вместе с Хассан-беем и Таяр-беем, князь Манучар публично выразил глубокую скорбь о страшном ударе, поразившем владетельный дом его родины, и глубочайшее негодование гнусному виновнику общего несчастья. Затем он тотчас же попросил Сефер-бея пойти в отдельную комнату, чтоб немедленно переговорить о том, что им следует предпринять.

— Ты что намерен делать, бедный Сефер? — спросил он, когда они остались вдвоем.

— Я и сам не знаю, милый Манучар; я совсем потерял голову, — отвечал убитый

горем Сефер-бей, еще не успевший прийти в себя после всего случившегося.

— Помни, убийца не будет медлить,— сказал Манучар,— участь твоего отца ожидает и тебя, и все твое семейство.

— Знаю... Что же мне делать?

— Я слышал, что покойный отец твой, да будет священна его память, назначил тебя, помимо Арслан-бея, наследником и владетельным князем Абхазии.

— Да, меня.

— Где же духовное завещание?

— Оно здесь, в этом столе,— отвечал Сефер-бей, указывая на ящик массивного стола с инкрустациями, на ящик с секретным отделением.

— Хорошо... Надо тотчас же прочитать публично и показать собравшимся здесь князьям и всем абхазцам это завещание. Я прочитаю его сам на галерее, а потом мулла прочтет в мечети. Но этого мало. Арслан-бей уже сносился тайно с владетелем Поты, с Кучук-беем, мне эту тайну продали. Арслан-бей заручится помощью Кучук-бея и турок, и тогда мы все погибли с нашей бедной Абхазией.

— Что же нам делать? Как спастись? — бессильно проговорил Сефер-бей.

— Одно спасение — Россия...

— Мне и отец об этом говорил...

Их совещанию не суждено было окончиться: над злополучным домом властителя Абхазии разразилось новое несчастье.

ГЛАВА IV

В комнату, где находились Сефер-Али-бей и князь Манучар Шервашидзе, с глухим стоном вошла старая Кана. Это была почетная нянька и домоправительница Келеш-бека, которая заведывала хозяйством бека после смерти его жены. Старая Кана была строгая блюстительница обычаев своей страны, и ее обрядовым распоряжениям повиновался даже покойный Келеш-бек. Старуха, охая, стеновая и ломая руки, вошла в комнату с саблей, повешенной на шее.

— О, господин! — стонала она. — Возьми саблю... Руби мою старую голову... О-о!

— Что с тобой, Кана? — изумился и испугался Сефер-бей.

— О, о! Руби мою недостойную голову, руби! — стонала старуха.

— Да что случилось? Говори толком! — подошел к ней князь Манучар.

— О, я потеряла мою проклятую голову... Когда господина моего и его двух мальчиков не стало, о! всели их, Аллах, в раю пророка, когда их не стало, я потеряла голову... да будет она проклята!

— Ну, и что же? — нетерпеливо остановил ее Сефер-бей.

— Я забыла, господин, опоясать дом... О, горе, горе!

— Как опоясать дом? Зачем? — удивился Манучар.

— О, господин! Ты, верно, вырос в чужой стране... не знаешь, что дом надо было опоясать...

— Чем опоясать, для чего?

— Тесьмой шелковой опоясать, господин, это всегда надо делать, чтобы ангел смерти не унес кого-либо еще в подземное царство.

Это поверие действительно существовало и по настоящее время существует в Абхазии. Если кто умирает в доме, то этот дом тотчас же опоясывают шелковой тесьмой, чтобы ангел смерти, вошедший в дом, не похитил еще кого-либо.

— Что ж,— спросил встревоженный Сефер-бей,— разве еще кто-нибудь умер?
— Хуже, господин. О-оо! — снова завопила старуха.
— Убит? — допрашивал Сефер-бей.
— Хуже, господин. О, хуже! Твоя любимая сестра Роста-ханум, наше сокровище, роза Абхазии, жемчужина Востока, наша Роста-ханум утонула.
— Утонула! — воскликнули разом и Сефер-бей, и князь Манучар.— Где? Как?
— Она услышала о смерти отца в замке Илори, у Этха-ханум, и, как безумная, поскакала сюда с двумя нукерами... О, Аллах, Аллах!.. Ее лошадь выбилась из сил... В горах пошел сильный дождь; вода в Соуксу страшно поднялась и ревела, как бешеная. Ханум погнала лошадь в реку... О! Лошадь споткнулась, вода унесла Роста-ханум... О-о, я виновата, руби мне голову, вот сабля. Я не опоясала дом моего господина.
— Но она была вне дома, Роста-ханум,— вмешался было Манучар.
— Все равно... Ангел смерти не видел опояски и унес наше сокровище, нашу белую лилию... О, моя проклятая голова!
Сефер-бей заплакал горькими слезами. Он так любил эту сестру, эту «белую лилию».
— Что же, нашли ее тело? — как-то тихо и как будто робко спросил Манучар.
— Нашли, господин, сейчас принесли... к отцу принесли.
— А скоро отыскиали тело?
— Скоро... но души уже не нашли в ней... душа утонула. Надо душеньку ее вызвать теперь из воды. Я пойду звать ее, а потом рубите мне голову.
Сефер-бей немного пришел в себя и глубоко вздохнул, точно на груди у него лежала громадная тяжесть.
— Пойду, взгляну на нее. О, моя чистая лилия! — горько качал он головой.— За отцом и братьями ушла, оставила нас.
Они вошли в траурный покой, все еще оглашаемый плачем и стонами. На возвышении, на котором покоилось тело Келеш-бека, до половины усыпанного женскими локонами, рядом с отцом лежала молоденькая девушка поразительной красоты. Бледное личико ее казалось задумчивым и серьезным не по возрасту: это уже смерть наложила на ее почти детское личико никем не разрешимую думу. Она лежала у левого бока Келеш-бека, как бы прижимаясь по-детски к отцу. Черные пряди ее роскошных волос, как и одеяние, были мокры. На правом виске, у самых волос, виднелась небольшая, как бы от пореза, ранка. Это она при падении в реку ударилась виском об острый подводный камень, и в этом ударе была ее смерть.
— Милое, невинное дитя! — шептал чуть слышно Сефер-бей, наклоняясь и целуя сестру в холодный мраморный лоб, точно выточенный резцом гениального скульптора.— Ангел светлый! — беззвучно шептали его пересохшие губы.— Помолись доброму Богу, чистое дитя, и Он услышит твою невинную молитву, хоть ты и не христианка... Помолись за отца и братьев... О, моя лилия! Голубица чистая!
Между тем старая Кана с саблей на шее, плача и причитая, вышла на двор, чтобы идти к реке, доставать со дна ее душу утонувшей молоденькой принцессы. Она, как и все абхазцы, была глубоко убеждена, что души утопленников остаются в воде, пока их оттуда не вызовут и не завяжут в бурдюк. А без души нельзя хоронить тело, душа будет скитаться на том свете, ища и оплакивая свое тело, свое вечное жилище, даже под землей. Найденную таким образом душу

выпускают в могилу и засыпают землей вместе с телом. Когда старая Кана, появившись на дворе, объявила, что надо идти искать в реке душу Роста-ханум, вся находившаяся около дома Келеш-бека толпа, предводительствуемая старухой, повалила к реке. В руках Каны был небольшой бурдючок из шкуры молоденького козленка и длинный, в несколько сажен, шелковый шнур. За ней следовали музыканты с зурнами, бубнами, свирелями и другими инструментами. Но главный контингент толпы составляли женщины и дети, для которых обрядность, шум и движение так неотразимо заманчивы. Скоро толпа достигла берега реки, которая все еще продолжала бушевать, хотя и менее, чем бушевала и бурлила за час до этого, раздутая водами горного, быстро пронесшегося, весеннего ливня. — В каком месте нашли тело Роста-ханум? — спросила Кана нукеров, сопровождавших ее из замка Илори и потом вытащивших из воды ее бездыханное тело.

— На этом самом месте, бабушка Кана, — отвечал один из нукеров, — вон напротив того камня.

— Ну, так здесь и надо перетягивать шнур, — сказала старуха. — О, мое солнышко ясное, моя роза, не расцветшая и завядшая! — снова заплакала Кана.

Она подвязала бурдючок к середине шнурка, но так, что отверстие кожного мешочка было открыто, чтобы туда могла свободно войти душа утопленницы.

— Теперь перетягивайте через реку, — сказала старуха, передавая шнур и бурдючок нукерам.

Один из них взялся за конец шнура, другой же взял бурдючок и весь остальной шнур и прямо полез в речку. Вода так бушевала, и течение ее было так стремительно, что нукер с трудом держался на ногах, перебираясь на ту сторону предательской речки, хоть вода поднималась только по грудь.

— Не урони в воду бурдючок! — предостерегала Кана. — О, Аллах, Аллах!

Шнур наконец перетянут через речку, но так невысоко от воды, что отверстие бурдючка почти касалось ее поверхности.

— Начинайте! — обратилась Кана к музыкантам и ко всей толпе. — Аллах акбер! Аллах керим!

Началась дикая, неистовая музыка, на которую способен только Восток. Звуки зурны, свирелей и бубнов заглушались такими ужасными завываниями толпы, особенно голосами женщин, что, казалось, на толпу напали дикие звери или разбойники и терзали и душили ее. При этом глаза всех жадно и с какой-то боязнью обращены были на висевший над водой бурдючок, тихо колыхавшийся от ветра. Но бурдючок все оставался сплюснутым, плоским, душа утопленницы не входила в него. Адская музыка и завывания еще усилились.

— Ля-иллях иль-Аллах, Мухамед-расул-Аллах! — молитвенно твердила старая Кана, прижимая руки к груди. — Приди, приди на зов наш, невинная душенька чистой голубицы! Приди в дом свой.

— Но, может, ее душеньку унесло дальше, еще ниже? — заметила одна старая женщина.

— А что, если она уплыла в море? — заметила другая.

— Ну, она и из моря приплывает, если услышит нас, — отвечал хромой музыкант, потерявший ногу на скачках с препятствиями.

Но бурдючок все оставался сплюснутым.

— Ля-иллях иль-Аллах, Мухамед-расул-Аллах! — продолжала твердить старая Кана, тихо покачиваясь. — Я ли не любила тебя, я ли не берегла тебя пуще своего

глазу?.. А вот не уберегла... О, пропади моя голова окаянная!

— Смотрите, смотрите! — испуганно закричала одна девочка. — Входит душа, входит!..

— Да, да! Раздувается бурдючок... она услышала нас!

— О, Аллах! — радостно прошептала Кана.

Усилившийся ветерок, действительно, стал все более и более надувать качавшийся над водой бурдюк и наконец почти наполнил его воздухом.

— Вошла, вошла! — как безумная, воскликнула старуха-няня и бросилась в воду, забыв всякую опасность.

Но старые ноги не осилили стремительности горной реки. Вода свалила с ног старушку.

— Утонет, утонет! — испуганно закричали в толпе. — Спасите ее.

Несколько мужчин бросились в воду, и старушка была подхвачена под руки.

— О, пустите меня к ней! — билась она в руках, державших ее. — Она меня одну слушалась... Я возьму ее душеньку, я завяжу ее талисманной тесемкой, а то она опять улетит.

И она тянулась к бурдюку, поддерживаемая сильными руками. С трудом дотащили ее до середины реки.

— О, моя ханум, мое золото, жемчужина моей души! — бормотала Кана, тщательно завязывая бурдючок, чтоб из него не вытеснить воздух, душу своей любимицы, и осторожно снимая его со шнура.

С прижатым к груди бурдюком старуху вывели на берег. Душа утопленницы была поймана.

V

После торжественных похорон отца, братьев и сестры, со строжайшим соблюдением всех традиционных обрядов до вытряхивания из бурдюка в могилу юной души Роста-ханум, извлеченной со дна реки, Сефер-Али-бей тотчас же написал императору Александру Павловичу и графу Гудовичу, тогдашнему главнокомандующему на Кавказе, прося принять его со всей страной в подданство России, с обещанием принятия православной веры всеми князьями Абхазии и всем ее народом, который просил Белого царя избавить Абхазию от турецкого владычества. Вместе с тем Сефер-бей сообщал, что он давно перешел в православие, но только тайно, боясь огорчить своего престарелого отца, строгого мусульманина.

Со своей стороны, Арслан-бей, укрывшись со своими единомышленниками в крепости Сухум-Кале, защищенной сильною артиллерией, не сидел сложа руки. Через приверженцев своих он знал все, что делалось в Соуксу. Он знал, что Сефер-бей отправил своих гонцов с бумагами в Тифлис и верно догадывался о содержании этих бумаг.

— Арслан имеет хорошие глаза, и уши его далеко слышат; слышат даже, как в Тифлисе куется железо для Абхазии и как в саду Сефер-бабы, в Соуксу, трава растет, — говорил о себе Арслан-бей другу своему Бежану, князю Шервашидзе. — Сефер-баба зовет птицу, чтоб она клевала луну.

— Какую птицу? — спросил князь Бежан.

— А двухголового орла, птицу-урода...

— Понимаю, понимаю! — засмеялся Бежан. — Это чтоб русский орел о двух

головах заклевал полумесяц падишаха... Ну, еще ни одна птица до луны не долетала, будь она о десяти головах.

— А Сефер-бабу все-таки заключет, как заклевала в Имеретии царя Соломона, а в Грузии переклевала и перетаскала в свое гнездо всех царей, — мрачно заметил Арслан-бей.

— Только нашей Абхазии ей не заклевать! — сказал Бежан. — Да?

— Да, — согласился Арслан-бей, — мы ее за луну спрячем.

Этот разговор Арслан-бея с князем Бежаном кончился тем, что в сухумской гавани снаряжена была фелюка, и князь Бежан с несколькими приверженцами Арслан-бея отправился на ней в Поты, пользуясь попутным ветром. Бежан должен был заключить союз с владельцем Поты, Кучук-беем, который должен был подать помощь Арслан-бею в том случае, если Сефер-бей со своими абхазцами, вспомоществуемый русскими войсками, решится добывать Сухум. Арслан-бей справедливо рассуждал, что если почему-либо русские не придут или не успеют скоро прийти на помощь Сефер-бею, то во всяком случае помощь ему дадут мингрельцы, потому что владетельная княгиня Мингрелии, княгиня Нина Георгиевна Дадиян, непременно захочет подать руку помощи жене Сефер-бея, Тамаре, как своей родственнице. Одним словом, Арслан-бей отдавал себя и Абхазию под защиту полумесяца против притязаний Мингрелии, а еще больше — двуглавого орла.

А двуглавый орел, действительно, уже расправлял свои крылья, хотя и невидимо для полумесяца. Вследствие письма Сефер-бея и представлений графа Гудовича, император Александр дал обещание принять Абхазию под свое покровительство, но предупреждал, что Сефер-бей должен хранить все это до благоприятного времени в совершенной тайне. Осторожность эта вызывалась тем обстоятельством, что в это время Россия, озабоченная войною с неутомимым Наполеоном, находила невыгодным дразнить еще Турцию и вела с нею переговоры о мире. Вместе с тем, однако, император тотчас же повелел графу Гудовичу оказать Сефер-бею содействие и помощь к изгнанию из Абхазии головореза Арслан-бея.

[Граф Гудович и сменивший его генерал Торماسов, желая перетянуть на свою сторону Кучук-бея, посылают к нему на переговоры с богатыми подарками князя Орбелиани. Он старается привлечь дочь Кучук-бея Эсму-ханум на свою сторону, рисует ей райскую жизнь в Петербурге, обещает представить ее и ее отца к «высочайшему двору».

В дальнейших главах романа (включая его вторую часть) подробно, в запоминающихся эпизодах и картинах рассказывается о взятии русскими войсками Поты и поражении у его стен войск трапезундского сераскира Шериф-паши, а также о романтической любви Арслан-бея и дочери Кучук-бея Эсма-ханум со многими приключениями. Далее описывается взятие русским морским десантом Сухум-кале, присоединение Абхазии к России, назначение Сефер-бея владетельным князем, жизнь его сына Дмитрия в Петербурге, где он находился в качестве аманата и учился в пажееском корпусе, любовь Дмитрия к княжне Варе Гагариной. После смерти отца Дмитрия направили в Абхазию в качестве ее владетельного князя. Мы знакомимся и с Урусом Лаквари, сыгравшим зловещую роль в судьбе нового владетеля. О последующих бурных событиях мы узнаем из третьей части романа].

ГЛАВА I

К концу 1821 года новый владетель Абхазии окончательно утвердился в главных укрепленных пунктах своей наследственной страны, в Соуксу и в Сухум-Кале. В той и другой крепости находились небольшие русские отряды. Князь Димитрий скоро убедился, однако, что власть его в Абхазии опирается исключительно на русские штыки; но без любви и доверия подданных это опора непрочная: под штыками не было почвы — народа, на которой и зиждутся троны. А народ не любил его и не уважал именно за эти штыки. Это прямо объявили ему джихетские и цебельдинские князья, самые влиятельные роды в Абхазии. Когда Димитрий отправил к ним своих послов с требованием не позволять бежавшим из Абхазии его дядям Арслан-бею, Батал-бею, Ростом-бею и Таяр-бею проводить свои войска по их владениям, князья отвечали его послам:

— Подите и скажите вашему князю, что если бы он был из Шервашидзеовой фамилии, то не отдал бы своей земли русским. Если он истинный сын покойного Сефер-бея, то пусть удалит русских из своего Соуксу и из Сухума.

Мало того. Даже в собственном своем доме новый владетель Абхазии не чувствовал себя в полной безопасности. Как бежала из Соуксу Эсма-ханум, когда к ней приставлены были для наблюдения две прислужницы? Кто помог ей бежать? Кто зарезал в ее комнате старую, верную негритянку Гюлисун? Если сама Эсма-ханум совершила это преступление, что едва ли вероятно, то кто убил вторую ее прислужницу, которую в тот же день нашли на площади тоже зарезанной? Урус Лаквари предполагает, что, когда все слуги покинули дворец, чтобы поглазеть на торжество и на присягу князя, а во дворце осталась только Эсма-ханум со старой негритянкой, то туда пробрался какой-нибудь посланец от Арслан-бея и зарезал старую Гюлисун. Эти же посланцы Арслана зарезали на площади в толпе и суматохе другую прислужницу для того, чтобы она не могла воротиться во дворец и помешать как убийству старой Гюлисун, так и побегу Эсма-ханум.

Эти доводы были очень шатки, но других не находилось, и князь Димитрий бродил точно впотьмах. Абхазия теперь казалась ему не родиной, но тюрьмой. Все было для него здесь чужое, враждебное: не на мать же, на слабую и безвольную женщину, ему опираться! А брат Михаил — ветреный мальчик, для которого существовали только лошади, джигитовка и охота. Единственно, с кем он иногда отводил, что называется, душу, это с верным, как ему казалось, хотя мало разговорчивым Урусом Лаквари, с которым они вспоминали далекий Петербург, катанья на катере по Неве на острова, скачки в Царском, в Петергофе, куда Урус Лаквари в последнее лето всегда сопровождал своего молодого князя. Но еще больше была ему по душе беседа с майором Ракоци. Князь Горчаков, выводя русские войска и мингрельскую милицию из Абхазии, оставил в Соуксу для охраны крепости и князя Димитрия с семейством две роты мингрельского полка под начальством майора Ракоци, прикомандировав к этим ротам двух опытных фельдфебелей из белевского полка, наших старых знакомых Сукачева и Кудряшова, для поддержания в отряде майора Ракоци, как он шутя выразился,

«суворовского духу».

— Я на тебя надеюсь, старина,— сказал он Сукачеву,— у тебя все будет по-суворовски... Не забывай «пруцково» короля...

Ракоци был очень симпатичный собеседник, и князь Димитрий от души любил его. Ракоци служил прежде в Петербурге, хорошо знал петербургскую жизнь, особенно жизнь среднего офицерства, немало знал и о высшем петербургском обществе, и потому для князя Димитрия он являлся истинной находкой. Им было о чем поговорить в этой глуши. Немногие князья и дворяне, которые еще оставались верны молодому владетелю Абхазии, кто из-за подарков, а кто из уважения к памяти его отца, были так чужды ему по своим интересам и узкому мировоззрению, что казались чем-то вроде жителей другой планеты: в них не было ничего европейского, культурного. Вся Европа и Петербург, таким образом, сосредоточивались для князя Димитрия в лице загорелого, сурового на вид, но добродушного Ракоци.

Как бы то ни было, не легко жилось владетелю Абхазии на родине. Имя Арсланбея гремело везде. Снова возобновились хищнические набеги черкесов на пограничные аулы. Снова партии юных абхазских девушек и детей отправлялись на фелюках и кочермах анапских турок на невольничьи рынки Синопа и Константинополя. Все это знал владетель Абхазии, и его грызло сознание своего бессилия; его постоянно бледневшие от нравственных терзаний щеки вспыхивали румянцем стыда перед Россией и особенно пред той, которая гордится званием его невесты, будущей жены... Как тяжело было ему писать письма в Петербург! Разве он мог сказать всю правду? Разве он, якобы «потомок Прометея», не жалкая пародия на своего мифического предка? Того, прикованного к скале Кавказа, терзал орел Юпитера... А его, жалкого повелителя без подданных, прикованного в Соуксу, терзал стыд, стыд и стыд!.. Княгиня Тамара видела, как ее любимый сын, ее гордость, таил на сердце какое-то тяжелое горе, и она не знала, чем помочь ему. Сердце матери подсказывало ей, что он страдает и что его муки тем невыносимее, что даже матери он не может доверить их. Она видела, как он худел и бледнел с каждым днем. Но отчего? Этот неразрешимый вопрос терзал ее. Она стала намекать ему о женитьбе. Жена сняла бы своей любовью и лаской неведомую тяжесть с его души. Она заговаривала с ним о некоторых молоденьких мингрельских княжнах. Есть дальние родственницы из обширной фамилии Дадианов... Но он и слушать не хотел о каких бы то ни было княжнах... Он думал об одной, но не из этих, не из здешних... О, если бы она знала весь позор его положения!.. Он обещал повергнуть к ее ногам весь абхазский народ. Но где он, этот народ? Один Урус Лаквари да старый Талиб, вот и весь его народ. А те наемники, что живут его подачками да с князем Михаилом охотятся на кабанов и на диких коз, это не подданные! Он чувствовал, что здоровье начинает изменять ему. Он потерял сон, аппетит. К весне им овладела какая-то тупая апатия. Ракоци видел это и приписывал перемене климата.

— Поезжайте в мае в Пятигорск, в Кисловодск,— говорил он,— покупайтесь в Нарзане: он укрепит вас, возбудит бодрость, энергию. Я помню, как Нарзан восстановил мои силы после раны и кавказской лихорадки.

Эти слова целительным бальзамом упали на его душу. Как эта мысль не пришла ему самому в голову? Варя писала ему, видимо под цензурой матери, что весной они думают ехать на минеральные воды Кавказа, что ее родителям нужно

полечиться в Пятигорске, Ессентуках и Кисловодске...

[Ряд глав третьей части произведения посвящен изображению пребывания владетельного князя Димитрия и его брата Михаила в Кисловодске, где они весело проводят время в великосветском кругу, часто встречаясь с семьей Гагариных. Здесь произошла помолвка их дочери Варвары с Димитрием. Однако, вскоре после его возвращения в Абхазию, здесь разыгрались события, жертвой которых он стал].

XII

Время летит быстро. Недаром Сатурн изображается с крыльями. Но особенно быстро этот крылатый старик мчится в глазах таких же, как сам, стариков и влюбленных.

Князь Димитрий Георгиевич Шервашидзе и княжна Варвара Павловна Гагарина, а равно ее сестра Катя, совсем не заметили, как пролетел весенний сезон.

Маленькая Катя... ведь она тоже влюблена в своего героя Мишу, и ей предстояло украдкой, тайно от всех, лить горькие слезы разлуки.

Неотложные дела требовали присутствия молодого владетеля Абхазии в его наследственной стране. Арслан-бей, убедившись, что ненавистный противник его едва ли не более безопасен от козней дяди в Кисловодске, чем на родине, воротился со своей шайкой в Абхазию и завязал дружбу с бежавшими в Турцию: князем Георгием Дадианом, «голые ляжки», как его прозвали в Мингрелии за его белые лосиные штаны в обтяжку, с князем Иваном Абашидзе, отцом маленького царя Ивана, силой увезенного в Россию из Имеретии, и с царевной Дареджаной, дочерью покойного царя Соломона II. Он всюду распускал слухи, что молодой владетель Абхазии князь Димитрий Шервашидзе уже больше не владетель, что русские сослали его в Сибирь, как прежде позасылали туда всех грузинских царевичей, а потом и юного царя Имеретии Ивана Абашидзе; что русские намерены схватить и тоже сослать в Сибирь и всех князей Мингрелии, Гурии и Абхазии; что, наконец, они намерены изо всех кавказцев поделать русских солдат и казаков, как они поделали солдатами татар, калмыков, киргиз и поляков. Расставаясь с Гагариными и своей невестой, молодой владетель Абхазии обещал, устроив дела у себя на родине, приехать в Петербург в декабре, чтобы тотчас же после рождественских праздников вести свою Варю под венец. Варя много плакала. Плакала и Катя, но все думали, что она плачет слезами старшей сестры... Это были, однако, ее собственные слезы: на ее глазах закатывалось ее ясное солнышко... Когда в последний раз белая папаха ее красавца Миши Прометеевича, как она его называла, скрылась за горой, девочка упала на траву, и рыдала, рыдала...

— Бедная девочка, она так любит Варю,— говорила княгиня.

«Какие глупые эти взрослые!» — думала между тем Катя.

Любовь Вари преобразила владетеля Абхазии. Он возвратился на родину полный энергии и уверенности в своих силах. Он обещал положить Абхазию к ногам своей невесты, и положит! Явившись в Соуксу, где ожидала его мать, он недолго оставался в своей резиденции. От Ракоци он обстоятельно узнал о положении дел в Абхазии и о новых коварствах Арслан-бея. Посетив потом Сухум, он вместе с комендантом крепости Михиным осмотрел вооружения города, боевые запасы и другие средства защиты, и убедился, что у него под ногами есть почва, что

будущее здание Абхазии если и будет возведено сначала на чужом фундаменте, на русских штыках, то ничто не мешает этому зданию впоследствии утвердиться на собственном фундаменте, цемент которого должен быть непременно замешан на крови Арслан-бея и его приверженцев: «Кровь предателей отечества очень полезна для этого», — сказал он.

После этого, сопровождаемый своим конвоем, он стал переезжать из аула в аул. В каждом ауле он собирал сходки и говорил страстные, зажигательные речи. Он был неузнаваем, и абхазцы с удивлением и восторгом смотрели на него. Как все южные народы, абхазцы легко воспламенялись и толпами стекались послушать молодого оратора. Женщин увлекала его красота, его блестящий мундир. Они несли на сходки своих детей и, по окончании сходки, провожали его из аула восторженными криками. Старики в изумлении качали седыми головами.

— В нем проснулся дух его деда, Келеш-бека, — говорили они, — бабы и дети это чувствуют.

— А кто убивает своего отца, тот и мать не пощадит, — говорили другие.

— Арслан-бей убил своего отца: он убьет и мать свою, Абхазию, — говорили третьи.

В несколько месяцев настроение в Абхазии совершенно изменилось, и до Арслан-бея стали доходить очень неутешительные вести. Он понял, что его собственная популярность с каждым днем тает, как снег весной, а популярность и сила его ненавистного племянника, «русского нукера», как он называл молодого владельца Абхазии, растут, как воды Кодора и горных речек во время таяния снега весной.

— Мои горы тают и несут ему свои воды, — со злобой говорил он своему другу, князю Бежану Шервашидзе.

— Не бойся, князь, он скоро утонет в этой воде: вода погубит его, — загадочно утешал друга Бежан.

— Как же это? — недоверчиво качал головой давно поседевший Арслан. — Когда за меня была вся Абхазия, и то он уцелел, а как же теперь?

— Это секрет мой и Уруса Лаквари, — отвечал Бежан, — тайна тогда только тайна и имеет силу, когда ее знают только двое; а когда ее узнает третий, она потеряет силу: то уже не тайна, когда она третьему доверена. Тайна — все равно, что жена: ее должен знать только муж... Повторяю тебе: вода погубит нукера урусов.

После триумфального, можно сказать, объезда Абхазии, князь Димитрий Георгиевич возвратился в Соуксу. Сюда со всех сторон являлись к нему князья и дворяне и, по восточному обычаю, приносили своему повелителю богатые подарки, деньгами, драгоценными вещами, дорогим оружием, целыми пригоршнями бирюзы, алмазов, крупного жемчуга и всяких ценных камней. За несколько недель казна его пополнилась так, как не бывало этого ни при дедах, ни при прадедах. Богатства эти дали ему мысль раньше отправиться в Петербург, чтобы до свадьбы успеть приобрести в русской столице все, чего могли требовать культурные привычки его будущей жены: блестящую меблировку дворца, изящные сервизы, посуду и все то, что он видывал в аристократических домах Петербурга. Дни и ночи он обдумывал все, что предстояло ему сделать. Сон его, вследствие этого, был часто беспокойный. Но, как на беду, в старом здании монастыря завелся филин, который по ночам своими стонами просто отравлял ему сон. В подобных случаях, когда филин начинал стонать, Урус Лаквари всегда спешно отправлялся к зданию монастыря и прогонял надоедливую птицу.

То же повторилось и в ночь с 15 на 16 октября 1822 года.

Князь Димитрий Георгиевич собирался уже ложиться спать, как вдруг послышалось завывание филина.

— Ах, проклятая птица! Опять застонала,— проговорил князь с досадой.

— Я пойду припугну ее,— отозвался Урус Лаквари, готовивший постель своему господину.

— Хорошо,— отвечал князь.

Урус Лаквари, оставив князя, вышел из дворца и направился к мрачному зданию давно пустующего монастыря. Подходя к отверстию в старой стене, он издал писк, похожий на писк летучей мыши. Из отверстия ему отвечали тем же.

Лаквари вступил в ограду, где и увидел закутанную в бурку человеческую фигуру.

— Зачем требовал меня господин? — спросил Лаквари.

— Я принес тебе смерть для презренного нукера урусов,— отвечала бурка.

— Смерть! Я уже второй год ношу ее за поясом, да только она все еще не нашла ходу в сердце и в легкие нукера урусов,— отвечал в свою очередь Лаквари.

— Ну, твоя смерть железная и оставляет следы, а от моей смерти не останется никаких следов,— сказала бурка.— Вот, возьми ее.— И бурка подала Урусу маленькую стеклянную баночку.— Несколько капель влей ему в питье, и урусы потеряют навеки своего нукера.

— Давно пора,— улыбнулся Лаквари, пряча за пазуху пузырек.— Вон в Кисловодске, в Ореховой балке, верное было дело, и я вовремя дал вам знать, а вы все же ничего не сделали и только сами поплатились несколькими головами... Я в этом деле не виноват.

— Тебя никто и не винит,— сказала бурка.— Кто мог думать, что проклятый нукер-урус такой находчивый! Из лошадей завал сделал, а тут и конвой подоспел. Смотри же, завтра ночью я жду тебя здесь с известием, что от выроodka Шервашидзе, от изменника Димитрия, осталась одна падаль.

— А скоро действует твое лекарство? — спросил Лаквари.

— Скорее, чем кинжал или пуля... минутами... без криков... Это страшный яд.

— О, господин! — обрадовался Лаквари.— Тогда я через час буду здесь с вестью о падали... Он на ночь всегда выпивает стакан воды... Я в этот стакан и волю ему смерть.

— Хорошо... Спешу, я жду тебя.

— Только, господин, немного погодя ты опять застони филином, чтоб я мог выйти сюда, а то меня может остановить часовой и спросить, зачем я выхожу второй раз: я скажу, что князь послал меня застрелить проклятую птицу.

— Хорошо... Ступай. В ауле Чичи тебя ждет большая награда.

Вернувшись во дворец, Урус Лаквари быстро приготовил постель для князя Димитрия и, когда тот лег, подал ему стакан воды, в которую вылил всю жидкость из данного ему таинственной буркой пузырька. Князь быстро выпил и словно окаменел...

— Ты что мне дал? — глухо сказал он и навзничь опрокинулся на постель.

Отравитель быстро выдернул из-под его головы подушки и набросил их на искажившееся лицо свой жертвы. Тело несчастного вытянулось в конвульсиях и, казалось, застыло.

Урус Лаквари постоял несколько минут, словно каменное изваяние, потом поднял подушки. Перед ним лежал труп.

От монастыря донесся стон филина. Отравитель, даже не взглянув на свою жертву, вышел. Через несколько минут он был у монастыря.

— Ну, что? — спросила бурка.

— Готово,— отвечал убийца.— Ну и лекарство же!.. Жаль, что я забыл там пузырек.

Через несколько минут часовой услышал топот лошадиных копыт за монастырем. Князь Бежан Шервашидзе сдержал свое слово. Когда на другой день старый Галиб, не видя ни Уруса Лаквари, ни молодого князя, который долго не выходил из своей комнаты, заглянул туда, глазам его представилось ужасное зрелище: вместо молодого, красивого владельца Абхазии, на кровати лежал окоченелый труп. Урус Лаквари исчез.

В доме поднялась тревога. Явились княгиня Тамара, князь Михаил, доктор Булат-Алиев.

— Отравлен синильной кислотой... *acidum cyanicum*,— сказал последний, нюхая забытый отравителем пузырек.

Княгиня упала замертво.

XIII

На третий день тело безвременно погибшего молодого владельца Абхазии с подобающей честью было предано земле.

В тот же день в Соуксу приехал знакомый уже нам кривой абхазец, Ахмед Теймураз, которого когда-то Арслан-бей подвергал публичному поруганию посредством обнажения и обмазывания всего тела кислым молоком, с тем, чтобы его потом облизывали собаки. Теймураз просил, чтобы его допустили к молодому князю по важному делу. Князь Михаил Георгиевич принял его, помня, какую важную услугу оказал он в прошлом году их делу, подмочив в Сухуме запасы пороха, заготовленного Арслан-беем.

— Что скажешь, верный Теймураз? — спросил он.

— Верный Ахмед скажет своему господину, где гнездо змей,— отвечал Теймураз.— Оно в ауле Чичи. Я сам видел там сегодня Арслан-бея, проклятого Бежана Шервашидзе и Уруса Лаквари. Они скрываются у Тутшуга, у старого шайтана Тутшуга, что выкормил две змеи, Арслана и Диду.

Сгорая местью за смерть брата, князь Михаил, быстрый на решения, задумал тотчас же напасть на «гнездо змей» и разрушить его до основания, а если удастся, то захватить и самого дядю с его единомышленниками. Отпустив с благодарностью Теймураза, он тотчас же пошел к Ракоци и сообщил ему свой план. Ракоци одобрил план неустрашимого юноши, но только советовал пригласить в эту экспедицию и подполковника Михина с частью сухумского гарнизона.

— Мы не должны оставлять открытыми укрепления ни Соуксу, ни Сухума,— сказал он,— мы возьмем по половине людей из той и из другой крепости.

Юный князь одобрил предложение Ракоци, и они написали Михину, прося его участия в предстоящей экспедиции. Через несколько дней Михин с небольшим отрядом прибыл в Соуксу. Узнав о походе, солдатики соуксуйского гарнизона пришли в восторг. Некоторые из них сидели в это время в духане армянина Назарьяна, который угощал их за то, что они наготовили ему дров на зиму.

В духан вошел «дядя Сукач» с радостной вестью.

— А мы, дядя, князюшку Митрия Егорыча поминаем,— сказал один солдатик.— Дровец Назарушке наготовили, вот он нас и ублажает.

— Целый бурдюк поставил хозяин, ну, и пьем на спомин души раба Божия, князя Митрия, — пояснил другой солдатик.

Духанщик поднес стакан и старику.

— Дай Бог здоровья молодому князю Михайле Егорычу, — сказал Сукачев, осушая стакан. — Ноньче же с нами в поход идет.

— В поход? — удивились и обрадовались солдатики.

— В поход, братцы, — подтвердил старик. — Полно нам по запечью валяться, гарнизонными крысами именоваться. Теперь еще Князева душенька незримо по родным местам ходит, прощается со знакомыми местами. Пущай порадует, какого чёсу мы ее лиходеям задавать будем.

Выступление должно было состояться в этот же день, чтобы на другой день, на рассвете, сделать внезапное нападение на аул Чичи, в котором находился Арслан-бей с отрядом цебельдинцев и черкесов.

— Смерть брата открыла мне глаза на многое, чего я не понимал прежде, — говорил князь Михаил Георгиевич ехавшему с ним рядом Ракоци.

— А что именно? — спросил тот.

— Да хоть бы нападение на нас Арслана в Ореховой балке, за Кисловодском.

Почему он мог узнать, что мы поедем туда? Потому, что его предупредил об этом мерзавец Урус Лаквари: узнав, что мы туда собираемся, он выпросился у брата в ближайший аул будто бы за покупкой коня, а на самом деле, чтоб дать знать об этом Арслану. Недаром тогда кисловодский доктор, бывший с нами, подозревал, что около нас есть предатель. Этот предатель и был Урус Лаквари. А потом, когда брат должен был отправиться на дуэль с князем Голицыным, этот негодяй Урус тоже пробовал было отпроситься в горы, но брат не отпустил его. Теперь мне понятно и бегство из Соуксу в прошлом году жены Арслана, Эсма-ханум. После ее бегства обе ее прислужницы, наблюдавшие за ней, были найдены убитыми среди бела дня, одна в доме, где оставлена была Эсма-ханум, а другая — на площади, в толпе. Это дело Урусовых рук... О, если бы он теперь попался мне!

— Авось мы его застукаем в Чичи, — сказал Ракоци.

— О, если бы! — мрачно проговорил князь Михаил.

Ужасная смерть брата невольно переносила его мысли к осиротелой невесте Димитрия. Не далее как на днях брат собирался уже ехать в Петербург. Князь Михаил тоже с ним должен был ехать, чтоб был шафером у невесты брата. Юноша мечтал увидеть эту неведомую, необозримую страну, Россию. Петербург и Москву он представлял себе какими-то сказочными городами... Что это в самом деле за таинственная страна, откуда каждый год идут и идут тысячи, десятки, сотни тысяч войск? И что это за сказочные существа, цари, у которых миллионы подданных, миллионы войск? Что у них за дворцы, в которых могут поместиться тысячи гостей, как рассказывал ему покойный брат, видевший все это? А и его не пощадили злодеи... Он думал было написать в Петербург об ужасной смерти брата, но рука отказывалась брать перо. Ему казалось, что он этим направляет кинжал прямо в сердце бедной девушки... Теперь, далекие и потерянные для него, они все стали ему еще милее. Как наивно упрашивала его Катя:

«Приезжайте, Михаил Георгиевич, да поскорее. Я буду дни считать»... Теперь не будет конца этим дням, сколько бы ни считала бедная девочка... «Светлого дяди» не стало... Еще одним прометеевым потомком меньше...

После небольшого перехода оба отряда остановились на ночь, чтоб утром, на рассвете, ударить по предательскому аулу.

Отряды, подходя к аулу и обложив его с трех сторон, к общему удивлению, не встретили никакого сопротивления. Сначала думали, что их ждет скрытая в самом ауле засада. Над саклями продолжали подниматься струйки голубого дыма. Слышно было пение петухов.

Солдаты двигались вперед осторожно, держа наготове ружья. Вот и сакли близко, ближе ружейного выстрела. Но кругом ни признака жизни, хоть бы собака залаяла. Только кое-где петухи перекликаются, встречая ясное утро, да дымок над некоторыми саклями обнаруживает присутствие жизни. Солдаты вступили в аул — ни души. Только кое-где перебежали испуганные кошки.

И тотчас же отдан был приказ разорить аул, камня на камне не оставить.

Несчастный аул постигло полное разрушение. Все, что могло гореть, было подожжено. Из саклей вытаскивалась всякая рухлядь, домашняя посуда, все, что не могло быть унесено в горы, в леса, все это сваливалось в кучи, образуя собой костры, которые пылали по всему аулу. Кое-как слепленные из камней стены саклей и их кровли разваливались и разбрасывались ногами...

XIV

Время шло, а Абхазия не только не умиротворялась, но, напротив, враждебные элементы ее все более и более ожесточались. С годами, казалось, росла и энергия Арслан-бея, поистине олицетворявшего собой потомка Прометея, этого титана, объявившего войну богам Олимпа.

Хотя, по представлению Ермолова, государь и назначил владельцем Абхазии юного князя Михаила Георгиевича, пожаловав ему чин майора, но власть его оказалась еще ничтожнее, чем власть его покойного брата. На него смотрели, как на мальчика, оберегаемого русскими няньками. Даже разорение аула Чичи не прошло ему даром, хотя месть Арслан-бея не на него обрушилась, а на подполковника Михина. Отряд его, возвращавшийся в Сухум после наказания одного из ближайших аулов, на обратном пути был встречен отрядом абхазцев под начальством Тутшуга, отца покойной Диды, молочной сестры Арслан-бея, и жестоко пострадал. Солдаты показали чудеса храбрости. Сам Михин несколько раз вступал врукопашную, следуя во главе своего отряда. Израненный сабельными ударами, пораженный не одной пулей, он продолжал воодушевлять солдат, пока Тутшуг не раскроил ему череп тяжелой турецкой саблей.

— Это тебе за Чичи, за моих кур, за мою саклю! — кричал он, рубя Михина.

Более сорока нижних чинов полегло в этом несчастном лесу, а остальные, ожесточенные потерей начальника, неся его труп на руках, отчаянно отстреливались вплоть до крепостных ворот. Сам же Арслан-бей двинулся добывать Соуксу, резиденцию своих предков, с которой у него связано было столько воспоминаний. Там он, еще мальчиком, после привольной дикой жизни в ауле Чичи у своего воспитателя Тутшуга, посажен был за ненавистные турецкие и арабские азбуки, которые он считал своими врагами, выкалывал кинжалом у них «глаза», то есть непонятные ему буквы алфавита, рубил их саблями, расстреливал из пистолета и, наконец, со злобой наплевал на Коран за то, что не умел его читать. Там, в Соуксу, он впоследствии убил своего отца Келеш-бека. Там же он недавно, через своего клеветника Уруса Лаквари, отравил своего племянника, князя Димитрия Шервашидзе. Там теперь он надеялся живьем захватить другого племянника, «щенка» Михаила, и его мать, «глупую овцу» Тамару.

Юный владетель Абхазии, этот «калиф на бумаге», предвидя нападение свирепого дяди на Соуксу, поспешил отправить мать в Сухум, под прикрытие тамошних укреплений, и со дня на день ожидал появления неприятеля. Но Арслан-бей медлил. Он формировал сильное ополчение из абхазцев и черкесов. С целью воспрепятствовать движению русских отрядов вдоль морского берега, он на всем протяжении от Илори и Кодора до Сухума перекопал дорогу, сделал везде завалы, и только в начале июня 1824 года двинулся к Соуксу. Штабс-капитан Марачевский, заступивший место Ракоци, деятельно готовился к встрече сильного и многочисленного врага.

— Мы должны пожертвовать предместьем, чтоб спасти укрепление,— сказал он князю Михаилу, когда лазутчики донесли о приближении неприятеля,— я велю истребить там все сакли и духаны, чтоб врагу негде было укрыться.

— А разве он не отважится на штурм? — спросил Михаил Георгиевич.

— Едва ли... Штурм — это дело русского солдата, а горец действует или наскоком, когда приходится десять на одного, или из-за завалов и укрытий.

— Это правда,— согласился князь Михаил.

— Да надо еще запастись дровами и водой.

— А провиант как же?

— А початки на что, кукуруза? Она как раз теперь поспела.

Приказание было отдано тотчас же, и солдаты, под начальством юного подпоручика Земцева, выступили на работы, разделившись на четыре артели: одни отправились в лес за дровами, другие таскали бурдюками воду из речки в укрепление, третьи набирали мешки кукурузы, а четвертые принялись за уничтожение ближайших к стенам крепости духанов и саклей.

— Ну, Назарушка, волоки свое добро в крепость,— говорил старый Сукач духанщику Назарьяну, входя в его духан.— Все бурдюки с вином волоки в укрепу.

— Что так, дядя? — удивился армянин.

— Начальство приказывает; а мы твой духанчик похерим, по камушку разнесем. Все, что у тебя есть, тащи в укрепу; и курочек, и яички, и все сыры, а то придет Арсланка-пес со своей сворой, и все пожрут и выпьют у тебя.

Армянин пришел было в отчаяние, но ничего не оставалось, как повиноваться... У войны своя логика, жестокая... Скоро все предместье и площадь, на которой еще так недавно вся, казалось, Абхазия присягала на верность князю Димитрию Георгиевичу, покрылась безобразными кучами камней и редкими бревнами от разрушенных саклей и духанов, которые не успели перетащить в крепость на дрова. Восьмого июня утром показался и неприятель. Ветерок, дувший с моря, колыхал развернутыми знаменами. Их было пять. На самом высоком древке качалось широкое пурпурное полотнище с огромным золотым полумесяцем и золотыми кистями. Под этим знаменем высилась статная, в пурпурной чухе, фигура всадника; на белой как снег его папахе искрился тоже золотой полумесяц, осыпанный бриллиантами. В этой статной фигуре князь Михаил Георгиевич, стоя на городской стене рядом с Марачевским, тотчас узнал своего дядю. Рядом с ним, на белом коне, виднелся, по-видимому, хорошенький мальчик, на папахе которого сверкало и горело всеми цветами радуги бриллиантовое перо. Узнал князь Михаил и этого мнимого мальчика: то была Эсма-ханум, его очаровательная тетенька.

— Ишь, дьяволенок, и она тут,— узнал ее и старый Сукач,— а чуть было головы мне не снесла... Да и дьяволенок же! У! — ворчал старик.

Под другими знаменами можно было различить князя Бежана Шервашидзе и Уруса Лаквари. Неприятель, видимо, обозревал позицию. Разрушенное и очищенное от строений предместье, не давая врагу никакого прикрытия, делало для него подход к крепости невозможным. Это неожиданное препятствие привело Арслан-бея в ярость. Он выхватил из-за спины винтовку, и не успели глазом мигнуть на крепостной стене, как раздался выстрел, и пуля вцепилась в камень стены, у самых ног князя Михаила Георгиевича.

— А! Так вы так-то, аспиды! — проворчал старый Сукач. — А вот же тебе, дьяволенок, нна!

Старик выстрелил. Пуля как раз угодила в бриллиантовое перо на папаше Эсмаханум.

— Эх! Маху дал. Повысил малость... стар становлюсь, — сердито отплевывался старик.

Выстрел его, однако, произвел переполох у неприятеля. Затрещали разом десятки ружей, но, к счастью, ни одна пуля не попала в цель. Зато ответный залп с крепости выбил из толпы неприятеля не одного всадника. Одно знамя выпало из рук знаменосца.

— Молодцы, молодцы! — не вытерпел князь Михаил, хлопая в ладоши.

Марачевский между тем, зарядив картечью шестифунтовую пушку, «тещу», как ее называли солдатики, и наведя ее в центр неприятельской толпы, выстрелил, и там моментально закачалось в воздухе пурпурное знамя и упало на землю. Убито было и несколько всадников.

Среди осаждающих произошло большое смятение. Заметались раненые лошади; иные из них, не повинаясь всадникам, неслись вперед; другие повернули назад, наскакивая на встречных и опрокидывая их. С крепости летели в толпу новые ружейные выстрелы. Неприятель отступал, укрываясь от выстрелов; но он, однако, не думал совсем оставлять то, за чем пришел. Вправо, на возвышении, у него было надежное прикрытие: это стены и бойницы старого каменного монастыря, занимавшего господствовавшее положение над более низким положением крепости. Оттуда можно было обстреливать внутренность крепости навесным огнем. Они так и сделали. Скоро с крепости заметили, что в монастыре идет усиленная работа. Там возобновляли и укрепляли старые бойницы и возводили новые. Работа кипела. Одна смена работавших заменяла другую. Теперь началась жаркая пальба по крепости. Пули неприятеля ложились в самом укреплении, отнимая каждую пядь земли у осажденных, у которых между тем запасы воды скоро истощились, потому что в крепости не было резервуаров для ее хранения, а палящий зной южного солнца усиливал жажду осажденных. Положение было критическое. Тогда Марачевский опять прибегнул к «теще», и это шестифунтовое орудие сослужило свою службу. Меткими, почти непрерывными ударами чугунных арбузов была сбита с монастыря крыша и разрушено несколько бойниц.

Охотников на отчаянную вылазку со старым Сукачем нашлось много. Другие приготовили бурдюки и ведра для воды. Тотчас же заговорила «теща», поддерживаемая двумя другими орудиями, и кучка охотников, под гул орудийных выстрелов, выступив из крепостных ворот и пробежав небольшое пространство, с криками «ура!» бросилась на озадаченного неожиданностью неприятеля. Удалыцы скоро выбили штыками врага из монастыря и воротились с одним из неприятельских знамен, которое с торжеством нес юный Шервашидзе.

В первых числах июля берегом Черного моря по на-правлению от Редут-Кале к Кодору и Сухуму двигались удлинёнными колоннами, почти гуськом, русские отряды, а параллельно с ними по морю, недалеко от берега, медленно плыли под едва надуваемыми южным ветерком парусами два военных корабля. То были фрегат «Спешный» и бриг «Орфей». Под тентом последнего из них, укрываясь от знойного солнца, сидели на складных табуретах знакомые нам, если помнит читатель, моряки: веселый Боря Перелешин, теперь уже не Боря, а возмужалый Борис, и Нахимов, его приятель, тоже порядком возмужалый и загорелый. Тут же, посасывая контрабандную сигару, примостился и другой наш знакомый — старый, давно обеззубевший доктор Петр Петрович, который, вследствие этого, и продолжал произносить свое имя, на потеху молодым офицерам: «Пес Песович». Несмотря на протекшие двенадцать или тринадцать лет, он совсем не изменился.

— А помнишь, Перелешин, как мы здесь когда-то поймали морскую царевну? — заговорил Нахимов, глядя, как из моря с каким-то сопением выныривали дельфины и снова исчезали под водой, а над ними с криком кружились чайки.

— Это хорошенькую Эсма-ханум, дочь Кучук-бея? — быстро отозвался Перелешин. — Еще бы! Я часто вспоминаю об этом очаровательном существе.

— Мою «малютку»-то? — встрепнулся и старый доктор.

— Это почему же вашу, вечный холостяк? — улыбнулся Нахимов.

— Да как же? Мы ее с князем Яшвилем из воды вытащили, и я же ее в чувство приводил.

— Теперь, поди, бабищей стала и кучу детей от Арслан-бея нарожала, — заметил Перелешин.

— Ну, нет! — возразил, оживляясь, Нахимов. — Я о ней, в третьем году, чудеса слышал от княжны Гагариной, когда она воротилась в Петербург из Кисловодска: она чуть не похитила хорошенькую княжну Варвару Павловну.

— Как так? — удивился Перелешин. — Эта прелестная морская царевна, или, как мы ее тогда окрестили, «дочь эскадры»?

— Да, она самая. Княжна Гагарина, находившаяся в Кисловодске, и князь Димитрий Шервашидзе с братом Михаилом в сопровождении небольшого конвоя поехали в горы прогуляться и поохотиться и вдруг наткнулись на шайку Арслан-бея, а с ним была и неразлучная его спутница, красавица Эсма-ханум... Так насилу отстрелялись от них, да и не миновать бы княжне Гагариной хорошеньких ручек нашей общей дочки, если бы на выручку к ним не прискакал конвой. Вот какова эта Эсма-ханум!

— Ах, вот если б довелось нам ее встретить! — воскликнул Перелешин. — А еще лучше бы взять этого чертенка в плен.

— Говорят, покойный Шервашидзе, что воспитывался в Петербурге, хотел жениться на княжне Гагариной, — заметил доктор. — Мне говорил об этом мой коллега, доктор Черненко, Григорий Иванович. Он был в Кисловодске врачом у Гагариных и знал этого князя Шервашидзе: необыкновенный, говорит, храбрец был, да и нынешний князек, братишка его, отчаянная башка.

— Да, нам вот и предстоит теперь помериться силами с его дядюшкой, Арслан-беем, — заметил Перелешин.

— Что за красота! — воскликнул Нахимов, любуясь роскошной панорамой

морского берега и причудливыми изломами горного кряжа, завершавшего эту величественную картину. — Неудивительно, что горцы так любят свой удивительный край, а в особенности вот эти абхазцы. Разве у нас в России есть что-нибудь подобное?

— А Крым? — заметил Перелешин. — Какая прелесть!

— Да, только прелесть... А перед этим невольно хочется шапку снять, как перед грандиознейшим и грозным созданием Творца.

— Как перед громом и молнией, — вставил доктор.

— Именно, именно! Как перед громом и молнией... Что-то величественное, непостижимое и страшное.

— Недаром здесь прикован был Прометей, — сказал Перелешин. — Какой поэтический миф, и как он идет к этим именно горам!

— Верно, — согласился Нахимов. — А в Крыму Прометея негде было бы и приковать. Разве на Чатырдаге или на Ай-Петри? Но это не так грозно, не так величественно, как здесь.

В это время на берегу послышались выстрелы.

— А, вот они где! — воскликнул Нахимов, подбегая к борту.

На бриге и на фрегате произошло движение. Из рубки брига поспешно вышел офицер с подзорной трубой в руках. То был князь Горчаков, который командовал теперь как отрядами, следовавшими по берегу, так и помогавшей им с моря военной эскадрой.

— Я так и знал... Завалы, — сказал Горчаков подошедшим к нему Нахимову и Перелешину. — Надо их попотчевать отсюда, а то с этими завалами мы много людей потеряем. Господа! — заключил он. — Дайте им салют, выбейте мерзавца Арслана из его логова.

То же распоряжение он отдал в рупор и фрегату «Спешному», следовавшему по пятам за бригом «Орфей», на котором находился сам Горчаков. Нахимов и Перелешин поспешили к своим местам, и тотчас же началась канонада по завалам. Ядра, направляемые опытными канонирами, производили губительное действие. Неприятель, не ожидавший огня с моря, растерялся под его убийственными ударами и искал спасения и бегстве.

— Благодарю, господа, — сказал Горчаков, обращаясь к доблестным морякам, — завалы очищены, но едва ли надолго... Я знаю хорошо этого Арслана: весь берег он усеял сплошными завалами и весь путь перекопал... Без штыковой атаки на берегу не обойдемся.

Вскоре на горизонте показался какой-то корабль, который шел под парусами прямо на «Орфея» и «Спешного».

— Не турецкий ли это крейсер идет на выручку Арслана? — сказал Горчаков, всматриваясь.

— Нет, князь, — сказал Нахимов, — ход не тот, да и смелость не турецкая.

— Это, должно быть, наш «Меркурий», — заметил Перелешин.

Действительно, это был бриг «Меркурий», находившийся в крейсерстве. Едва «Меркурий» приблизился к «Орфею», как к борту его подошла лодка с пехотным офицером у руля.

— С чем, господин офицер? — крикнул с борта Нахимов.

— С донесением его сиятельству, — был ответ.

Горчаков подошел к борту.

— От кого? — спросил он.

— От князя Абхазова, ваше сиятельство,— отвечал офицер,— имею честь доложить, что к нашему отряду сейчас прибыл князь Дадриан с мингрельской милицией.

— А сколько?

— Тысяча сто человек.

— Хорошо... Поднимитесь на бриг.

Офицеру бросили трап, и он взобрался на борт «Орфея».

— Господа, пожалуйста в рубку,— сказал Горчаков, и все пошли за ним.

Усадив офицеров и развернув на столе карту, Горчаков стал ее рассматривать, что-то соображая.

— Теперь, господа, мы можем действовать наступательно,— сказал он наконец.— Передайте, господин офицер, мой приказ князю Абхазову и князю Дадриану: пусть последний направится со своей милицией по горным тропам в обход неприятеля. Я же прикажу фрегату «Спешному», под благоприятным вечерним береговым ветерком, пройти вперед и стать против главных завалов у Келасур. Когда они будут сбиты, мы на «Орфее» и «Меркурии» будем следовать вдоль берега под малыми парусами впереди отряда и очищать ему путь ядрами, выбивать врага из его берлог. Поняли, господин офицер?

— Понял, ваше сиятельство,— отвечал прибывший из отряда.

— Отправляйтесь же к вашему посту.

Наступил вечер 9 июля. «Спешный», пользуясь попутным ветром, поплыл по направлению к Келасуру. Горчаков, Нахимов и Перелешин долго провожали его глазами.

— Жаркий завтра будет день,— сказал Горчаков, глядя, как солнце мало-помалу погружалось в море.

— В каком смысле? — с улыбкой спросил Нахимов.

— В двояком,— отвечал Горчаков,— и в прямом, и в переносном.

— Особенно в переносном,— заметил Перелешин.

— Да, у Арслана больше трех тысяч, и все это отчаянные головы.

— Ну, «Спешный» свое дело сделает,— сказал Нахимов,— у такого капитана, как Корнилов, дело горит в руках.

Уже было совсем темно, когда вдали, против Келасур, огненная струйка прорезала воздух и рассыпалась в высоте золотыми блестками.

— Корнилов салютует,— сказал Горчаков, указывая на рассыпавшуюся ракету.

— Да, теперь и в Сухуме, и в Соуксу догадаются, что помощь близка,— заметил Нахимов.

— За Сухум я не боюсь,— продолжал Горчаков,— но за Соуксу не ручаюсь: там неприятель может всегда отвести воду.

— А князь Михаил Георгиевич в Сухуме? — спросил Перелешин.

— Нет... В том-то и беда отчасти... В Сухум он отправил только мать, княгиню Тамару, а сам остался в Соуксу... Он же отчаянный мальчишка. Марачевский мне доносит, что этот юный сорви-голова постоянно порывается на вылазки и однажды уже добыл с охотниками воды для гарнизона и неприятельское знамя. Пожалуй, полезет опять за водой и нарвется. А нам невыгодно его терять: он единственный законный владетель Абхазии...

Рано утром «Спешный» открыл канонаду по завалам у Келасур. По заре грохот орудий заставлял, казалось, вздрагивать и море, и горы...

— Вот тебе «и смолкнул ярый крик войны», — ворчал «Пес Песович», выходя из своей каюты, наполненной хирургическими инструментами и другими принадлежностями его профессии, — вон как кричит «Спешный»... Эх! Горчаков, Нахимов и Перелешин уже стояли у борта и прислушивались к канонаде.

— Теперь и мы должны начинать, пока береговой отряд не дошел до этих завалов, видите? — говорил Горчаков. — А потом нельзя будет стрелять, чтоб своих не поставить под ядра... Распорядитесь, голубчик, — обратился он к Перелешину. Тот же приказ он отдал в рупор и капитану «Меркурия». Теперь канонада загрохотала по всему побережью. Ядра наносили завалам видимый вред, потому что с обоих бригов можно было заметить, как то из-за одного, то из-за другого укрытия показывались группы абхазцев и черкесов и быстро убегали к лесу, покидая завалы. Их место тотчас же занимали солдаты и следовали далее. Оба брига двигались вперед, продолжая обстреливать берег, а у покинутых неприятелем завалов снова закипала борьба, потому что абхазцы и черкесы, видя, что канонада с бригов была уже впереди, выбегали из леса и наседали на солдат. Последним приходилось работать штыками.

— Да им просто числа нет, проклятым! — сердито говорил Горчаков, глядя в зрительную трубу на берег. — Тут их выбили ядрами, а сзади вновь точно из мешка сыплются.

— Да, авангарду легче, — заметил Нахимов.

— Натурально: авангард двигается по обстреленному берегу, а туда, где задние колонны, уже мы не можем стрелять.

— «Спешный» замолчал, — сказал Перелешин, прислушиваясь.

— Вероятно, сбил келасурские завалы.

День становился все жарче и жарче. От порохового дыма и растопленной солнцем корабельной смолы трудно было дышать. Весь берег кишил неприятелем, и повсюду шла отчаянная борьба. Каждая пядь береговой земли бралась с бою, и каждая эта пядь была залита неприятельской и русской кровью. Когда минутами, смолкала канонада, то с берега явственно неслись к эскадре то мужественные крики «ура!», то резкие гиканья и глухие «аллага-аллагу» неприятеля.

И надо всем этим адом — чудное безоблачное небо, морская, ритмично дышащая у берега волна и грозные, безучастные ко всему, горы.

— Вон где самая отчаянная борьба, левее, — говорил Горчаков, когда на время замолчали пушки.

— Это где красное знамя развевается? — спросил Нахимов.

— Да, это знак его власти... И около него Эсма-ханум, сказал Горчаков, наводя зрительную трубу.

— Неужели, князь?

— Я ее отчетливо вижу — в белой папахе.

— Удивительное существо! И мы же ее спасли, не дали утонуть.

— Как? — удивился Горчаков.

— Она тогда была еще почти девочкой. — И Нахимов рассказал, как они вытащили ее из моря. — Мы, молодежь тогда, все в нее разом влюбились. Даже Петр Петрович...

— Это в мою-то «малютку»? — улыбнулся доктор.

— Да, она прехорошенькая: я ее видел в прошлом или в позапрошлом году,— сказал Горчаков.— Она даже была у меня в плену несколько дней, раненая, а потом бежала из Соуксу в тот самый день, когда там происходила присяга на верность князю Димитрию Георгиевичу. Не досмотрели.

Битва между тем продолжалась на берегу с еще большим ожесточением. Видно было, что неприятель не выдержал натиска, и толпы быстро отступали вслед за пурпурным знаменем. Видя, что неприятель значительно отдалился от преследовавшего его русского отряда, Нахимов поспешил к орудиям и приказал стрелять по отступавшей массе. Орудия снова заговорили.

— Ай! Красное знамя упало! — как бы с испугом воскликнул старый доктор.

— Упало... подбили,— подтвердил Перелешин.

Но кто-то быстро подхватил его, и оно опять мота-лось в воздухе.

— Живучее,— сквозь зубы проговорил Нахимов.

Насколько передовым колоннам облегчала движение стрельба с эскадры, настолько труден был путь для арьергарда, на который постоянно наседали появлявшийся из леса неприятель. Задние колонны то смыкались в каре и отстреливались, то, когда враг уж очень дерзко нападал, вынуждены были ходить в штыковую. Солнце начало уже опускаться к морю, и цель была совсем близко: оставались только последние усилия.

— Вот и Сухум, рукой подать,— сказал доктор, облегченно вздыхая,— слава Богу! «Спешный» уже стоял против Сухума, и флаг его красиво реял в воздухе, как бы ласкаемый лучами вечернего солнца. Неприятель, по-видимому, чувствовал, что кровавое дело его не выгорает, и с новой яростью набрасывался на измученные под палящим солнцем в беспрестанном бою горсти мучеников своего долга. Особенно тяжел был последний переход до Сухума: пальба, крики, проклятия не умолкали, отдаваясь в горах перекастистым эхом.

Но вот и Сухум. Опасаясь, вероятно, вылазки из крепости и не рискуя попасть под перекрестный огонь, неприятель стал отступать к горам, и скоро кровавое знамя Арслан-бея, как бы гонимое последними лучами заходящего солнца, стало мало-помалу теряться вдали.

— Слава Богу! Слава Богу! — радостно вздохнул, широко крестясь, добрый доктор.— О, злое это дело, война, злое и неправое перед Богом,— шептал он,— это говорит мне вся природа, вот это мирное синее небо, эти горящие стыдом горы, эти последние лучи негодующего дневного светила, скрывающегося в пучине моря, чтобы завтра опять смотреть на это злое, неправое дело... О, Господи, Господи!..

В то время, когда «Орфей» и «Меркурий» входили в сухумский рейд, сухопутные отряды уже заняли крепость. Солдаты падали от утомления — так тяжел был этот знойный день, полный кровавых схваток с ожесточенным неприятелем. Когда Горчаков, Нахимов, Корнилов и Перелешин, в сопровождении доктора, сошли в шлюпку, чтоб отплыть на берег, от Сухума быстро неслась к ним другая шлюпка. Это князь Абхазов спешил навстречу Горчакову.

— Поздравляю с победой, князь,— весело сказал последний, узнав Абхазова.

— Только эта победа досталась нам дорого, ваше сиятельство,— отвечал Абхазов.

— А как? Сведения собраны?

— Собраны-с! Убиты один офицер и тридцать девять нижних чинов; ранены — один офицер и пятьдесят восемь нижних чинов, да без вести пропало трое.

— Слава Богу... Судя по ожесточению неприятеля, я ожидал даже больших

потерь,— сказал Горчаков.— А каковы их потери?

— Громадные-с... Целыми партиями неприятель уносил из-под огня и штыков своих убитых и раненых.

— О, Господи, Господи! — шептал между тем старик доктор, наперед зная, сколько кровавой работы предстоит ему около раненых.

Он поднял глаза к небу. Там, вправо, из-за далеких гор выплывал полный месяц, а его синевато-молочный свет, падая на гладкую поверхность моря, устилал его длинной искрящейся серебром полосой, которая терялась у далекого горизонта. Звезды казались бледными огоньками, брошенными в неизмеримое пространство небесного свода. В воздухе летали летучие мыши, как бы купаясь в мягком лунном свете...

XVII

Утром 11 июля к Сухуму подошел еще один военный корабль. То был бриг «Ганимед», пришедший из Севастополя на помощь сухумской эскадре.

— Теперь мы можем действовать энергичнее,— сказал Горчаков.— И надо торопиться: я боюсь, что Арслан-бей, потерпев здесь неудачу, с особенной яростью накинется на Соуксу, чтоб уничтожить своего племянника.

В это время казаки, бывшие в разъезде, привели какого-то абхазца, в котором они заподозрили неприятельского шпиона. Абхазец был крив на один глаз.

— А! Старый знакомый,— сказал князь Абхазов,— откуда и с чем?

— Да разве вы его знаете? — спросил Горчаков.

— Да как же, ваше сиятельство! А вы разве забыли его? Это наш союзник, который в третьем году подмочил в здешней крепости все запасы пороха у Арслан-бея. Это Ахмед Теймураз.

— А, помню, помню, друг,— сказал Горчаков.— Откуда ты?

— Из Соуксу, господин: я послан моим господином, князем Михаилом, к его матери, к княгине Тамаре.

— Так ты из Соуксу? — обрадовался Горчаков. Что там? как дела?

— В Соуксу, господин, все в благополучии.

— А неприятель?

— Неприятель хочет свой локоть укусить, да не достанет.

— Как так? Говори все... Ведь в крепости воды нет.

— О, господин, теперь у князя Михаила воды много, хоть купайся... Князь Михаил в деда пошел, в Келеш-бека, да блаженствует он вечно в раю пророка! У князя Михаила дух его предков. Две недели назад он сказал мне: «Верный мой Ахмед! Прoberись ты тихонько в Сухум и скажи моей матушке княгине Тамаре, чтоб она снарядила судно, посадила бы в него небольшую команду из сухумского гарнизона и отправила бы это судно к Соуксу. А как это судно подойдет к Соуксу, то чтоб показывало, будто команда его хочет высадиться на берег, чтоб напасть на собак, которые давно осаждают Соуксу. Когда собаки это увидят, то все бросятся от крепости к берегу, чтоб не допустить команду до высадки. Тогда мы, говорит, выйдем из крепости и наполним водой не только все бурдюки и ведра, но и все кадушки и бочки, какие найдутся в Соуксу». Княгиня так и сделала, как велел князь Михаил. Когда судно прибыло к Соуксу, то собаки все бросились к берегу, чтоб помешать команде высадиться. А судно и ну водить собак за нос: то оно будто бы тут хочет пристать, то там, а собаки и бегают за ним по берегу,

высуня язык в недоумении, да так и бегали до самой ночи, а судно все дразнит собак, все дразнит...

— Ха-ха-ха! — смеялся Горчаков. — Да в юном князе сидит военный гений... Как отлично отвел он глаза недогадливому врагу!

В это время подошли Нахимов, Корнилов, Яшвиль, Перелешин и доктор Петр Петрович, которые ходили навещать раненых.

— Ба! Да это мой бывший пациент, — сказал доктор, всматриваясь в Теймураза. — Это Ахмед.

— Я, господин: я Ахмед Теймураз, заклятый враг собаки Арслан-бея.

— И я узнаю его, — сказал князь Яшвиль. — Он напомнил мне то время, когда мы с почтенным Петром Петровичем спасали морскую царевну.

— Которая вчера так хорошо отплатила нам за доброе дело, — заметил Горчаков. Поблагодарив затем Теймураза за добрую весть, он велел ему идти к княгине Тамаре, чтобы и ее обрадовать известием о сыне.

— Ввиду сейчас сообщенного нам о положении дел в Соуксу, господа, — сказал он, — я полагал бы не торопиться выступать в поход, а лучше дать ослабленному усиленным переходом отряду хорошенько отдохнуть здесь, а я между тем, с вашей помощью, господа, на брига «Орфей» произведу рекогносцировку вплоть до Соуксу и, пожалуй, до Пицунды, чтоб узнать, в каких местах неприятель устроил свои завалы, и чтоб высмотреть удобное местечко для высадки десанта на берег. Согласны, господа?

— Вполне согласны, — отвечали моряки.

— Этим маневром, ваше сиятельство, мы избавимся от излишней потери людей, — заметил князь Абхазов. — Нам не нужно будет брать завалов. А Соуксу до того времени продержится, благодаря хорошему запасу воды: неприятель никогда не решится на штурм укрепления, а если и осмелится на это, то ему же не поздоровится.

— Да и Марачевского я знаю: он человек осторожный, выдержанный кавказец, — сказал Горчаков.

16 июля Горчаков, Нахимов и Перелешин, взойдя на бриг «Орфей», двинулись под малыми парусами по направлению к Соуксу. День был пасмурный. Вершины гор были закутаны тучами, но легкий ветерок, надувая паруса, освежал воздух и делал путешествие легким и приятным. На берегу кое-где виднелись группы вооруженных абхазцев и черкесов: то были разведочные партии Арслан-бея.

— Нигде не видать пурпурного знамени, — заметил Нахимов.

— Да, Арслан-бей, вероятно, потянулся с главными силами к Соуксу, — сказал Горчаков.

Когда «Орфей» несколько приближался к берегу чтобы видеть, нет ли на пути завалов, его движение тотчас замечали с берега и видимо готовились встретить врага, а дети, мальчики и девочки, с угрожающими жестами подбегали к самой воде и бросали в море камни...

Подвигаясь далее, «Орфей» поровнялся с аулом Пзирехва. С брига видно было, что здесь именно устроены неприступные завалы. Они прикрывались развалинами старой крепости и правым флангом прилегали к морю, левым же упирались в отвесные скалы.

— Полюбуйтесь, господа, — сказал Горчаков, указывая на берег.

С брига видно было, что здесь именно устроены неприступные завалы. Они прикрывались развалинами старой крепости и правым флангом прилегали к

морю, левым же упирались в отвесные скалы.

— Да, это позиция неприступная,— в свою очередь сказал Нахимов,— ее ни взять нельзя, ни обойти... Через эти отвесные скалы только птица может перелететь.

— Идти берегом, значит, и думать нечего,— решил Горчаков.— Надо войска прямо в Сухуме сажать на суда и миновать эту адскую западню.

— Остается найти удобное место для высадки десанта далее этой западни,— сказал Нахимов.

— Мы и будем теперь искать это место.

Из-за завалов заметили приближение брига и послали по нему несколько угрожающих, но бесцельных выстрелов, а вслед затем на полубрушившейся стене старого укрепления взвился пурпурный флаг.

— А! Ты здесь, голубчик! — засмеялся Перелешин.

— И голубка с ним,— улыбнулся Горчаков,— милая дочка вашей эскадры.

— А мы еще ей, гадкой девчонке, оказывали почести, точно настоящей принцессе! — заметил Нахимов.

— Да она и есть принцесса: не мы владеем теперь Абхазией, а она с мужем,— сказал Горчаков.

«Орфей» между тем шел все далее, а красный флаг продолжал развеиваться в воздухе, как бы насмехаясь над удаляющимся бригом. Вдали, верстах в семи, показались наконец укрепления Соуксу и серые стены полуразрушенного монастыря.

— Вот где место для высадки,— сказал Горчаков, указывая на берег.— Прикажете, господа, убрать паруса и ошвартоваться, а я пойду узнаю по карте, как это место называется: нам его следует изучить.

Пока паруса убрали, Горчаков воротился из рубки и объявил, что они находятся у урочища Эйлагу.

— Здесь берег очень удобен для высадки,— сказал он. — Я помню это место: когда два с половиной года тому назад я проходил здесь с отрядом, сопровождая к Соуксу покойного князя Дмитрия Георгиевича и княгиню Тамару, а у меня в обозе находилась и раненая красавица Эсма-ханум, вот тогда я хорошо заметил это место: здесь мы, чтобы прикрыть высадку, можем угостить неприятеля перекрестным огнем, и тогда освобождение Соуксу от осаждающих будет вполне обеспечено.

— Без сомнения,— согласился Нахимов.— Но я полагаю, что этими победами мы все-таки не завоюем Абхазии. Пока вы, князь, с вашими отрядами, а мы с эскадрой бодрствуем, страна как будто и принадлежит нам, хотя лишь в двух, можно сказать, математических точках, в Сухуме и в Соуксу, да и то эти точки нам приходится добывать, как мы их теперь и добываем. Но раз мы ушли, Абхазия ускользнула из наших рук.

— О, нет! — горячо возразил Горчаков.— Раз мы укрепились хоть в одной точке в данной стране, страна наша. Крым перестал быть турецким с того момента, как мы заняли там эту математическую точку, Севастополь. Так Рим когда-то владел всем миром, системой гарнизонов: Галлия, Испания, Греция, Египет, Палестина — все это Рим держал в своих руках посредством математических точек. Население Египта могло ненавидеть римлян, но раз в Александрии или в Фивах стоял римский гарнизон — Египет был у ног Рима. Евреи ненавидели римлян, но в Иерусалиме сидел Пилат с гарнизоном, и Христа повели судить к Пилату. Так и тут: наш Сухум, наша Абхазия, наш Кутаис, где я исполняю роль доброго Пилата,

и Имеретия тоже наша, хотя там и был недавно царь Соломон, свой царь, подобно иерусалимскому.

К вечеру «Орфей» возвратился в Сухум.

XVIII

Два следующие дня в Сухуме шли приготовления к походу под Соуксу, а в ночь с 19 на 20 июля отряды были посажены на фрегат «Спешный» и на бриги «Орфей», «Меркурий» и «Ганимед». Всего было посажено на суда восемьсот человек с одним полевым орудием.

В то время, когда суда, вытянувшись в линию, двинулись по направлению к Пзирехве и Соуксу из Сухуми берегом, по тому же направлению двинут был отряд в четыреста человек егерей, под начальством артиллерийского капитана Линденфельда. Движение это было просто демонстративное. Надо было показать неприятелю, что намерение отряда — взять завалы урочища Пзирехвы; на самом же деле егеря должны были отвлекать внимание врагов, не допускать их к сосредоточению и, не вступая в дело, вечером же воротиться в Сухум. Солдатики пронюхали это и потому шли совершенно как на прогулку, услаждая слух своих офицером песнями...

Между тем эскадра с десантом, поравнявшись с аулом Пзирехва, где находились самые недоступные завалы, весь день лавировала ввиду их, привлекая внимание неприятеля, который стягивал сюда главные силы, ожидая нападения и с моря, и с суши. Все видимое пространство берега пестрело и волновалось, как живое море: в воздухе развевались знамена, на солнце блестело оружие, мельками черные бурки, зеленые и ярко-желтые чухи, рыжие башлыки, белые и черные папахи, слышалось ржание лошадей. День клонился уже к вечеру, а блокирование завалов не начиналось. Видно было, как время от времени вдоль берега скакали всадники по направлению к Сухуми, а потом снова возвращались к завалам. Неприятель был уверен, по-видимому, что нападение с моря замедлено ожиданием прибытия сухопутного отряда. А он был еще так далеко. Неприятель успокоился, когда наступила ночь. Между тем под прикрытием ночи эскадра, потушив все огни, чтобы не было видно ее движения, тихо потянулась к намеченному для высадки урочищу Эйлагу.

— Они, кажется, ничего не подозревают,— заметил Перелешин, вглядываясь в скалистые очертания берега.

— О, не говорите,— возразил Горчаков,— Арслан-бей — старая лисица; у него непрерывная цепь пикетов идет вплоть до Соуксу. Если у него и сосредоточены главные силы у завалов Пзирехвы, то и остальной берег не остался без защиты, а коль скоро взойдет луна, а она скоро должна показаться, то он заметит исчезновение эскадры и поймет наш маневр... Тогда нам придется считаться с ним у Эйлагу: счета будут жаркие.

Опасения Горчакова оправдались. Едва начало светать, как берег у Эйлагу уже весь был покрыт волновавшимися массами неприятеля. В воздухе полоскалось и пурпурное знамя вместе с прочими. Несмотря на это, Горчаков приказал спускать гребные суда и сажать в них десант. Посадка совершилась в полном порядке, и суда выстроились в линию.

— Молись Богу, ребята! — прошел по гребной флотилии зычный голос князя Абхазова.

Все перекрестились... Кому-то придется лечь навеки у этого негостеприимного берега?..

— С Богом! — скомандовал сам Горчаков, и суда, дрогнув от зачерпнувших воду весел, быстро понеслись к берегу.

В ту же минуту со всех четырех кораблей загремела убийственная канонада. Удары были дружны и ложились с поразительной меткостью; ядра наносили неприятелю такой страшный урон, что берег в несколько минут уже представлял завалы из трупов которые поражаемые не успевали подбирать и уносить. Гул от орудий смешивался с криками, воплями и проклятиями защитников своей земли, и под эту адскую музыку десант все ближе и ближе подплывал к берегу, окраина которого уже чернела рядами гребных судов и темными киверами солдат. Неприятель понял, что сопротивление невозможно, и дрогнувшие нестройные толпы его, подбирая убитых и раненых, стремительно обратились в бегство, пользуясь прикрытием векового бора, темной рамой окаймлявшего с трех сторон береговую линию урочища Эйлагу. Когда солдаты, покинув доставившие их к берегу гребные суда, с криком «ура!» бросились вперед, поле битвы было уже пусто, и только там и сям валялись оброненные в бегстве бурки и папахи, да береговой песок и трава темно-багровыми пятнами и целыми лужами крови кричали о том, что здесь жестоко уничтожено множество людей. Но медлить было нельзя. Неприятель после первой паники мог опомниться и трехтысячной массой своей задавить горсть храбрецов, очутившихся на берегу без всякого прикрытия. А потому Горчаков приказал отряду тотчас же укрепляться, делать завалы из бревен и срубленных деревьев, которыми загромождена была дорога, ведущая вдоль берега к Соуксу и к Пзирехве; ограждать камнями и, где можно, окапываться. В то же время фрегат «Спешный» и бриги «Меркурий» и «Ганимед» были отправлены им в Сухум за остальными войсками.

— После первой встрепки врагу не следует давать передышки, — сказал Горчаков, провожая Корнилова к эскадре. — Он или на нас насядет в порыве яркой злобы, или постарается выместить свое зло на Соуксу...

Но нападения со стороны Арслан-бея ни в этот день, ни в следующий не было, а между тем на рассвете 23 июля уже белели в море паруса фрегата и бригов с отрядом из Сухума.

— Смотрите, Петр Петрович, какой громадный орел кругами плавает над нами, — сказал Перелешин, указывая доктору на гигантскую птицу, плавно скользившую по спирали в утреннем воздухе, — есть примета, что это к победе.

— Да, римляне верили этой сказке, — отвечал старик, щуря на орла свои подслеповатые глаза. — А кому он сулит победу, нам или им, это еще вопрос: ведь и они там, чай, видят его. Да притом орлов здесь так много, что побед не оберешься...

Когда прибывший из Сухума новый отряд высадился на берег, Горчаков сделал такое распоряжение: чтобы замаскировать истинное свое намерение и сбить с толку неприятеля, он приказал фрегату «Спешному» и бригам «Меркурию» и «Ганимеду» тотчас же, минуя Соуксу, следовать к Пицунде, где и сделать ложную высадку.

— Пицунда для Арслан-бея очень дорога, как последнее его убежище в Абхазии, — пояснил Горчаков Нахимову. — Чтоб помешать вашей ложной высадке, он пошлет туда часть своих войск и тем ослабит главные свои силы; а тут-то я на него и

нападу.

Действительно, когда «Спешный» и оба упомянутые брига двинулись к Пицунде, то они не могли не заметить, что от толпы абхазцев и черкесов, окруживших Соуксу, отделилась значительная партия с двумя знаменами и потянулась по направлению к Пицунде. В то же время отряды князя Абхазова и капитана Линденфельда, под общим начальством князя Горчакова, предшествуемые музыкой и песенниками, пошли прямо на Соуксу.

Послышались выстрелы, но нерешительные, одиночные, и снова умолкали. Движению отрядов препятствовали деревья, которыми загроможден был путь, но и они не остановили наступающих.

Но вот и Соуксу. Здесь неприятель решился, по-видимому, на отчаянное сопротивление. Из каждой сакли, которая осталась не разрушенной раньше, из садов, из виноградников, даже с деревьев, на которых засели отчаянные головы, — со всех сторон зажужжали пули. Но солдаты мужественно прошли сквозь этот огонь и со штыками на перевес, с криками «ура!» ринулись вперед, в самую гущу.

— Ура! Ура! — послышалось вдруг в тылу у неприятеля.

Это гарнизон Соуксу, сделав неожиданную вылазку, с юным князем Михаилом и Марачевским во главе, обрушился на нападающих с тыла. Михаил Георгиевич, казалось, ничего не видел. Махая саблей направо и налево, он бежал прямо к тому месту, где моталось в воздухе пурпурное знамя, а под ним на белом коне грозно писалась величественная фигура его дяди. Но вдруг знамя дрогнуло, зашаталось, зашатался на седле и Арслан-бей. Все смешалось в какой-то хаос криков, стонов...

— Вот же тебе, дьяволенок, на! — услышал он хриплый голос старого Сукачева, и когда добежал до того места, то Арслан-бея уже там не было, а около бывшего на земле в предсмертных судорогах прекрасного белого коня лежала на земле... Эсма-ханум!.. Старый Сукач стоял тут же и вытирал пучком травы свой окровавленный штык.

— Теперь не уйдешь, баста! — ворчал он.

Михаил Георгиевич все понял.

— Что ты наделал? — крикнул он и припал к распростертой на земле красавице. — Ханум!.. Милая... дорогая моя... Она в обмороке...

И, схватив на руки, как малого ребенка, он понес ее, ища доктора и целуя ее похолодевшие губы, щеки, волосы. Навстречу ему попались Петр Петрович и другой доктор, Булат-Алиев, в сопровождении солдат с носилками.

— Ради Бога, спасите ее! — говорил, задыхаясь, юный Шервашидзе.

— Кто это? Кто?.. Кладите осторожно на носилки, — заторопился Петр Петрович.

— Эсма-ханум! — с испугом воскликнул Булат-Алиев. — Опять она...

Он нагнулся к ней, щупал пульс и дрожащими руками расстегивал пунцовую чуху у нее на груди.

Растегнул, открыл... Ниже левого соска чернела трехгранная штыковая рана.

Эсма-ханум была мертва.

— Бедная, бедная малютка! — тихо говорил Петр Петрович, с глубокой горестью смотря на милые черты покойницы. — На то ли мы спасли тебя от смерти?

Бедная!

Князь Михаил Георгиевич тихо плакал.

Арслан-бей потерпел жестокое поражение. Он сам был ранен, и приближенные насильно увели его из огня, а те, которые хотели унести Эсма-ханум, были все переколоты на месте. Юный Шервашидзе и князь Горчаков распорядились похоронить ее с почестями, сообразно ее высокому сану, и, в уважение к ее удивительной храбрости, всю ее наскоро вырытую могилку и белую бурку, в которую ее завернули,— все это усыпали живыми цветами.

Тот, кто убил ее, тот и могилку выкопал своей жертве,— это был старый Сукач. Он копал ее вместе с приятелем своим, рябым Кудряшом.

— Что же,— говорил старик не то грустно, не то угрюмо, качая седой головой.— Не я убивал ее, а присяга... Коли б и родная мать моя была на месте этой рыженькой, и мать бы не пожалел, потому — присяга.

А потом, глядя на бледное личико мертвой, все обрамленное цветами, он не раз смахнул с ресниц назойливую слезу.

— Младшенька... словно херувимчик... а я вот, старый, живу...

После похорон Эсма-ханум князь Горчаков на военном совете предложил вопрос: как поступить с исторической резиденцией владетелей Абхазии, этим гнездом всех несчастий и преступлений славного рода князей Шервашидзе?

— Здесь, в Соуксу,— говорил он,— в этом гнезде несчастий, положено начало кровавой распри между доблестным Келеш-беком и его недостойным, преступным сыном, Арслан-беем. Здесь, в Соуксу, этот последний злодейски лишил жизни своего престарелого отца. Здесь же этот гнусный отцеубийца предательски отравил своего родного племянника, князя Димитрия Георгиевича, законного владетеля Абхазии. Здесь же, не далее как сегодня, этот шакал своей родной страны, этот выродок из рода Шервашидзе, намеревался отнять власть и жизнь у другого своего племянника, у его светлости князя Михаила Георгиевича, и, вероятно, преуспел бы в своем злодейском замысле, если б в помощь законной власти не подоспели победоносные войска государя императора... Соуксу,— продолжал Горчаков,— ненадежный пункт для защиты страны и прав ее владетелей: укрепления Соуксу непрочны, помещения для гарнизона недостаточно обширны, крепостные вооружения слабы, а главное, этот пункт лишен воды. Для блага Абхазии, на пользу законной власти в роде князей Шервашидзе, я предлагаю пожертвовать этим пунктом, предлагаю разрушить, сравнять с землей Соуксу!

Все слушали безмолвно. На глазах юного владетеля Абхазии блеснули слезы. Разрушить Соуксу, это родовое гнездо его предков, колыбель его невинного детства, с которой связано так много воспоминаний!.. Но здесь — следы и память преступлений, следы и память позора в его роде. Горчаков ждал ответа.

— Да, князь, вы правы,— с дрожью в голосе сказал Михаил Георгиевич.— Пусть исчезнет с лица земли Соуксу!

— Я рад, что ваша светлость поняли меня,— сказал Горчаков, протягивая ему руку.— Этой жертвы требует от вас государственная мудрость. Прикажете же собрать все, что в вашем дворце есть ценного и достойного сбережения: дворцовое имущество, утварь, посуду, серебро, драгоценности, все фамильное, и мы все это тотчас же отправим обозом и на судах в Сухум, куда по уничтожении вашего старого, негодного гнезда немедленно отправимся и сами к вашей матушке.

Предложение князя Горчакова тут же одобрено было князем Абхазовым, Нахимовым, Перелешиним, Марачевским и Линденфельдом, и пока из наследственного дворца князей Шервашидзе выносили и укладывали на арбы их имущество и всякую утварь, солдаты соединенными усилиями разрушали стены осужденной на смерть крепости, предавали огню все воспламеняющееся, ломали и жгли сакли и духаны, так что к пяти часам дня бывшая резиденция владельцев Абхазии представляла беспорядочную грудку развалин.

Покончив с разрушением Соуксу, отряды отошли от развалин, все еще дымившихся, и расположились лагерем вдоль морского берега в виду догоравшей столицы Абхазии. Солдаты, как только солнце погрузилось в море, развели костры и, усевшись вокруг них группами, завели вечные рассказы о походах да о военных приключениях...

Время шло. Костры мало-помалу догорали, и сон уже господствовал над лагерем. Все утомленное дневными трудами спало под темных небом Абхазии. Не прекращались только оклики часовых. Долго не спал князь Михаил Георгиевич, с глубокой тоской поглядывая, как во мраке ночи дотлевали развалины столицы его предков... Так Богу угодно... Но и его одолел сон. Он не у развалин Соуксу, а на Елисаветинской горе, около Кисловодска. Тут и брат Димитрий, и княжна Варвара Павловна, и князь Голицын, и маленькая Катя и Сережа, и Григорий Иванович. Вдали — зубчатые гребни кавказского хребта и снежная вершина Эльбруса. Слышно, как в горах ветер стонет... «Это не ветер, — говорит Григорий Иванович, — смотрите туда, на Эльбрус... Видите, там гигантские очертания человека? Это он стонет: это Прометей... Видите, какую исполинскую тень от заходящего солнца бросают его обращенные к небу скованные руки, его голоза и распростертые над ним крылья исполинской птицы? Это орел Юпитера»... Но вот солнце зашло, и страшные стоны умолкли... Скоро в небе над их головами послышалось могучее веяние иггга. Все глянули на небо: там, высоко, в темнеющем небе летела исполинская птица, направляя свой полет ни с свер... Это был невиданной величины орел, но только, удивительно, с двумя головами!.. На этом кончается наше повествование.

Княжна Варвара Павловна долго оплакивала свою первую любовь, вспоминая то скамейку на берегу тихой Славянки, то свое счастливое пребывание в Кисловодске. Но потом всесильное время наложило тени на прошлое счастье, мало-помалу заживило острые раны молодого сердца, и через три года Варя вышла замуж за Голицына, убедившись, какой он хороший человек и как неизменно ее любит. Катя продолжала мечтать, как она вырастет и станет совсем большой, и тогда выйдет замуж за «героя Мишу». А Сережа надеялся сам быть скоро героем и взять в плен Арслан-бея.

1897 г.

В. ГАТЦУК

АБРАСКИЛ

(Абхазское предание *)

Со всех сторон света набегали на землю Апсны жадные шакалы-чужеземцы. Шли они низкими болотами берегов, переходили через снежные хребты гор, плыли по волнам морским. И было от них народу великое разорение: от плуга брали враги всех быков; от дома — все, что стоило унести; от семьи — всех молодых и красивых. А нивы жгли и топтали конями; сады вырубали под корень...

В то тяжкое время жила на вершине горы Охачкуа старая ведунья Хырпса, мудрая в знании трав и кореньев, искусная в гадании по звездам.

С холодной каменной вершины своей сошла она в теплую плодородную Апсны, что при море; не убоилась старуха злых чужеземцев, что, словно хищные звери, рыскали там. От селения к селенью шла она, из дома в дом переходила, и речь ее повсюду была такая:

— Вот приближается время, давно предреченное; время, когда народу Апсуа дано будет — скинуть с себя ярмо чужеземцев. Родится сын у девицы, не знавшей мужа; будет велик тот юноша духом и силою, и сможет он защитить народ свой от лютых врагов и освободить родную землю... Бойтесь только, чтоб не погубили его изменою люди из сильных родов Асуба и Кацуба, чтоб не извели его желтоволосые и светлоглазые!

* * *

Берегом реки идет богатый и сильный Гих Урсан из рода Асуба, берегом пенистого потока, мчащегося с Цебельды, по ущелью, к безпредельному морю. И видит Гих Урсан: череп головы человеческой несется водою; быстро несет поток изсохшую кость и бросает ее на берег к ногам Урсана. Поднял череп Гих и так молвил в раздумьи:

— Тоже был человек! А теперь что? Кусок негодной кости, не страшный и мухе?..

Отвечал ему сухой череп:

— Когда был я живым, — гибли от моей руки сотни... Теперь от меня погибнут тысячи из твоего рода Асуба, и тысячи сродников твоих Кацуба будут рыть землю ногтями, борясь со смертью...

— Лжешь ты, сгнившая кость! — молвил в ответ неведавший страха Урсан. И с теми словами, разложив на берегу костер, сжег в огне череп, и пепел кинул в поток...

Той порою вышла на берег реки дочь Гиха Урсана, прекрасная девица Маниджан. С кувшином на плече вышла она, чтобы набрать воды для дома.

— Ах, как мне пить захотелось! — сказала она, наклонившись к воде. Зачерпнула рукою бежавшую струйку и выпила... А в той струйке — был пепел вещаго черепа...

* * *

От того пепла родился у девицы в свой срок сын. И было дано ему имя — Абраскил.

С холодной каменной вершины горы Охачкуа вновь сошла старая ведунья Хырпса в теплую землю Апсны, что при море. Из селенья в селенье, из дома в дом переходила она, возвещая:

— Радуйтесь, люди Апсуа! Уже родился от девицы, не знавшей мужа, защитник нашей родной земли, борец за нашу свободу. Ты, род Азра, больше всех терпящий

<http://apsnyteka.org/>

беду, береги своего освободителя, чтоб не извели его изменою злые Асуба и Кацуба, не погубили его хитростью светловолосые!...

До слуха Урсана из рода Асуба дошли те речи старой ведуньи, и сказал себе Гих Урсан, умевший ладить с чужеземцами, отвращать их жадность от своего достояния, направляя ее на чужое добро:

— Не говорит ли старуха о сыне моей дочери? Он растет не так, как другие дети: месяца еще ему не минуло, а он с виду уже — как годовалый. Не нажить бы беды от него, рожденного без отца, нашему славному роду Асуба и Кацуба, соплеменникам нашим...

И взяв от груди дочери сына ее Абраскила, не смягчился суровый Урсан ее слезами: снес младенца в чащу дальнего леса и там покинул его одного, беспомощного, на съедение зверям. Убить внука своего рукою не мог он.

Но не сделали худа дикие звери Абраскилу: серая волчица отнесла его в свое логовище и, вскормив его молоком своим, дала ему быстроту волчьего бега и ловкость волчьей ухватки. Пятнистый барс, взяв Абраскила от волчицы, передал ему свою смелость и неутомимость. От черного медведя получил он его силу... Так повелел лесным зверям владыка их, Аджвепшаа Абна-Инчваху, бог в лесах обитающий.

* * *

С холодной каменной вершины горы Охачкуа спустилась старая ведунья Хырпса; в чащу темного леса проникла она, — словно падучая звезда, пронизывающая тьму, — и, возведя Абраскила на высоту Уарцаху, открыла взору его всю землю Апсны.

— Вот, гляди, Абраскил, сын Неведомого: твоя родная земля пред тобою! Дана тебе хитрость волка, смелость барса и сила медведя, чтоб сошел ты и изгнал оттуда жадных шакалов — чужеземцев. Избивай рыжеволосых, предавай смерти светлоглазых; они враги твоего народа. Твоими же врагами, врагами, тебе опасными, будут сильные роды Асуба и Кацуба, предающие землю Апсны чужестранцам: их злобной хитрости опасайся больше всего... Нужен конь тебе, нужно оружие. На вечерней заре, пред заходом солнца сойдешь ты на берег безпредельного моря, там, где высокие скалы далеко вдались в волны. Морскую кобылицу, выбивающую ногами сухую пыль со дна морского, кобылицу с белым жеребенком, у тех скал подстережешь ты. Поймай и укроти жеребенка, — он будет тебе боевым конем, конем Арашем, летающим на крыльях, как быстрый орел. Добудь коня, — он покажет тебе и оружие.

* * *

На вершине скалы, далеко вдавшейся в море, лежит Абраскил, притаившись. Словно волк, высматривающий добычу, сторожит он морскую кобылицу, — как выплывет она с белым жеребенком из неведомых бездн морских. Подобно пестрому барсу, кидается он сверху на жеребенка, вынырнувшего следом за матерью... Громко крикнул, жалобно заржал белый жеребчик и помчал богатыря; быстро помчал, кидаясь в стороны, вверх, поднимаясь и падая камнем в глубь моря, — чтоб сбросить с себя тяжкое бремя. Но крепко жал его тело коленями могучий Абраскил, железной рукою сдавливал он шею коня, — и конь покорился:

тихо поплыл к берегу, повинуюсь воле господина.

— Волею бога, мне, тебя отдавшего, приказываю я тебе, конь, сын морской пены,
— молвил тогда Абраскил своему белому коню: — укажи мне место, где хранится оружие древних богатырей, то, скованное из священного железа оружие, которым суждено владеть мне, Абраскилу, сыну Неведомого, — чтобы мог я поразить им сильных врагов моей родной земли, светлоглазых, рыжеволосых...

Отвечал богатырю его конь, крылатый Араш, рожденный от пены волн морских:
— Здравствуй много лет, господин мой, могучий Абраскил! По силе твоей я узнал тебя и буду тебе верным слугою, ибо предречено мне судьбой покориться силе Абраскила, рожденного девицей, не знавшей мужа.

И погрузившись в море, проник Араш в пещеру, что под прибрежными скалами Уардану; под скалами, от подножья до половины залитыми волнами. В той беспредельно огромной пещере нашел Абраскил себе по руке и плечу богатырское оружие: щит, шлем и тяжелую кольчугу, и меч, и копье, скованные из священного белого железа богом Джуар-Абна-Ирчшаа, богом, в недрах земли обитающим.

* * *

Как снежный обвал, что, падая с гор, ломит и валит все на пути своем, как грозная буря, — дочь черных туч, — что несется над морем, бросая пену его к небу, — так промчался Абраскил по земле Апсны, с севера и до южного края. Как снопы соломы, кидал он, грудками, мертвые тела врагов, — светлоглазых и рыжеволосых; избивал без счету людей из родов Асуба и Кацуба, предавших чужеземцам родную землю.

И трупы их, без погребения, велел сбрасывать в море.

На отлогий мягкий берег вышли из волны дочери Морского Царя; двенадцать прекрасных девиц приблизились к Абраскилу, отдыхавшему после боя, — и так ему молвили:

— Не возносьсь, удачею, витязь племени Апсуа, удачей, посланной тебе богами! Вот, ты сквернишь дом нашего отца, бросая труп врагов твоих в море, — и гневен наш сильный отец. Ты оскорбляешь землю, мать всего рожденного, не возвращая ей мертвые тела ее детей... Поступай же по закону, при создании мира установленному, не то отвратят от тебя боги свою милость.

Но не послушал гордый богатырь Абраскил дочерей моря; над словами их посмеялся, так им ответив:

— Дочери моря, летающие между облаками! Ветер — владыка вашего ума, буря — госпожа вашего рассудка. Берегите, девушки, советы для печенья хлеба, а угрозы — для малых ребят... Не мне, Абраскилу, избраннику бога богов, им внимать... Полной чашей пью я вино битвы, я медом боя упиваюсь, — и ничто не удержит меня в моем размахе...

И отлетели от него дочери Морского Царя; печальные спустились они в отцовский подводный чертог... От гнева Царя кипит морская пучина; белоглавыя волны, гремя, ударяют, о скалы; далеко на отлогий берег выносят они тела убитых...

* * *

С запада, от морского побережья мчится витязь Абраскил, боец за родную землю; на восток к вершинам Панау направляет он путь свой, как ветром сметая пред собою врагов; кости их хрустят под ногами коня, крылатого Араша, трупы их горами лежат непогребенные. Убегают в свои дальние земли желтоволосые и светло-глазые; в глухих дебрях лесных скрываются роды Асуба и Кацуба, предавшие родину чужеземцам...

Даль, зеленокудрая дева, дочь Царицы-Земли, стала пред Абраскилом, выйдя из бездны. Грозен был вид ее; на челе ее черные тучи, в очах ее сверкающие молнии: — Непогребенными телами вскормил ты семиглавого змея-дракона, злодей Абраскил. Тучен змей, гнется под тяжестью его грудь матери-Земли; дрожат, опускаются горы; качаясь, поднимаются долины... Как болото, зыблется твердь земная, когда ползет Семиглавый... С гор сползает он теперь на твою, Абраскил, родную землю; и погибнет приморская Апсны, опустившись под ним; и волны моря покроют ее!

* * *

С вершины горы Охачкуа сходит древняя ведунья; к подножью горы, в темный лес она вступает, — где стоит Абраскил один, опустив голову на руки, томимый отчаяньем: не знает он, как спасти от гибели родину-мать...

— Вот, трехструнная шедегекуа **, — молвила ему мудрая старуха Хырпса. — Медом небесных пчел, сладким медом, разведенным в росе, сшедшей в жаркий полдень с седьмого прохладного неба, — овлажняю я уста твои, Абраскил. И пусть, снизойдет на тебя дар, усыпляющей песни, песни, что тихий сон навеивает, что клонит к сладкой дремоте... Ты запоешь, — и под песню твою, под рокот струн тех волшебных, дракон погрузится в забвение сна... Ободришь, Абраскил! Вспомни, что меч твой рубит и крепкую сталь!

* * *

Задумал я спеть те песни, что пел Абраскил. Но слова тают на устах; как полая вода, разливаются речи, сбегая с языка; словно капли о камень, разбиваются они о зубы...

А много песен я знал: их пел, бывало, отец под свист сабли, что точил он о камень; пела их мать под жужжание прялки... Падали песни с росой на меня, когда шел я лесною тропинкой; их ломал я и в чаще кустов; меж цветами и травами песни срывал я... Слышал песню я в голосе диких зверей; песню мне шелестели деревья; их мне волны несли вместе с пеной своей; навевал мне их ветер в ущельи... Их сносил из-за туч мне сверкающий луч...

Но не спеть мне, — что пел Абраскил!

На камне песни, на утесе отзвуком он стал. Струны в лад звучат под его рукою. Геройскую песню он начал; громко запел, с силой ударив по струнам, — всколыхнулось глубокое море, дрогнули горы, полные железом; в песок рассыпались крепкие скалы; как трава, гнутся столетние дубы.

Песню жизни запел Абраскил, — веселую, звучную песнь. На скалу медведь влезает, чтобы песней насладиться; волк бежит, проснувшись; ястреб мчится, ястребят в гнезде покинув; из-за туч орел спустился; из воды поднялись рыбы. Все ликует, счастьем жизни обаянное — трепещет...

Песню сна, песнь тихого отдыха начинает певец. Сладко журчат струны, словно прохладный родник в зное пустыни; тихо катятся мерные речи песни, как осенние листья, что легкий ветер несет по дороге... Вот, месяц лег за горной вершиной; вот ясное солнце склонилось на грудь румяной зари... Пестрый барс, припавши к ногам Абраскила, тихо мурлычет и шурит в дремоте глаза; малые пташки уснули на плечах певца, подвернувши головки под крылья; остановились ручьи в журчащем течении; ветви свои опустили деревья...

Серой тучей, беспредельно огромным обвалом, полз чудище-змей с горного склона к берегу моря. Песнь Абраскила застигла Семиглавого, — когда пламя из пастей его, огромных, как пещеры Ачкы-Тызго, жгло уже рощи побережья. Вперед вытянуты семь длинных шей, грузное тело опирается на откосы гор, чешуйчатый хвост — на ледяных вершинах. Так застигла змея, усыпляющая песнь, так и заснул он...

И под бременем его опустилась тогда горная твердь: на две горы, глубоким ущельем распалась вершина; большая долина вогнулась на склоне, и семью теснинами выбегает из нее в море теперь река Бзыбь...

Мечом своим, наследьем древних богатырей, рубит Абраскил чудище-змея. На куски разрубает он тело и на месте предаёт огню, заваливши кострами из деревьев. Семь лун и семь дней с ночами горели костры; сгорел семиглавый змей; пепел сгоревшего тела ветер подхватил и развеял. Но вина Абраскила пред матерью-Землею все ж пала и на его родину, на теплый край Апсны: из того змеиногo пепла родились зловредные мухи, несущие заразу, и комары, в жалах своих таящие яд семи злых лихорадок...

* * *

В глубине горы Псху, — там, где сквозь нее протекает в море быстрая река Мчих, — в тех подземных пещерах, собрались родичи Асуба и Кацуба, избегшие гибели от руки Абраскила; сошлись рыжеволосые и светлоглазые чужеземцы, что спаслись от мести героя. На совет собрались они: как им избыть грозной беды? Говорили мудрейшие из них, но не нашлось им спасенья в мудрости людской. Тогда из вод быстрого Мчиха поднялись дочери Морского Царя, девы-богини, оскорбленные Абраскилом; из тьмы таинственных пещер выступила Даль, зеленокудрая дочь Царицы-Земли, разгневанная им. Явились они людям и вещали:

— Великой гордостью своей прегрешил сын Неведомого пред Царем Моря и Владычицей Земли. Просите их люди покарать вашего злодея, приносите им щедрые жертвы.

Принесли люди жертвы: больших быков и тучных баранов закололи во множестве, и усердно просили Царя Моря и Владычицу Земли спасти их от гибели. Так людям ответили боги:

— Неудобна нам и несносна гордость Абраскила, родившегося от девицы Маниджан, дочери Гиха Урсана из рода Асуба. Но волею бога богов — силен Абраскил; крылатый Араш не даст ему погибнуть, если не станет союзником нашим, врагом Абраскила, бог ветров Джуар — Мызырь, держащий в своем кожаном мехе бури и направляющий ветры. Его молитесь и склоняйте жертвами.

* * *

Гордостью несказанной вознесся Абраскил, истребив чудовище-змея: не преклонялся он пред богом богов, высоко поднимал голову пред меньшими богами; едучи, рубил свисшие над дорогой виноградные лозы, — чтобы ни перед чем не склониться.

И сказал Абраскилу владыка ветров, бурный Джуар — Мызырь:

— Вот, враги твои приносят мне щедрые жертвы, умоляя меня стать их союзником на погибель тебе. Я силен, весьма силен. Семь ветров с семи сторон света — мои послушные рабы. По слову моему, они вырывают с корнями вековые дубы; повелю я, и дыхание их, — как веянье крыл пестрой бабочки. Холод, леденящий кровь, и жар, иссушающий грудь — в моей власти. По воле моей движутся тучи; повелю я, и они орошают землю благодатным дождем, либо оставляют ее на жертву жгучему солнцу... Покорись, Абраскил, сын Неведомого; поклонись мне и принеси дар твой: под охраной милости моей не страшны тебе никакие враги.

Но ослепленный гордостью, отвечал богатырь владыке ветров; кичливые речи молвил он Джуар — Мызыру:

— Не хвались силою, — моя сила не меньше твоей. Спроси слуг твоих, ветров, всюду летающих, если сам ты не слышал моих песен. — Я пел — и море вздымалось, горы тряслись на подножьях, леса к земле приклонялись... Пусть можешь ты это. Я же больше могу: под песню мою, под рокот струн моей шедегекуа, все погружается в сон, все — в моей власти! Нет, Джуар-Мызырь, подчинись лучше ты мне. Я не буду врагом твоим и без жертвы.

Тогда отвратил от Абраскила лицо свое владыка ветров. Гневный, слетел он к Царю Моря и Царице-Земле. И молвили боги:

— Теперь в нашей власти гордец Абраскил, и кары от нас не избегнет!

* * *

Бушует, пенится море. Белоглавые волны, как горы огромные, мчатся на берег, — и с теми волнами выходят бессмертные слуги Морского Царя. Страшной, сверкающей ратью, грозно гремящей идут они на Абраскила. И дрогнуло сердце героя: не гнет он уздой голову коня в сторону вражеской рати... Быстрым фазаном взвился Араш, орлом он несется, — и стал на горе Уарцаху, на той дикой, скалистой вершине.

Из недр Матери-Земли поднимаются ее слуги; из бездонных пропастей, из таинственных пещер выходят они, как рати муравьев черных. И растут и растут. И, словно мрачная туча, несется их войско на Абраскила... Стать силою против бессмертных он не решился и повернул голову коня к морю назад. На дальний морской берег перелетел крылатый Араш; здесь отдохнул, пока стекались туда рати Царя, — и, вновь поднявшись, умчался на другую горную вершину...

Роды Асуба и Кацуба собрались на совет: как захватить Абраскила? Силен герой, — не поддастся он руке смертного; неутомим крылатый Араш, — словно птица перелетает он от моря к горам и с гор на берег морской... И сказал старый Джомлат Адзюбжа, хитрый знахарь из рода Кацуба:

— Все пойдемте на высокую гору Уарцаху, чтобы встретить там Абраскила, когда бог ветров подхватит на полете крылатого Араша-коня и принесет его с всадником к нашей засаде. Свежие кожи быков, мягкую глину и воду возьмите с

собою... Старый мой разум окрылен мудростью самого бога подземного царства; Джуар-Абна Ирчшаа внушил мне замысел хитрый.

* * *

С берега моря, избегая рати Морского Царя, летит Абраскил на крылатом Араше к дальней горе Оштену, покрытому вечным снегом. Как чайка, распластав белые крылья, несется Араш... Но развязал Джуар-Мызырь свой кожаный мех и освободил бурный северный ветер. Страшной холодною бурей взревел тот, почуяв свободу; ударил в крылья Араша, и подхватил его, и понес, словно сорванный лист серебристого тополя. К вершине Уарцаху мчит Северный крылатого коня, над нею несет... Крылья свои сложил Араш, на вершину быстро спустился, — и пал с размаху навзничь: скользнули его железные ноги по коже разостланной, по коже, покрытой мокрою глиной... Разбитого, тяжело раненного хватают враги Абраскила: стальными цепями куют, крепкими ремнями стягивают его тело. И ликуют быстроногие родичи Асуба, радуются люди из сильного рода Кацуба, торжествуют рыжеволосые, веселятся светлоглазые чужеземцы, стоя над бессильным, беспомощным телом...

На склон кремнистого Панау, — где глубокие ущелья рассекают горный кряж, — туда везут враги Абраскила, привязав его сырыми ремнями к его же коню. Там, в чаще колючих кустов, есть устье пещеры, — Ачкы-Тызго зовут ее люди. В ту пещеру внесли обессиленного героя враги и приковали его стальными цепями в дальнем конце переходов.

И Даль, владетельница пещеры, поставлена стеречь Абраскила. Лишь сухой хлеб, при рождении новой луны, давала она в пищу Абраскилу. Так повелели враждебные ему боги, чтоб не исполнилось тело его былою мощью, не разбил бы он свои тяжелые оковы и не вышел бы, — сильный и гордый, — глумиться над властью богов...

* * *

В глубине черной пещеры долго томился скованный герой Абраскил; болела душа его по родной Апсны; сохло сердце его, как земля в июле, от тоски, — без вестей с родины...

С вершины горы Охачкуа в последний раз сходит старая ведунья Хырпса; вроде Абраскилова друга вступает она в дом Созырко Анчбаа, из честного рода Азра. — Дай весть другу, Созырко. Смягчи его муку. Заключен Абраскил в пещере Ачкы-Тызго, невдали от селенья Чилоу.

И пошел Созырко Анчбаа, верный, старый друг Абраскила. Взял с собою Созырко клубки нитей и светильники, и пищи на семь дней взял он с собою, — не знал Созырко ходов таинственной пещеры Ачкы-Тызго. А извилисты были бесчисленные переходы пещеры, как звериные тропинки в лесу; в непроглядную тьму их то шел, то полз Созырко при мерцании светильника. Много бездонных расщелин миновал он счастливо, по кремнистым осыпям соскальзывал вниз, и поднимался по стенам глубоких колодцев... Смело проникал верный друг Абраскила в глубь пещеры, разматывая клубки нити, концом прикрепленной у входа.

Стал гаснуть последний светильник; последний хлеб подходит к концу. Тогда

лишь остановился Созырко Анчбаа. И вдруг, издалека слышится голос:

— Ты-ль это, друг Анчбаа? Меня-ль, Абраскила, ты ищешь?

— Я это, друг Абраскил. Тебя я ищу, — отвечал Абраскилу Созырко.

— Напрасно... На сколько идешь ты вперед, — на столько меня, все дальше, уводят. Пещере же конца нет... Скажи мне: все живут ли на родной нашей земле роды Асуба и Кацуба, предавшие ее чужеземцам? Есть ли еще там рыжеволосые, светлоглазые люди?

— Все живут Кацуба и Асуба; много еще светлоглазых, рыжеволосых топчет нашу родную землю, — отвечал Абраскилу Созырко.

Громко застонал скованный богатырь. Словно гром прокатился голос его по переходам пещеры, — и все стихло... Сколько ни звал друга Созырко, — не откликнулся больше Абраскил: видно, далеко увели его.

На четвертый лишь день после того вышел из пещеры Созырко Анчбаа, держась нити, протянутой от входа. Чуть живой от стужи и голода вышел. А всего пробыл он в бесконечной пещере Ачкы-Тызго семь дней с семью ночами.

1907 г.

** Предание об Абраскиле представляет собою своеобразное и, по-видимому, древнейшее изложение общеизвестного греческого (эллинского) мифа о Прометее. Сходство тем — очевидно. Эта же тема, как известно, развита и в сказаниях грузин о их национальном герое Амиране. Многие ученые полагают, что миф о Прометее создан на Кавказе и отсюда уже занесен в Грецию. (В. Г.).*

*** Инструмент вроде гитары.*

А. ТОЛСТОЙ

ЭШЕР

Над морем по зеленым склонам, через мосты и повороты, бежит шоссейная дорога. Близ нее, у селения Лохны, стоит вот уже вторую тысячу лет кряжистый дуб, вершина его гола, расщепленная грозой, и только к югу над землей протянул он кривую и крепкую ветвь, покрытую листьями. Проходя мимо, всегда оглянется путник и, быть может, припомнит предание: когда весь еще дуб шумел зеленой листвой, собирались под ним в лунные месяцы абхазские князья и наездники судить и решать важнейшие дела. Дуб этот считался священным.

Когда русские покоряли Кавказ – старый абхазский князь Анчабадзе произнес под дубом великую клятву и послал трех сыновей своих биться за свободу.

Многие, многие тогда легли на поле славы, многие бежали в Турцию, не желая приносить покорность русскому царю. Из трех сыновей Анчабадзе вернулся только один, весь покрытый ранами и славой.

Тучные земли от Самурзаканда до Сухум-Кале отошли от князя, заглохли сады, обвалились военные дороги в глубине гор. И в те годы священный дуб, где

собирались абхазские воины, был расщеплен ударом грозы.

Прошли годы. Из рода Анчабадзе остались трое: тот, что вернулся с войны, теперь уже старик, внучка его – Эшер да племянник – Джета, прятавшийся в горах за многие дела.

Говорили, Эшер – самая красивая девушка в Абхазии, но видели ее всего раз, в студеную зиму, когда выпали большие снега и дед Анчабадзе вместе с Эшер спустились к морю на одном коне, спасаясь от голода.

.....

В духане «Остановись» за стойкой сидел духанщик Сандро. Из-под папахи торчал у него длинный нос, а под ним жесткие, как щетки, усы. Сандро щурил воровские глаза, усмехался.

По другую сторону прилавка сидел урядник, по прозвищу «Крепкий табак»; стуча ногтями по столу, он зевал, рыжая щетина на подбородке его вставала ежом, и позвякивали побрякушки ремней и оружия...

– Скучно? – спросил духанщик.

– Скучно, – ответил урядник, – очень скучно, понапрасну только время теряю, никто тебя не обидит...

– Эх, не обидит, не обидит, – вздохнул Сандро и, качая головой, вылез из-за стойки и стал в дверях. За горы закатывалось солнце, заслоняемое краями древней, неведомо кем построенной башни; пунцовые и желтые облака потянулись дымами в закате. Перед духаном лесной хребет потемнел и в расщелинах задымился; внизу тихое и теплое море покрылось рябью. В нем, у края воды, поднялись зубчатые тучи, озолотились и побагровели; небо стало чище и зеленей; под месяцем зажглась звезда, и лунный серп стал ярче. У поворота белой дороги, под кипарисами, заверещали жабы, низко, над влажной травой, ныряя, стала носиться мышь.

– Опять ночь, опять беспокойно, – сказал Сандро, затворил ставню и зажег лампу.

– Как же он здесь появился? – спросил урядник, щуясь на свет лампы. – Неужели ему головы своей не жалко?

– Глупо спрашиваешь, – ответил духанщик, засовывая руки в широкие штаны. – Прошлым летом я к начальнику бегал, убери, говорю, пожалуйста, убери Джету Анчабадзе. Он скотину на ночь в хлев не загоняет: честный абхазец буйволов и на замок замкнет и собаку спустит; хорошо, говорю, пускай у Джеты буйволы гуляют. Но почему ему каждый праздник денег давай, вина давай? Ну, хорошо – бери деньги, бери вино... А зачем с ним приходят пятнадцать абхазцев?.. И он дает им мое вино, и барашка, и табак... И деньги отдает... А кто генеральшину дачу обокрал? Кто стражника к дереву кинжалом приткнул? Джета... Все Джета.

Начальник меня благодарил, послал Джету ловить. А Джета в горах как по ровному полю скачет. Поди его поймай... И он с прошлой недели опять здесь появился... Он знает, что я тогда на него пожаловался... Послушай, «Крепкий табак», убей его, пожалуйста, я заплачу.

И духанщик, присев перед урядником, сказал:

– Ва! – погладил его по щеке...

– Убей, убей, – сказал урядник, – это дело строгое...

Так они разговаривали. Вдруг дверь распахнулась, и в духан быстро вошли два абхазца; один – рослый юноша в белой черкеске и пестром платке вокруг головы. Увидев урядника, он жарко вспыхнул и прислонился к косяку, ноздри его затрепетали, большие глаза глядели исподлобья. Товарищ его, в коричневом бешмете и в башлыке, до половины закрывавшем черно-загорелое лицо, подошел к прилавку и грубо сказал:

– Пить.

Урядник даже зажмурился – такая у юноши была белая, красивая черкеска с золотыми гозырями. Сандро боязливо покосился, кряхтя, полез за прилавок, налил два стакана вина.

– Один стакан, – крикнул черный. – Алек, мальчик, – не пьет...

Алек, стоя у дверей, нетерпеливо переступил; черный, отерев усы, обернулся и что-то сказал гортанно; Сандро в страхе задвигал бровями, но урядник, развалясь, продолжал удивляться красивой черкеске...

– Поздно, духан запирасть пора, – робко сказал Сандро.

Черный, подняв широкие рукава, мягко и быстро подошел к двери, поднял ладонь и прислушался.

– Идет, – воскликнул он, отступил, склонился и, когда из темноты в светлую дверь духана вошел третий, поймал у вошедшего полу и поцеловал, то же сделал и Алек. Вошедший одет был весь в черное, бритую голову его прикрывал черный башлык с золотой кистью; на низком лбу резко сдвинуты брови, небольшие усы не закрывали рта, оскаленного в злой гримасе. На согнутом локте левой его руки сидел копчик, с бубенчиком и в колпаке...

Духанщик, увидя вошедшего, попятился, раскрыл рот и сел на табуретку, – шапка у него свалилась. Урядник почтительно привстал; Алек, не поняв этого движения, прыгнул между ним и вошедшим, который, прищуря глаза, оглянул урядника, усмехнулся, быстро повернулся к двери, копчик взмахнул крыльями – и все трое вышли, сразу пропав в темноте...

– Иди, иди за ним, – плюясь, зашептал Сандро, – это и есть Джета Анчабадзе. А те – его товарищи.

– Что ты! – радостно воскликнул урядник. – Ну и атаман.

– Поди убей его, пожалуйста, убей, он же за мной приходил, я сто рублей заплачу, бери сейчас деньги.

Сандро полез в конторку. Урядник поднял стоявшее в углу ружье и проворчал:

– И то сказать, если они не в законе... А кафтан у того важный, не пропадать же такому доброму кафтану.

Скоро огонь в духане погас. Ясный месяц, протянув серебряную полосу по морю, погнал густые тени от кипарисов и тополей, через луга и дорогу, на склоны, где в густых зарослях таякали чикалки, а выше на лесных горах ярко горели костры: то армяне жгли на полянах сухой папоротник.

Джета, указывая пониже этих огней, сказал двум спутникам: «Идите к армянам и ждите, пока «Крепкий табак» в духане; когда нужно, я позову». Он приложил ко лбу пальцы и легко, как на цыпочках, пошел к полянке, где, привязанный к сухой ветви древнего дуба, стоял оседланный конь. Джета вынул из дула ружье и бурку, прыгнул на коня, покрыв его буркой, взглянул на море, сбросил башлык и, нагнувшись, как ветер, поскакал в горы...

А правее князя, прямиком по крутым обрывам, перекинув за плечи винтовку, карабкался «Крепкий табак». На открытых местах он перебежал согнувшись. Под луной горы чернели в сине-лиловом небе. Остро пахли травы. Шорохом и шуршаньем были полны заросли... Затем в горах гулко прокатился выстрел; ему ответили ущелья; сорвались, закликали ночные птицы.

А еще правее взбирались к армянским огням черный, в коричневом бешмете, и Алек. Черный говорил:

– Опять вернулись хорошие времена: Джета – настоящий абрек...

Но он не успел окончить, вблизи грохнул тот самый выстрел. Алек кинулся за камень, и когда осторожно выглянул из-за него, спутник его лежал на земле ничком, держась за голову.

За горами по узкому ущелью прыгал по камням, бурля и пенясь, седой поток; над ним, прилепясь к скале, белела сакля старого Анчабадзе; по склону земля была распахана под чечевицу, за саклей, под защитой серых скал, росли, в давние еще времена посаженные, одичалые яблони; плодами их и кукурузной мамалыгой питались два буйвола, батрак, сам князь и внучка Эшер, Князь никогда не работал; в хорошее время он ходил бить копчиком перепелов, в плохое время

сидел в сакле или у порога, поглаживая крашеную бороду; батрак, идя за плугом, кричал на буйволов, которые норовили залезть в воду; из воды их ничем уже не выгонишь – ложись на берегу спать; в синем небе над глубокой долиной плыли облака, бросая тени на снега высоких скал; там иногда, быстрее тень, пролетал рогатый тур; свистали перелетные птицы. В маленькое окошко сакли смотрела Эшер. Так проходили Дни.

Поджав под себя ноги в черных шелковых шальварах, сидела княжна и распутывала шелк. На коленях у нее лежал осколок зеркала. Проводя мизинцем по бровям, она смотрела на свое смуглое лицо, широкое во лбу, с глазами такими большими и темными, что ей самой становилось жаль человека, который их полюбит. Потом глядела она на далекие снега, опускала на колени пряжу и, поглаживая босые ступни, пела старинные абхазские песни, которым научил ее дед...

Когда свечерело, и снега порозовели, покрылись пепельными тенями, затем засиял на них лунный свет, и из ущелья за клубился туман, Эшер вышла на порог двери.

– Ну, что же не едет твой Джета, – крикнула она деду, – видно, наврали, что он три дня в наших местах; мне-то все равно, хоть бы он совсем не приезжал.

– Приедет, приедет, – ответил князь, поглаживая бороду, – сегодня будет большой туман. Может быть, Джета побоится погубить коня и не приедет.

– Джета ничего не боится, – ответила Эшер. – Я не видела его целый год. Про какой ты говоришь туман?

Но вот издалека докатился по ущелью выстрел. Эшер вытянула шею, прислушиваясь; четыре косы свесились от висков ее, на смуглой груди звякнуло ожерелье; князь вошел в саклю и сказал:

– Стреляли по человеку.

– Я боюсь, такой туман, – ответила Эшер.

Действительно, туман вставал со дна ущелья, густой и непроглядный, закутывая огромные чинары, лез по скалам; завивался, полз сплошной, зыбкой стеной и, наконец, закрыл все кругом.

На вершине одной из гор лунный свет свользил по белым клубам тумана; здесь, словно из волн, поднимались каменные пики да кое-где чернела вершина дерева. Здесь было тихо и прозрачно. Звякнули копыта, и, храня, последним усилием взмахивая жилистое тело на кручу, из тумана на лунный пик вылетели конь и всадник. Осадив коня, всадник привстал, оглянулся, плотнее закутался в бурку и нырнул через перевал в молочные облака.

Эшер различила дальний топот; она не велела деду шевелиться и слушала у окна.

Топот приближался, залаяла собака, всадник свистнул близко и знакомо! у, сакли зафыркал конь, и спешили. Эшер усмехнулась, взмахнула косами, убежала за перегородку. В саклю вошел Джета, снял башлык и опустился перед князем, поцеловал ему руку. Князь, глядя Джету по голове, вздохнул – очень он был слаб и древен.

– А Эшер? – спросил Джета, оглядываясь.

За перегородкой коротко вздохнули. Старый князь покачал бородой. Джета пошел за перегородку, вывел Эшер, отвел ее руки от лица и поцеловал. Она вновь убежала.

Джета и князь, поджав ноги, сели на ковер у низенького стола и молча принялись есть. Насытись, Джета сказал:

– Я приехал, чтобы отомстить духанщику; потом я вернусь в горы – и клянусь, я сделаю русским много вреда.

– Ты хороший мальчик, Джета, – ответил князь, – благословляю тебя.

– Когда Кавказ будет наш, – продолжал Джета, расширяя глаза, – я женюсь на Эшер.

Эшер за перегородкой опять коротко вздохнула, Джета вскочил и крикнул:

– Иди же к нам, горлинка.

– Ох, – сказал князь, – не время теперь любиться, уезжай; меня знают, за тобой сюда придут; уходи, Джета.

– Нет, – ответил он, – я давно не видал мою Эшер.

Наутро, чуть свет, духанщик Сандро поскакал в город и донес начальнику про Джету. Начальник послал на помощь уряднику пять человек, приказав взять князя живым. Сандро на обратном пути поил солдат в каждом духане так, что, когда доехали до «Остановись», – все уже были пьяны. Здесь они встретили урядника. Он потребовал с духанщика все деньги вперед. Выпили, закусили и пошла на перевал. Ночь спали в горах.

На другой день старый князь после обеда лежал на кошме в тени сакли. Шумел поток. Плавали орлы в синеве. Сквозь дремоту старый князь слушал смех Эшер и гортанный, будто воркующий, говор Джеты.

Когда он замолкал, раздавался тоненький, как звенение струны, голосок Эшер, и в нем слышалась такая любовь, такое взволнованное счастье, как у птицы, купающейся после долгой непогоды в лучах солнца...

«Все одно, все одно и то же с самого утра, – думал старый князь. Глаза его слипались, и рука лениво отгоняла мух. – А то – убивают, а то – мучат, народ разбредается во все стороны... Сады докинута, сакли опустели, приходят чужие люди и сеют кукурузу на наших полях... Где закон? Где справедливость?»

Вспоминая былое, он не услышал шороха шагов и только сквозь дремоту почувствовал опасность, открыл глаза; с винтовкой наперевес стоял урядник «Крепкий табак», за ним – пять солдат, – холодом блестели их штыки...

– Подайте нам племянника, – сказал «Крепкий табак», и распухшее лицо его побагровело.

Князь приподнялся на локте и вдруг крикнул сильно, как юноша:

– Джета, берегись! – Тяжелый сапог урядника ударил ему в лицо. Князь повалился на кошму.

Джета уже стоял в дверях сакли, – бледный, только глаза его наливались кровью. Руку с кинжалом он прижимал к груди, мускулы напряглись для прыжка.

– Сдавайся, гололобый! – закричал «Крепкий табак», прицеливаясь в него из винтовки. – Ребята, стреляй, коли его...

– Стреляйте, – тихо ответил Джета, делая шаг вперед.

– Подожди, не стреляй, – заговорили солдаты, – начальник велел его живого взять.

– Живого, так и вяжи сам, – еще злее закричал урядник.

И тотчас Джета прыгнул на него, широким взмахом кинжала ударяя в живот... Но отскочило острие, попав в патронташ, согнулось, разорвало только бешмет. И сзади уже надели на Джету солдаты, заломили руки ему за спину, крутили ремнем локти. Урядник, охая и ругаясь, бил его в грудь прикладом. После каждого удара лицо Джеты желтело, глаза меркли, вздувались жилы на шее...

– Крепкой, лихой, – заговорили солдаты. В это время раздался слабый револьверный выстрел из окна.

– Эшер! – гортанно крикнул Джета, рванул. – Не трогайте, это девочка.

Связанного ремнями, его повалили на траву, и двое солдат вошли в саклю... Оттуда слышались голоса, возня, и боком из двери выскользнула Эшер. Сжатые зубы ее были оскалены, глаза прищурены, сквозь разорванные шальвары белело бедро; двигаясь, как кошка, вдоль стены, она увидела Джету и остановилась...

– Ишь ты, чертова сучонка, ну и зла! – засмеялся один из солдат.

– Жив ты, жив, Джета? – хрипло спросила Эшер, кинулась и присела около его головы, положила ладони ему на глаза.

– Ишь ты – жалеет, – сказал солдат, – ничего, не горюй, мы его не обидим...

– Ну ты, не обидим, вяжи девчонку, – крикнул урядник и, схватив ее за плечо, пригнул к земле... Эшер коротко вскрикнула, вцепилась в Джету... Их связали, поставили на ноги. Из сакли вышли солдаты, неся ковры и кувшины... Приполз из-за угла князь, отирал разбитое лицо, просил и кланялся; ему пригрозили и ушли, уводя пленников. И долго, клекая, как филин, вслед уходящим грозил палкою, проклинал старый князь. Когда те скрылись – упал на кошму и не двигался...

Эшер и Джета шли по горной тропинке, привязанные друг к другу: она участливо взглядывала на него; он облизывая пересохшие губы, что-то бормотал, будто звуки гнева сами вырывались из его горла. Если бы не Эшер – так, на веревке, пленником он бы не пошел... Он бы показал, как умирают гордо. Направо от тропинки поднимались отвесные скалы, глубоко внизу пенилась, прыгала по камням река, В ста шагах впереди дорога заворачивала и оттуда сбегала вниз к морю...

Поотстав, урядник сказал солдатам:

– Ежели он попырует бежать – стрелять по нем будете?

– Да, уж тогда доведется, как по закону, – сказали солдаты.

– Вы, ребята, не сомневайтесь, по целковому на водку, а девчонка пускай бежит, ее пымаем.

«Крепкий табак» догнал пленников, ударил Джету по плечу:

– Ну как, князь?.. Плохо твое дело, – повесят... Бежать хочешь, а?.. Я тебе не враг... Давай деньги.

Джета сразу стал. Эшер поглядела на него, и глаза ее налились слезами.

– Расстегни бешмет, в кармане, – прошептал Джета и передернулся, когда за пазуху залезли ему короткие пальцы. Достав деньги, пересчитав, урядник пошел сзади него, распутывая узлы на руках.

– С богом, – сказал он и обернулся к солдатам, чтобы скомандовать стрелять, но не успел; Джета крепко схватил его, поднял болтающегося ногами и швырнул в пропасть. Схватил на руки Эшер и побежал. Девушка прижалась к нему, закрыла глаза. Едва касаясь камней мягкими ичигами, он летел к повороту, где можно было спастись в кустах, скрыться, уйти... И всего только оставалось несколько прыжков, но он почувствовал, что никогда ему не достигнуть до этой нависшей

скалы, где спасение... За спиной железными бичами хлестнули выстрелы, ткнуло горячим в спину, и ноги уже не слушались, и нельзя было их поднять... И Джета, помня, что всего дороже то, что держит он на руках, положил Эшер к скале, лег на бок и, взглянув на снежные вершины, на бездонную синеву, – умер. Подбегали солдаты... Эшер, упираясь, подхватывала, приподнимала Джету, он был очень тяжел. Все же она приподняла его, обхватила, дотащила до края и, взглянув упрямо и гневно на подбегающего солдата, толкнула Джету вниз и сама легко прыгнула в сырое ущелье, в пенящийся поток... И тотчас, и одни только раз, над пенной водой появилась ее маленькая голова с четырьмя крашеными косами, с открытым ртом...

1911

А. ГОРЬКИЙ

РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Это было в 92-м, голодном году, между Сухумом и Очемчирами, на берегу реки Кодор, недалеко от моря — сквозь веселый шум светлых вод горной речки ясно слышен глухой плеск морских волн.

Осень. В белой пене Кодора кружились, мелькали желтые листья лавровишни, точно маленькие, проворные лососи, я сидел на камнях над рекою и думал, что, наверное, чайки и бакланы тоже принимают листья за рыбу и — обманываются, вот почему они так обиженно кричат, там, направо, за деревьями, где плещет море.

Каштаны надо мною убраны золотом, у ног моих — много листьев, похожих на отсеченные ладони чьих-то рук. Ветви граба на том берегу уже голые и висят в воздухе разорванной сетью; в ней, точно пойманный, прыгает желто-красный горный дятел-расудук, стучит черным носом по коре ствола, выгоняя насекомых, а ловкие

синицы и сизые поползни — гости с далекого севера — клюют их.

Слева от меня по вершинам гор тяжело нависли, угрожая дождем, дымные облака, от них ползут тени по зеленым скатам, где растет мертвое дерево самшит, а в дуплах старых буков и ляп можно найти "пьяный мед", который, в древности, едва не погубил солдат Помпея Великого пьяной сладостью своей, свалив с ног целый легион железных римлян; пчелы делают его из цветов лавра и азалии, а "проходящие" люди выбирают из дупла и едят, намазав на лаваш — тонкую лепешку

из пшеничной муки.

Этим я и занимался, сидя в камнях под каштанами, сильно искусанный сердитой пчелой, макал куски хлеба в котелок, полный меда, и ел, любясь ленивой игрою усталого солнца осени.

Осенью на Кавказе — точно в богатом соборе, который построили великие мудрецы — они же всегда и великие грешники, — построили, чтобы скрыть от зорких глаз совести свое прошлое, необъятный храм из золота, бирюзы, изумрудов, развесили по горам лучшие ковры, шитые шелками у тюркмен, в

Самарканде, в Шемахе, ограбили весь мир и все — снесли сюда, на глаза солнца, как бы желая сказать ему:

— Твое — от Твоих — Тебе.

...Я вижу, как длиннородые седые великаны, с огромными глазами веселых детей, спускаясь с гор, украшают землю, всюду щедро сея разноцветные сокровища, покрывают горные вершины толстыми пластами серебра, а уступы их — живою тканью

многообразных деревьев, и — безумно-красивым становится под их руками этот кусок благодатной земли.

Превосходная должность — быть на земле человеком, сколько видишь чудесного, как мучительно сладко волнуется сердце в тихом восхищении пред красотой!

Ну да — порою бывает трудно, вся грудь нальется жгучей ненавистью и тоска жадно сосет кровь сердца, но это — не навсегда дано, да ведь и солнцу, часто, очень грустно смотреть на людей: так много потрудились они для них, а — не удались людишки...

Разумеется, есть немало и хороших, но — их надобно починить или — лучше — переделать заново.

...Над кустами, влево от меня, качаются темные головы: в шуме волн моря и ропоте реки чуть слышно звучат человечесьи голоса — это "голодающие" идут на работу в Очемчиры из Сухума, где они строили шоссе.

Я знаю их — орловские, вместе работал с ними и вместе рассчитался вчера; ушел я раньше их, в ночь, чтобы встретить восход солнца на берегу моря.

Четверо мужиков и скуластая баба, молодая, беременная, с огромным вздутым к носу животом, испуганно вытаращенными глазами синевато-серого цвета. Я вижу над кустами ее голову в желтом платке, она качается, точно цветущий подсолнечник под ветром. В Сухуме у нее помер муж — объелся фруктами. Я жил в бараке среди этих людей: по доброй русской привычке они толковали о своих несчастьях так много и громко, что, вероятно, их жалобные речи было слышно верст на пять вокруг.

Это — скучные люди, раздавленные своим горем, оно сорвало их с родной, усталой, неродимой земли и, как ветер сухие листья осени, занесло сюда, где роскошь незнакомой природы — изумив — ослепила, а тяжкие условия труда окончательно пришибли этих людей. Они смотрели на все здесь, растерянно мигая выцветшими, грустными глазами, жалко улыбаясь друг другу, тихо говоря:

— А-яй... экая земля...

— Прямо — прет из нее.

— Н-да-а... а однако — камень ведь...

— Неудобная земля, надобно сказать...

И вспоминали о Кобыльем ложке. Сухом гоне. Мокреньком — о родных местах, где каждая горсть земли была прахом их дедов и все памятно, знакомо, дорого — орошено их потом.

Была там с ними еще одна баба — высокая, прямая, плоская, как доска, с лошадиными челюстями и тусклым взглядом черных, точно угли, косых глаз.

Вечерами она, вместе с этой — в желтом платке, — уходила за барак и, сидя там на гряде щебня, положив щеку на ладонь, склоня голову вбок, пела высоким и сердитым голосом:

За погостом...

во зелены-их куста-ах -
На песочку...
расстелю я белый плат...
Не дождусь ли...
дружка милого мово...
Придет милый...
поклонюся яй ему...

Желтая обычно молчала, согнув шею и разглядывая свой живот, но иногда вдруг, неожиданно, лениво и густо, мужицким сиповатым голосом вступала в песню рыдающими словами:

Ой да милый...
ой, миленок дорогой...
Не судьба мне...
боле видеться с тобой...

В черной душной темноте южной ночи эти плачевные голоса напоминали север, снежные пустыни, визг метели и отдаленный вой волков...

Потом косоглазая баба заболела лихорадкой и ее снесли в город на носилках из брезента — она тряслась в них и мычала, словно продолжая петь свою песню о погосте и песочке. ...Нырять в воздухе, желтая голова исчезла. Я кончил свой завтрак, закрыл листьями мед в котелке, завязал котомку и, не спеша, двинулся вослед ушедшим, постукивая кизиловой палкой о твердый грунт тропы.

Вот и я на узкой, серой полосе дороги, справа — качается густо-синее море; точно невидимые столбцы строгоют его тысячами фуганков — белая стружка, шурша, бежит на берег, гонимая ветром, влажным, теплым и пахучим, как дыхание здоровой женщины. Турецкая фелюга, накрываясь на левый борт, скользит к Сухуму, надув паруса, как важный сухумский инженер надувал свои толстые щеки — серьезнейший человек. Почему-то он говорил вместо тише — "чише" и "хыть" вместо хоть.

— Чише! Хыть ты и боек, но я тебя моментально в полицию...

Любил он отправлять людей в полицию, и хорошо думать, что теперь его, наверное, уже давно, до костей обглодали червяки могилы.

...Идти — легко, точно плывешь в воздухе. Приятные думы, пестро одетые воспоминания ведут в памяти тихий хоровод; этот хоровод в душе — как белые гребни волн на море, они сверху, а там, в глубине — спокойно, там тихо плавают светлые и гибкие надежды юности, как серебряные рыбы в морской глубине.

Дорогу тянет к морю, она, извиваясь, подползает ближе к песчаной полосе, куда вбегают волны, — кустам тоже хочется заглянуть в лицо волны, они наклоняются через ленту дороги, точно кивая синему простору водной пустыни.

Ветер подул с гор — будет дождь.

...Тихий стон в кустах — человеческий стон, всегда родственно встряхивающий душу. Раздвинув кусты, вижу — опираясь спиной о ствол ореха, сидит эта баба, в желтом платке, голова опущена на плечо, рот безобразно растянута, глаза выкатились и безумны; она держит руки на огромном животе и так неестественно страшно дышит, что весь живот судорожно прыгает, а баба, придерживая его руками, глухо мычит, обнажив желтые волчьи зубы.

— Что — ударили? — спросил я, наклоняясь к ней, — она сучит, как муха, голыми ногами в пепельной пыли и, болтая тяжелой головою, хрипит:

— Уди-и... бесстыжий... ух-ходи...

Я понял, в чем дело, — это я уже видел однажды, — конечно, испугался, отпрыгнул, а баба громко, протяжно завывала, из глаз ее, готовых лопнуть, брызнули мутные слезы и потекли по багровому, натужно надутому лицу.

Это воротило меня к ней, я сбросил на землю котомку, чайник, котелок, опрокинул ее спиной на землю и хотел согнуть ей ноги в коленях — она оттолкнула меня, ударив руками в лицо и грудь, повернулась и, точно медведица, рыча, хрипя, пошла на четвереньках дальше в кусты:

— Разбойник... дьявол...

Подломились руки, "она упала, ткнулась лицом в землю и снова завывала, судорожно вытягивая ноги.

В горячке возбуждения, быстро вспомнив все, что знал по этому делу, я перевернул ее на спину, согнул ноги — у нее уже вышел околоплодный пузырь.

— Лежи, сейчас родишь...

Сбегал к морю, засучил рукава, вымыл руки, вернулся и — стал акушером.

Баба извивалась, как береста на огне, шлепала руками по земле вокруг себя и, вырывая блеклую траву, все хотела запихать ее в рот себе, осыпала землею страшное, нечеловеческое лицо, с одичалыми, налитыми кровью глазами, а уж пузырь прорвался и прорезывалась головка, — я должен был сдерживать судороги ее ног, помогать ребенку и следить, чтобы она не совала траву в свой перекошенный, мычащий рот...

Мы немножко ругали друг друга, она — сквозь зубы, я — тоже не громко, она — от боли и, должно быть, от стыда, я — от смущения и мучительной жалости к ней...

— Х-хосподи, — хрипит она, синие губы закушены и в пене, а из глаз, словно вдруг выцветших на солнце, все льются эти обильные слезы невыносимого страдания матери, и все тело ее ломается, разделяемое надвое.

— Ух-ходи ты, бес...

Слабыми, вывихнутыми руками она все отталкивает меня, я убедительно говорю:

— Дуреха, роди, знай, скорее...

Мучительно жалко ее, и кажется, что ее слезы брызнули в мои глаза, сердце сжато тоской, хочется кричать, и я кричу:

— Ну, скорей!

И вот — на руках у меня человек — красный. Хоть и сквозь слезы, но я вижу — он весь красный и уже недоволен миром, барахтается, буянит и густо орет, хотя еще связан с матерью. Глаза у него голубые, нос смешно раздавлен на красном, смятом лице, губы шевелятся и тянут:

— Я-а... я-а...

Такой скользкий — того и гляди, уплывет из рук моих, я стою на коленях, смотрю на него, хохочу-очень рад видеть его! И — забыл, что надобно делать...

— Режь...- тихо шепчет мать, — глаза у нее закрыты, лицо опало, оно землисто, как у мертвой, а синие губы едва шевелятся:

— Ножиком... перережь...

Нож у меня украли в бараке — я перекусываю пуповину, ребенок орет орловским басом, а мать — улыбается: я вижу, как удивительно расцветают, горят ее бездонные глаза синим огнем — темная рука шарит по юбке, ища карман, и

окровавленные, искусанные губы шелестят:

— Н-не... силушки... тесемочка кармани... перевязать пупочек...

Достал тесемку, перевязал, она — улыбается все ярче; так хорошо и ярко, что я почти слепну от этой улыбки.

— Оправляйся, а я пойду, вымою его... Она беспокойно бормочет:

— Мотри — тихонечко... мотри же... Этот красный человечище вовсе не требует осторожности: он сжал кулак и орет, орет, словно вызывая на драку с ним:

— Я-а... я-а...

— Ты, ты! Утверждайся, брат, крепче, а то ближние немедленно голову оторвут...

Особенно серьезно и громко крикнул он, когда его впервые обдало пенной волной моря, весело хлестнувшей обоих нас; потом, когда я стал нашлепывать грудь и спинку ему, он зажмурил глаза, забился и завизжал пронзительно, а волны, одна за другою, всё обливали его.

— Шуми, орловский! Кричи во весь дух...

Когда мы с ним воротились к матери, она лежала, снова закрыв глаза, кусая губы, в схватках, извергавших послед, но, несмотря на это, сквозь стоны и вздохи, я слышал ее умирающий шепот:

— Дай... дай его...

— Подождет.

— Дай-ко...

И дрожащими, неверными руками расстегивала кофту на груди. Я помог ей освободить грудь, заготовленную природой на двадцать человек детей, приложил к теплему ее телу буйного орловца, он сразу все понял и замолчал.

— Пресвятая, пречистая,- вздрагивая, вздыхала мать и перекаtywала растрепанную голову по котомке с боку на бок.

И вдруг, тихо крикнув, умолкла, потом снова открылись эти донельзя прекрасные глаза — святые глаза родительницы, синие, они смотрят в синее небо, в них горит и тает благодарная, радостная улыбка; подняв тяжелую руку, мать медленно крестит себя и ребенка...

— Слава те, пречистая мать божия... ох... слава тебе... Глаза угасли, провалились, она долго молчит, едва дыша, и вдруг деловито, отвердевшим голосом сказала:

— Развяжи, паренек, котомку мою...

Развязали, она взглянула на меня пристально, слабенько усмехнулась, как будто

— чуть заметно — румянец блеснул на опавших щеках и потном лбу.

— Отойди-ка...

— Ты очень-то не возись...

— Ну, ну... отойди...

Отошел недалеко в кусты. Сердце как будто устало, а в груди тихо поют какие-то славные птицы, и это — вместе с немолчным плеском моря — так хорошо, что можно бы слушать год...

Где-то недалеко журчит ручей — точно девушка рассказывает подруге о возлюбленном своем...

Над кустами поднялась голова в желтом платке, уже повязанном, как надобно.

— Эй, эй, это ты, брат, рано завозилась!

Придерживаясь рукою за ветку кустарника, она сидела, точно выпитая, без кровинки в сером лице, с огромными синими озерами на месте глаз, и умиленно шептала:

— Гляди — как спит...

Спал он хорошо, но, на мой взгляд, ничем не лучше других детей, а если и была разница, так она падала на обстановку: он лежал на куче ярких осенних листьев, под кустом, — какие не растут в Орловской губернии.

— Ты бы, мать, легла...

— Не-е, — сказала она, покачивая головою на развинченной шее, — мне прибираться надобно да идти в энти самые...

— В Очемчиры?

— Во-от! Наши-те, поди, сколько верст ушагали...

— Да разве ты можешь идти?

— А богородица-то? Пособит...

Ну, уж если она вместе с богородицей, — надо молчать!

Она смотрит под куст на маленькое, недовольно надутое лицо, изливая из глаз теплые лучи ласкового света, облизывает губы и медленным движением руки поглаживает грудь.

Я развожу костер, прилаживаю камни, чтобы поставить чайник.

— Сейчас я тебя, мать, чаем угощу...

— О? Напои-ка... ссохлось все в грудях-то у меня...

— Что ж это земляки бросили тебя?

— Они не бросили — зачем! Я сама отстала, а они — выпимши, ну... и хорошо, а то как бы я распросталась при них-то...

Взглянув на меня, она закрыла лицо локтем, потом, сплюнув кровью, стыдливо усмехнулась.

— Первый у тебя?

— Первенькой. А ты — кто?

— Вроде как бы человек...

— Конечно, человек! Женатый?

— Не удостоился...

— Врешь?

— Зачем?

Она опустила глаза, подумала:

— А как же ты бабьи дела знаешь?

Теперь — совру. И я сказал:

— Учился этому. Студент — слыхала?

— А как же! У нас у попа сын старшой студент тоже, на попа учится...

— Вот и я из эдаких. Ну, пойду за водой... Женщина наклонила голову к сыну, прислушалась — дышит ли? — потом поглядела в сторону моря.

— Помыться бы мне, а вода — незнакомая... Что это за вода? И солена и горька...

— Вот ты ею и помойся — здоровая вода!

— Ой?

— Верно. И теплей, чем в ручье, а ручьи здесь — как лед...

— Тебе — знать...

Дремля, свесив голову на грудь, шагом проехал абхазец; маленькая лошадка, вся из сухожилий, прядая ушами, покосилась на нас круглым черным глазом — фыркнула, всадник сторожко взметнул башкой, в мохнатой меховой шапке, тоже взглянул в нашу сторону и снова опустил голову.

— Эки люди здесь несуразные да страховидные, — тихо сказала орловка.

Я ушел. По камням прыгает, поет струя светлой и живой, как ртуть, воды, в ней

весело кувыркаются осенние листья — чудесно! Вымыл руки, лицо, набрал воды полный чайник, иду и вижу сквозь кусты — женщина, беспокойно оглядываясь, ползает на коленях по земле, по камням.

— Чего тебе?

Испугалась, посерела и прячет что-то под себя, я — догадался.

— Дай мне, я зарюю...

— Ой, родимый! Как же? В предбаннике надо бы, под полом...

— Скоро ли здесь баню выстроят, подумай!

— Шутишь ты, а я — боюсь! Вдруг зверь съест... а ведь место надобно земле отдать...

Отвернулась в сторону и, подавая мне сырой, тяжелый узелок, тихо, стыдливо попросила:

— Уж ты — получше как, поглубже, Христа ради... жалеючи сыночка мово, уж сделай поверней...

...Когда я воротился, то увидел, что она идет, шатаясь и вытянув вперед руку, от моря, юбка ее по пояс мокра, а лицо зарумянилось немножко и точно светится изнутри. Помог ей дойти до костра, удивленно думая:

"Эка силища звериная!"

Потом пили чай с медом, и она тихонько спрашивала меня:

— Бросил ученье-то?

— Бросил.

— Пропился, что ли?

— Окончательно пропился, мать!

— Экой ты какой! А ведь я те помню, в Сухуме заметила, когда ты с начальником из-за харчей ругался; так тогда и подумалось мне — видно, мол, пропойца, бесстрашный такой...

И, вкусно облизывая языком мед на вспухших губах, все косилась синими глазами под куст, где спокойно спал новейший орловец.

— Как-то он поживет? — вздохнув, сказала она, — оглядывая меня. — Помог ты мне — спасибо... а хорошо ли это для него, и — не знаю уж...

Напилась чаю, поела, перекрестилась, и, пока я собирал свое хозяйство, она, сонно покачиваясь, дремала, думала о чем-то, глядя в землю снова выцветшими глазами. Потом стала подниматься.

— Неужто — идешь?

— Иду.

— Ой, мать, гляди!

— А- богородица-то?.. Дай-ко мне его!

— Я его понесу...

Поспорили, она уступила, и — пошли, плечо в плечо друг с другом.

— Кабы мне не трюхнуться,- сказала она, виновато усмехаясь, и положила руку на плечо мое.

Новый житель земли русской, человек неизвестной судьбы, лежа на руках у меня, солидно сопел. Плескалось и шуршало море, все в белых кружевах стружек; шептались кусты, сияло солнце, перейдя за полдень.

Шли — тихонько, иногда мать останавливалась, глубоко вздыхая, вскидывала голову вверх, оглядывалась по сторонам, на море, на лес и горы, и потом заглядывала в лицо сына — глаза ее, насквозь промытые слезами страданий, снова были изумительно ясны, снова цвели и горели синим огнем неисчерпаемой

любви.

Однажды, остановясь, она сказала:

— Господи, боженька! Хорошо-то как, хорошо! И так бы все — шла, все бы шла, до самого аж до краю света, а он бы, сынок, - рос да все бы рос на приволье, коло матерней груди, родимушка моя...

...Море шумит, шумит...

1912 г.

КАЛИНИН

Осень, осень — свистит ветер с моря и бешено гонит на берег вспененные волны,— в белых гривах мелькают, точно змеи, черные ленты водорослей, и воздух насыщен влажной соленой пылью.

Сердито гудят прибрежные камни; сухой шорох деревьев тревожен, они качают вершинами, сгибаются, точно хотят вырвать корни из земли и бежать в горы, одетые тяжелой шубой темных облаков.

Над морем облака изорваны в клочья и мчатся к земле, обнажая бездонные синие пропасти, где беспокойно горит осеннее солнце. Тени скользят по изрытому морю; на земле ветер прижимает тучи к острым бокам гор, тучи устало ползут вверх и вниз, забились в ущелья и дымно курятся там.

Всё вокруг нахмурено, спорит друг с другом, сердито отемняется и холодно блестит, ослепляя глаза; по узкой дороге, прикрытой с моря грядою заласканных волнами камней, бегут, гонясь друг за другом, листья платанов, черноклена, дуба, алычи Плеск, шорох, свист — всё скипелось в один непрерывный звук, его слушаешь, как песню, равномерные удары волн о камни звучат, точно рифмы.

— Разыгрался Змиулан, окианский царь! — кричит в ухо мне мой спутник, высокий, сутулый человек, с круглым лицом ребенка и светлым взглядом прозрачных детских глаз.

— Кто?

— Царь Змиулан...

Молчу,— никогда не слыхал про такого царя.

Ветер толкает нас, желая загнать в горы; его напор так силен, что иногда мы останавливаемся, повернувшись спинами к морю, широко расставив ноги, опираемся на палки и с минуту стоим как бы на трех ногах, а мягкая тяжесть давит нас, срывая платье.

Мой спутник кряхтит, как в бане на полке, а мне — смешно: уши у него большие, вялые, точно у собаки, выгоревшая скуфейка не прикрывает их, и, загнутые

ветром вперед, они придают его маленькой голове уморительное сходство с глиняным кукольным. Солидный, длинный нос, словно чужой на мелком лице, — он еще более усиливает смешное сходство, являясь рыльцем куколки.

Странное у него лицо, и весь он — необычный, чем и пленил меня сразу же, как только я увидел его в церкви Ново-Афонского монастыря, за всеобщей. Выпрямив сухое, тонкое тело, склонив голову чуть-чуть набок, он смотрел на распятие и, шевеля тонкими губами, улыбаясь сияющей улыбкой, казалось, беседовал со Христом, как с добрым другом. На круглом, гладком лице — без бороды, точно у скопца — с двумя светлыми кустиками в углах губ, светилось никогда не виданное мною выражение интимности, сознания исключительной близости с сыном Божиим. Это ясное отсутствие обычного — рабского, пугливого отношения к своему богу — заинтересовало меня, и всю службу я с великим любопытством наблюдал, как человек беседует с богом, не кланяясь ему, очень редко осеняя себя знаменем креста, без слез и вздохов.

После ужина в рабочей казарме я пошел в странноприимную и там, в светлом круге под лампой, опускавшейся с потолка, увидел его за столом, среди женщин и мужчин богомольцев, услышал негромкий, но какой-то светлый голос — внятную, повеселую речь проповедника, привыкшего говорить с людьми.

— Иное, конечно, надобно показать, иное — надо скрыть; ибо — ежели что бестолковое и вредное — зачем оно? Так же и напротив: хороший человек не должен высываться вперед — глядите-де, сколь я хорош! Есть люди, которые вроде как бы хвастаются своею горькой судьбой: поглядите, послушайте, добрые люди, как горька моя жизнь! Это тоже нехорошо...

Чернобородый человек в поддевке, с темными глазами разбойника на иссохшем лице аскета, встал из-за стола, медленно расправил мощное тело и глухо спросил:

— А вот у меня жена и сынишко сожглись живьем в керосине — это как? Молчать об этом?

Несколько секунд все молчали. Потом кто-то негромко проворчал:

— Опять...

И тотчас в углу — в душном сумраке — родился уверенный ответ:

— Божие наказание за грехи...

— В три года — грехи? Ему три года было... это он и опрокинул лампу на себя, а она его схватила и загорелась сама... слабая была, на одиннадцатый день после родов...

— За грехи отца-матери, — по-прежнему уверенно выползли слова из угла. Чернобородый, должно быть, не слышал их, — разводя руками, рассекая ими

воздух, он торопливо, без удержу, подробно рассказывал о том, как сгорели жена и сын,— чувствовалось, что он говорит об этом часто и долго не кончит свой ужасный рассказ. Его мохнатые брови сошлись в одну черную полосу, под ними, налитые кровью, блестели белки глаз и тревожно перекатывались матовые черные зрачки.

Но вот в маленький промежуток его угрюмой речи втиснулся свободно и бодро светлый голос христолюбивого странника:

— Это неправильно, землячок, винить господа бога за неловкий случай или за ошибку и за глупость...

— Стой,— ежели — бог, то отвечает за все!

— Нет, никак! Дан тебе разум...

— Что мне — разум, ежели я не могу понять?..

— Чего?

— А того... всего! Почему — моя жена сгорела, а — не соседова, ну?

Злой старушечий голос отчетливо проговорил:

— Ай-яй-яй! В монастырь пришел, а — воюет...

Чернобородый гневно сверкнул глазами, склонил голову, как бык, но вдруг, махнув рукой, быстрыми шагами, грузно топая, пошел к двери,— странник не торопясь встал, закачался и, всем кланяясь, тоже стал двигаться вон из странноприимной.

— Насквозь огорченное сердце,— сказал он, улыбаясь.

Мне показалось, что в улыбке этой нет сострадания.

А из угла кто-то снова и неодобрительно сказал:

— Любит он историю эту размазывать...

— И напрасно,— остановясь в дверях, заключил странник,— только ведь терзает себя и других! Про такие дела забывать надо...

Через минуту я выхожу на двор и слышу у ворот ограды его спокойный голос:

— Ничего, отец, не беспокойся...

— Гляди,— сердито говорит привратник, отец Серафим, здоровенный ветлужанин,— по ночам тут абхаз голодный бродит.

— Мне абхаз не вреден... Я тоже иду к воротам.

— Куда? — спрашивает Серафим, приблизив ко мне свое волосатое, звериное и бесконечно доброе лицо. — Ага, это ты, нижегороцкой! Напрасно, поди-ка, беспокоишь себя — бабы-то все спать легли...

И смеется, — рычит, как медведь.

За оградой великая тишина осенней ночи — усталая тишина земли, истощенной летом. Сладко пахнет увядшими травами и еще чем-то осенним, возбуждающим бодрость. Черные деревья висят в теплом и влажном воздухе, точно обрывки туч. Во тьме чуть слышно вздыхает, ластится к берегу полусонное море; небо окутано облаками, только в одном месте среди них опаловое пятно луны, и далеко на темной воде колыхнется другое, такое же...

Под деревьями — скамья и на ней человеческая фигура, округленная тьмою; подхожу, сажусь рядом.

— Откуда, земляк?

— Воронежский. А ты?

Русский человек всегда так охотно рассказывает о себе, точно не уверен, что он — это именно он, и хочет, чтобы его самоличность была подтверждена со стороны, извне. Рассеялись люди по большой земле, и чем более ясна им ее огромность, тем как будто меньше становятся они в своих глазах; плутают по тысячеверстным дорогам, теряя себя, а если встретится случай рассказать о себе — расскажет подробно всё пережитое, виданное и выдуманное. И всего чаще в рассказах этих слышишь не утверждение: «Вот — я!» а вопрос: «Я ли это?..»

— Тебя как звать?

— Очень просто: Алексей Калинин!

— Ты мне — тезка.

— Ну?

И, дотронувшись рукою до моего колена, он говорит:

— Тезка, у меня — известка, у тебя — вода, айда — штукатуришь города!

...Звонят в тишине невысокие, легкие волны; за спиною угасает хлопотливый шум хозяйственного монастыря, светлый голос Калинина немножко погашен ночью, звучит мягче, менее уверенно.

— Мать моя — была нянька, я у нее пригульный и с двенадцати лет — лакей, это —

<http://apsnyteka.org/>

из-за высокого роста. Тут вышло так: поглядел на меня однажды генерал Степун — материн барин — и сказал: «Евгенья, скажи-ка Федору», — лакею же, старичку из солдат, — «чтобы он приучал сына твоего служить за столом, — он вполне вырос для этого!» И служил я у генерала девять лет, лето в лето. Потом, случилось... потом — захворал я... У купца, градского головы, служил двадцать один месяц. В Харькове, в гостинице, с год... всё чаще приходилось менять места, хотя я слуга аккуратный, трезвый, да — осанки нет у меня настояще-должностной... Главное же — характер образовался гордый, не идущий к делу... я назначен служить самому себе, а не людям...

Сзади нас, по шоссе, в направлении к Сухуму, идут невидимые люди, сразу понятно, что они не привыкли ходить пешком, — шаркают ногами по земле тяжело. Красивый голос тихо запекает:

Выхожу один я на дорогу...

Слово — один — громче других и, подчеркнутое, звучит печально.

Гулкий бас говорит лениво и внятно:

— Афон... Афония — потеря речи, до степени... до какой степени, мудрая Вера Васильевна?

— Почти до полной утраты членораздельности, — отвечает молодой женский голос.

Во тьме над землею призрачно плывут два черных пятна и между ними — белое.

— Странно!

— Что?

— Слова здесь какие-то... намекающие! Гора — Накопиоба. Они тут накопили достаточно... умеют копить!

— А я не могу запомнить: Симон Канонит, и всегда говорю — каинит...

— Знаете что, господа? — как-то нарочито громко говорит красивый голос. — Смотрю я на всю эту красоту, дышу тишиной и думаю: а что, если бросить всё, ко всем чертям, и — жить...

Монастырский колокол, сухо отбивая часы, заглушил речь. Потом издали тоскливо донеслось:

О, если б в единое слово-о
Излить все, что на сердце есть!..

Мой сосед, вслушиваясь, странно наклонился набок, точно слова гуляющих людей

тянули его за собою, а когда голоса потерялись вдали, он выпрямился и сказал, вздыхая:

— Вот: видно, что образованные люди, говорят обо всем, а — однако то же самое...

— Что?

— Да — слышал? — не сразу ответил он. — Бросить, говорит, надобно всё...

Наклонился ко мне, всматриваясь, точно близорукий, продолжал полушёпотом:

— Всё больше людей думают этак — бросить надо всё! И я тоже: долгие годы соображал — зачем служу, какая выгода? Ну — двенадцать, двадцать, хоша бы и пятьдесят рублей в месяц — что ж такое? А человек где? Может быть, для меня полезнее ничего не делать и в пустое место смотреть... сидеть вот так ночью и смотреть... и больше ничего!

— Ты что давеча говорил людям?

— Каким это?

— В странноприимной, бородатому?

— А! Не люблю я этого... людей этих, которые разносят по земле свое горе, бросают его под ноги всякому встречному... Что такое? Каждый сам по себе... Какая мне надобность в чужой слезе? Своя довольно солон... К тому же всякий, свое-то горе любя, считает его самым замечательным и горьким на земле. Знаю я это...

Он неожиданно встал, длинный и тонкий.

— Надо поспать, завтра рано я ухожу...

— Куда?

— В Новороссийск...

Была суббота, перед всенощной я получил в монастырской конторе мой недельный заработок. В Новороссийск — мне не по дороге и уходить из монастыря неохота, но человек этот интересен, таких людей на земле всегда — только двое, и один из них — я.

— Я тоже завтра иду.

— Значит — вместе...

...Мы вышли из монастыря на рассвете и вот — шагаем. Мысленно я поднимаюсь вверх и смотрю оттуда: берегом моря, по узкой тропе, идет пара длинных людей;

<http://apsnyteka.org/>

один — в серой солдатской шинели и шляпе с прорванным верхом; другой — в рыжем кафтане и плисовой скуфье. Под ноги им плещет белой пеной безграничное море, ползут по камню дороги высушенные солнцем ленты водорослей, кружатся золотые листья. Ветер шумит, качая и толкая путников, летят над ними облака, с правой руки вознеслись в небо горы, и облака жмутся к ним, устало и бессильно; слева — распростерлась пустыня, вся в белом кружеве; рыщет над нею ветер и гонит прозрачные столбы водной пыли.

В бурные осенние дни на берегу моря как-то особенно весело и бодро: песни ветра и волн, быстрый бег облаков, и в синих провалах неба купается солнце, как увядающий чудесный цветок, — в этом видимом хаосе чувствуешь скрытую гармонию нетленных сил земли — маленькое человеческое сердце объято мятежным пламенем и, сгорая, кричит миру:

— Я тебя люблю!

Страшно хочется жить, — так жить, чтоб смеялись старые камни и белые кони моря еще выше вставали бы на дыбы; хочется петь хвалебную песню земле, чтоб она, опьянев от похвал, еще более щедро развернула богатства свои, показала бы красоту свою, возбужденная любовью одного из своих созданий — человека, который любит землю, как женщину, и охвачен желанием оплодотворить ее новою красотой.

Но слова тяжелы, точно камни, убивая фантазию, они ложатся над трупом ее серым холмом, — смотришь на себя пред этой могилой и смеешься над собою

Иду, точно во сне, и сквозь плеск волн, горячее шипение пены слышу незнакомые слова:

— Гиман, Димон, Игамон, Змиулан — это есть добрые беси...

— А Христос — как с ними?

— Христос — ничего!

— Во вражде?

— Он — с этими? Зачем? Это беси особые, беси добрые... И, к тому же, Христос ни с кем не враждует...

— А — торгоши во храме?

— Ну, один раз веревкой побил, эка важность! И ведь не по вражде к ним, а — для порядка.

Тропа, точно испугавшись напора волн, круто изогнулась вправо в кусты; пред нами — горы в облаках, облака темнеют всё более сердито — наверное будет дождь.

Калинин поучительно рассказывает, взмахами палки отбивая цепкие ветви с тропы.

— Это опасное место, тут малярная лихорадка живет,— маляр один костромской наслал самую злую сестру — лихорадку сюда... Денег ему недодали, что ли, не помню причины случая...

На море плотно налегли тени, и оно стало траурным — черное с белым. Вдали виден Гудаут, весь захлестанный пеной — точно сугробы снега ползут на него.

— Ты мне расскажи про этих бесов.

— Изволь! Что?

— Что знаешь.

— Я всё знаю!

Он весело подмигивает мне, повторяя:

— Всё! У меня, брат, мать замечательная была — заговоры, заклятия всякие, сказки, святые жития — всё знала! Лягу я спать в кухне, за печью, а она на печи — она уже на покое жила, без работы: вынянчила трех детей у генерала...

Он остановился, потыкал в землю палкой, оглянулся назад и пошел, шагая широко, твердо.

— Была еще у генерала племянница, Валентина Игнатьевна,— удивительная!

— Чем?

— Так уж. Всем.

В сыром воздухе над нами тяжело проплыл баклан,— птица жадная и неумная. Перо сильных крыльев свистело в воздухе, вызывая какое-то темное воспоминание, недобрую мысль...

— Ну, рассказывай!

— Так вот — лежу я на полу, на печь не влезал — не люблю я печной жары,— а она сидит на печи, свеся ноги, мне и не видать ее в темноте, только то вижу, про что она говорит. Идет на меня сверху всё это — иной раз даже бывало жутко, так я кричу: «Мамка, не надо!» Я ведь страшного не люблю, я его и помню плохо... она сама была довольно страшная, умирала она тогда, внутренности гнили. Сорок три года ей, а вся седая и помирает,— запах от нее, все на кухне ругаются...

— Ну, а беси?

— Сейчас!

Всё плотней надвигается к тропе цепкий, причудливо запутанный кустарник; мы точно плывем среди шумных зеленых волн, нас легонько хлещут ветви, как бы внушая:

«Идите скорее, дождь захватит!»

Замедлив шаг, мой спутник мерно, немножко нараспев, рассказывает:

— Когда сыне божий Иисус Христос ушел в пустыню бороться с мыслями — послал сатана бесов к нему для искушения. Был в ту пору Христос молодой, веселый, сидит он среди пустыни на песке горячем, думает — как быть? — а сам набрал горсть камушков — играет. Вот подходят к нему беси: Гиман, Димон, Игамон, Змиулан — тоже всё молоденькие, и, еще издали, видя Христа, пожалели они его: дескать — какой несчастной судьбе предан! Подходят: прими и нас поиграть! Христос улыбается им — ну, садитесь! Сели в кружок и начали они тут свое дело исполнять: кто из них камень вверх ни кинет — упадет камень на горячий песок нагой женщиной, лежит она вся свободная и, руки ко Христу простирая, манит его на грех. А он улыбнется ей, дунет духом уст своих, — тут она растает в парок и тотчас взлетит на воздух. Сам он кинет камушек — обернется камень шестикрылатым голубем и затрепещется во храм ерусалимский. Долго бились неумеющие беси — видят: никак не может соблазниться Христос! И сказал ему старший бес, Змиулан:

— Нет, господи, больше мы не станем соблазнять тебя — ничего у нас не выходит! Хоть мы и беси — а не удастся!

— Никогда не удастся, — сказал Христос, — уж коли я что задумал, так сделаю! А что беси вы — это я знаю, и что вы — еще издали видя — пожалели меня, тоже знаю. Вот вы теперь правду о себе не скрыли — будьте же за это на всю жизнь добрыми, это легче будет для вас! Ты, Змиулан, будь океанским царем — отгоняй морским ветром гнилой дух от земли; ты, Димон, гляди, чтобы скот не ел ядовитых трав — пусть все ядовитые травы будут колючими; ты, Игамон, утешай по ночам безутешных вдов, которые бога обвиняют за смерть мужей; ты, Гиман, самый молодой, выбери себе что нравится!

— Я, господи, хохотать люблю!

— Вот и смеши людей, только — не в церкви.

— Я бы, господи, и в церкви тоже хотел!

— Усмехнулся тут Иисус Христос:

— Ну, бог с тобой, смеши и в церкви, только потихоньку!

— Так и обратил Христос злые беси в добрые.

...Над зеленым морем кустарника поднялись в небо древние дубы, желтый лист зябко трясется на них; могучее ореховое дерево сбрасывает увядшие одежды; мелкою дрожью дрожит алыча, и благодарно кланяется земле полуголый каштан.

— Хорошая история?

— Хорошая. Христос хорош.

— Он всегда такой,— с гордостью говорит Калинин.— Знаешь, как про него в Смоленской губернии одна старуха пела?

— Нет.

Этот чудной человек остановился и, притопывая ногою, запел нарочито дрожащим, старческим голосом:

У небеси расцвел цветок —
сыне божья!
Он всем радостям исток —
сыне божья!
Красным солнышком цветет —
сыне божья!
Благодать земле несет —
сыне божья!

С каждым стихом голос Калинина молодец, последний стих был пропет высоким, приятным тенором.

Всему миру он один...

Вдруг сверкнул ослепительно синий луч, в горах глухо бухнуло, над землею и морем раскатилось стоголосое эхо. Калинин открыл рот, обнажив красивые, ровные зубы, потом стал часто креститься и забормотал:

— Боже страшный, боже добрый, седяй в вышних, на престоле злате в золотой палате, казни сатану, да во гресех не потону!..

И, повернув ко мне маленькое, испуганное лицо, мигая светлыми глазами, деловито заговорил:

— Бежим, брат, я грозы боюсь... бежим скорее, куда ни есть!.. Дождик хлынет, гляди, а тут — лихорадка эта...

Побежали; ветер толкает в спины, гремят наши чайники и котелки, котомка бьет меня по пояснице большим мягким кулаком. До гор — далеко, вокруг — никакого жилья. Кусты хватают за полы, под ногами прыгают камни, стало темно, и

<http://apsnyteka.org/>

кажется, что горы плывут встречу нам.

Снова из черных туч стремительно излился небесный огонь, и море, вспыхнув синими сапфирами, точно выплеснулось из берегов; дрогнула земля, а из горных ущелий посыпался громкий скрежет каменных зубов.

— Свят, свят, свят, — кричит Калинин, исчезая в кустах.

Сзади хлещут волны, догоняя бегущих, впереди, во тьме — скрип и шорох; чьи-то длинные черные руки машут над головами, на вершинах гор, за густым пологом туч оглушительно грохочет железная колесница грома; всё чаще сверкают молнии, гудит земля, и в разрывах тьмы, в голубом сиянии шумят, качаются, бегут огромные деревья, а их уже сечет косой холодный дождь.

Жутко, но — весело. Тонкие струны дождя бьют по лицу, тело охвачено хмельной бодростью, кажется, что можно бежать под дождем и громом бесконечно долго — вплоть до ясного дня.

— Стой, — гляди! — кричит Калинин.

На секунду озаренный молнией, пред нами ствол дуба и в нем — точно дверь — широкая черная щель; мы, смеясь, лезем в нее, как два мышонка.

— Тут места даже на троих довольно! — говорит мой спутник. — Выжжено дупло-то, — экие озорники! В живом дереве огонь разводят!

Тесно; пахнет гнилым листом и дымом; на голову и плечи шлепают тяжелые капли. При каждом ударе грома дерево, вздрагивая, гудит; среди воющего шума мы точно в море на узком челноке, и когда сверкнет молния — видно, как дождь убегает от нас, — он стелется в воздухе сетью синеватых лент, мелькает кусочками стекла.

Ветер свистит тише, словно удовлетворился тем, что нагнал на землю столь сильный дождь, — он способен размыть горы, размягчить камни.

— Уо-уу-уо! — кричит где-то невысоко над нами и близко от нас горный филин.

— Думает — ночь! — шёпотом сказал Калинин.

— Уо-уу-уо! — вторит птица.

— Ошибаешься, брат! — громко крикнул человек.

Холодновато. Торопливо струится светло-серая влага, занавешивая полупрозрачной тканью стволы деревьев, толстые, как бочки, корявые и ошетилившиеся молодой порослью, еще не потерявшей мелкого листа.

Однотонный звук широко течет над землею и гасит мысли. Невольно, со

вниманием, которое становится всё напряженнее, вслушиваешься, как дождь сечет опавший лист, бьет камни, хлещет о стволы деревьев, как журчат и всхлипывают ручьи, сбегая к морю, гудят в горах потоки, гремя камнями, скрипят деревья под ветром, равномерно бухает волна, — тысячи звуков сцепились в один тяжелый, сырой, и хочется разъединить их — разместить, как слова в песне.

Калинин возится, толкает меня и ворчит:

— Однако — тесно же! Не люблю я тесноты...

Он устроился удобнее меня: влез в дупло глубже, присел на корточки и как-то особенно ловко сложился в маленький комок. Дождь почти не мочит его. Вообще у него, видимо, очень хорошо развита ловкость привычного бродяги — умение быстро найти при всех неблагоприятных условиях самое выгодное положение.

— Вот — и дождь, и холод, и всё,— тихонько говорит он,— а хорошо ведь!

— Чем — хорошо?

— Никому, кроме бога, не обязан. Ежели сносить неприятности, так лучше от него, а не от себе подобного...

— Ты, видно, не очень любишь себе подобного-то?

— Возлюби ближнего твоего, яко собака палку,— ответил он, а помолчав, спросил:

— За что его любить?

Я тогда тоже не знал — за что.

Не дождавшись моего ответа, Калинин снова спросил:

— Ты в лакеях не служил?

— Нет.

— То-то. Лакею ближнего любить трудно.

— Отчего?

— Послужи — узнаешь! Ежели кому служишь, так уж тут, братец мой, любить его не приходится... А дождь этот надо-олго!

Отовсюду текут всхлипывания, плач — точно вся земля тихо и горестно рыдает, прощаясь с летом накануне зимних бурь.

— Как ты попал на Кавказ?

— Шел, шел и пришел! — отвечает Калинин.— На Кавказ попасть всякому

<http://apsnyteka.org/>

хочется...

— Почему?

— А — как же? С малых лет слышишь: Кавказ, Кавказ! Бывало — генерал заговорит — даже ошестинится весь и глаза выкатываются. Тоже и мать: она ведь тоже была здесь. На Кавказ, брат, всякого тянет: здесь жить просто — солнышка много, зима короткая, не злая, как у нас, фруктов множество... вообще — веселее!

— А — люди?

— А что — люди? Держись в стороне, они не помешают.

— Чему?

Калинин, снисходительно усмехаясь, взглянул на меня и сказал:

— Экой ты чудаков — спрашиваешь, спрашиваешь о самом о простом!.. Ты — грамотный? Ну — должен сам все понимать...

Изменив голос на сердитый и гнусавый, он пропел, точно молитву:

— Не попусти, господи, сглазить ни чернцу, ни чин-цу, ни попу, ни дьяку, ни великому грамотнику... Это — мать моя часто говаривала...

Дождь стал тише, его линии истончились, сеть их стала прозрачней — яснее видны угрюмые стволы почерневших дубов, ярче золото и зелень листвы. В дупле посветлело, обугленные стенки блестят, точно атлас, — Калинин ковыряет уголь пальцем и говорит:

— Это пастухи выжгли... Видишь — и сено натащено, и сухой лист. Хорошая жизнь у пастуха здесь!..

Точно приговариваясь уснуть, он обнял затылок руками, воткнул подбородок между колен и замер.

Мимо нашего дерева, омывая его обнаженные корни, торопливо — светлой змеею — бежит ручей, унося красный и рыжий лист. Хорош должен быть такой лист далеко среди моря: в небе только солнце, а на синем шелке моря — одна эта красная звезда...

Мой спутник мурлычет, точно кот, какую-то песню. Мелодия знакома — «Спрятался месяц за тучку», но — я слышу другие слова:

Удивительная Валентина —

Вы прекрасней всех цветов!

Горит сердце нянькина сына,

И на все он для вас готов...

— Что это за песня?

Калинин разогнулся, завозился, гибкий, точно ящерица, крепко повел ладонями по лицу.

— Это — сочинение. Военный писарь один сочинил... помер он в чухотке. Дружок мой был, за всю жизнь — один, истинный! Тоже — удивительный человек!

— А — Валентина кто?

— Конечно — барышня, — неохотно ответил он.

— Писарь влюблен в нее был?

— Нисколько даже.

Видимо, он не хотел говорить об этом, снова съежился, спрятал голову и проворчал:

— Костер бы развести... а всё мокрое...

Скучновато посвистывает ветер, встряхивая деревья; упорный мелкий дождь сечет землю.

Человек я маленький и бедный,

И другим не буду никогда — снова тихонько запел Калинин и, взметнув голову быстрым, несвойственным ему движением, внушительно сказал:

— Это очень печальная песня... она может до слез взять за сердце. Ее только двое знали: я да он... ну, еще она, конечно... но она, конечно, и позабыла сразу...

И, улыбаясь светлыми глазами, он предложил снисходительно:

— Вот что: ты — человек молодой, и тебе надобно знать, где опасности для жизни, — расскажу я тебе историю одну...

Дождь тоже стал как бы прислушиваться: сквозь его шелковистый усыпляющий скукою шорох мирно потекла человеческая речь:

— Это не Лукьянов влюбился, а я, — он только стихи писал, по моей просьбе. Шел мне девятнадцатый год, когда она появилась, и как я взглянул на нее — так и понял, что в ней моя судьба, — даже сердце замерло, и вся жизнь полетела, как пылинка в огонь. И весь я вроде бы окрылился: так себя почувствовал, как,

<http://apsnyteka.org/>

примерно, часовой на страже пред начальством — подтянулся весь, окреп, и эдакая тревога в сердце: вот сейчас что-нибудь случится! Лет ей — Валентине Игнатьевне — было двадцать пять, может — побольше... очень красивая! Просто — удивительная! Была она сирота: папашу турки убили, мамаша в Самарканде от оспы померла... Генералу она приходилась племянницей по жене. Барышня рыжеватая и белая, как фарфор с золотом, глаза — изумруды... Округлая такая вся... словно просвира... Заняла она угловую комнату, рядом с кухней, — у генерала, конечно, дом собственный — и еще дали ей светлый чуланчик. Наставила она везде свои странные вещи: бутылочки, чашечки стеклянные, медную трубу и круг, тоже стеклянный в меди, она его вертит, а от него — огненные искры скачут, потрескивают, этого она нисколько не боится и поет:

Не для меня придет весна,
Не для меня Буг разольется,
И сердце радостью забьется
Не для меня, не для меня...

— Всегда она это пела. Блестит на меня глазками и говорит, очень просительно: «Вы, Алексей, ничего у меня не троньте, это вещи опасные!..»

— А у меня, действительно, всё при ней из рук падает, и эта ее песня... «Не для меня» — обидно мне за нее: как не для тебя? Всё — для тебя! Тянет сердце мое куда-то вверх. Купил гитару, а играть — не умею, на этом и познакомился с Лукьяновым, с писарем, — штаб дивизии находился в одной улице с нами. Был этот Лукьянов маленький, черноволосый, из крещеных евреев... лицо — желтое, а глаза — точно шилья. Отличный человек, и на гитаре играл — незабвенно... Говорит он мне: «В жизни всего возможно достичь... Нашему брату терять нечего. Откуда всё существующее? От простейших людей: человек не рождается генералом, но достигает звания. А женщина — говорит — начало и конец; и нужно ее стихами брать; я тебе напишу стихи, а ты ей подложи...» Мысли у него были прямые, бесстрашные...

Калинин рассказывал быстро, воодушевленно и вдруг как бы погас: замолчал на несколько секунд и продолжал уже тише, медленнее, как-то недовольно:

— Сразу-то я ему поверил, а потом всё оказалось не так: и женщина — обман, и стихи — чепуха, и невозможно человеку ускользнуть от своей судьбы. А храбрость — это на войне удобно, в мирной жизни она просто — голое озорство! Тут, братец мой, надобно знать закон основания жизни: есть люди высокого звания и низкого звания, и пока они на своем месте — это хорошо; а как только кто полез сверху вниз или снизу вверх — кончено! Застревает человек на полудороге — ни туда ни сюда, и так — на всю жизнь! На всю жизнь, брат! Значит — сиди тихо при своем месте, как дозволено судьбою... Дождик, кажись, перестает?

Да, капли падают всё более редко и устало, сквозь мокрые сучья в сыром небе видны светлые пятна, они напоминают о солнце.

— Рассказывай!

Калинин усмехнулся.

— Интересно? Н-ну, хорошо, поверил я Павлу,— пиши стихи, сделай милость! Он на другой же день очень ловко и приготовил их... забыл я слова... как-то так, что-де и дни и недели ваши глазки сердце мне ели любовным огнем и — пожалейте о нем! Подсунул я ей эти стихи под бумагу на стол — дрожу, конечно. На другой день утром убираю комнату — вдруг она выходит в распашном таком капоте красном, папироса в зубах, улыбается ласково и говорит, показывая мне бумажку: «Это вы, Алексей, написали?» — «Так точно, говорю, простите, Христа ради!» — «У вас, говорит, есть фантазия, и это очень жалко, потому что я занята: дядя меня выдает за доктора Клячку, ничего невозможно сделать!»

— Обомлел я: так ласково и сожалительно она сказала. Клячка — доктор, — красный, угреватый, усищи до плеч, тяжелый такой человек и всё хохочет, кричит: «Нет ни начала, ни конца, а только одно удовольствие!»

— Генерал тоже хохочет над ним, трясется весь: «Вы, говорит, доктор — комик», — это значит — паяц, балаганщик. Я же в то время был как тростинка, лицо — румяное, волосы вьются, жил чисто. С девицами обращался осторожно, проститутток вовсе презирал... вообще — берег себя для высшей ступени, имея в душе направляющую мечту. И вина не пил, противно было мне... потом — пил. В бане мылся каждую субботу.

— Вечером все они — и Клячка — поехали в театр, — лошади у генерала, конечно, свои, — а я — к Лукьянову: так, мол, и так! «Ну, говорит, поздравляю, ставь пару пива, дело твое кругло, как шар! Давай трешницу, я тебе еще стихов накатаю. Стихи, говорит, это дело колдовское, вроде заклинания».

— И написал песню про удивительную Валентину — очень жалобно, и так понятно всё. О господи...

Калинин задумчиво тряхнул головою и уставился детскими глазами на голубые пятна неба, промытого дождем.

— Нашла она стихи, — нехотя, против воли говорил он, — кликнула меня к себе, спрашивает: «Как же нам быть, Алексей?»

— А сама — полуодета, чуть не всю грудь мне видно, и ноги голые, в одних туфельках; сидит в кресле, качает ножкой, дразнит.

«Как же нам быть?» — говорит.

— Разве я знаю? Меня словно и нет на земле.

«Вы умеете молчать?» — спрашивает она.

— Я — головой киваю, совсем онемевши. Нахмурилась она, встала, взяла какие-то

две баночки, отсыпала из них порошка в конверт, дает мне и говорит: «Я, говорит, вижу один исход из мук наших египетских вот — порошок, доктор сегодня обедает у нас, так всыпьте ему порошок этот в тарелку, и через несколько дни я буду свободна для вас!»

— Перекрестился я, взял конверт, а у меня туман в глазах и даже ноги окоченели. Не помню, что со мной было, обмер я изнутри и до самого прихода Клячки этого — ничего не понимал...

Калинин вздрогнул, стукнули его зубы, испуганно глядя на меня, он торопливо завозился.

— Обязательно надо костер — дрожу я! Ну-ко, вылезай...

По мокрой земле, светлым камням и траве, осеребренной дождем, устало влачили тени изорванных туч. На вершине горы они осели тяжелой лавиной, край ее курился белым дымом. Море, успокоенное дождем, плескалось тише, печальнее, синие пятна неба стали мягче и теплей. Там и тут рассеянно касались земли и воды лучи солнца, упадет луч на траву — вспыхнет трава изумрудом и жемчугом, темно-синее море горит изменчивыми красками, отражая щедрый свет. Всё вокруг так хорошо, так много обещает, точно ветер и дождь прогнали осень и снова на землю возвращается благотворное лето.

Сквозь влажный шорох наших шагов и веселое падение дождевых капель я слушаю ворчливый, усталый рассказ:

— Ну... Открыл я ему дверь и не могу в глаза взглянуть, сама собою голова падает, а он поднял ее за подбородок и спросил: «Ты что это какой желтый, а? В чем дело?»

— Он был добрый... кроме того, что на чай жирно давал и вообще всегда как-то говорил со мной отлично... будто я не лакей...

«Нездоровится, говорю, мне...» — «Ну, говорит, я тебя после обеда осматрю, не падай духом».

— Тут понял я, что не могу отравить его, а нужно самому мне принять порошок этот, да, самому! Вроде как молонья озарила сердце мне — вижу, что не той дорогой иду, которая указана мне судьбою, бросился в свою комнатку, налил стакан воды, всыпал порошок — замутилась вода, зашипела, пеною покрывшись. Страшно! Однако — выпил. Не обожгло. Прислушиваюсь ко внутренностям — ничего, а в голове даже светлее стало, хотя и жалко себя, чуть не до слез... Давай-ко, устроимся здесь!

Огромный камень в темно-зеленой шапке моха и ползучих растений добродушно наклонил над землею широкое, плоское лицо — точно Святогор-богатырь ушел в землю, увлеченный тягою ее, осталась над землею только голова и лицо, стертые вековыми думами. Со всех сторон тесно обросли, обступили его дубы, тоже как

будто иссеченные из камня; ветви их касаются морщин старой скалы. Под навесом камня сухо и уютно,— сидя на корточках и ломая сучья, Калинин говорит:

— Вот где бы нам дождь-то переждать...

— Ну — продолжай историю...

— Да... Ты — запаливай...

Вдвинув тонкое тело глубоко под камень, он вытянулся на земле и вяло продолжал:

— Иду тихонько в буфетную, ноги у меня пляшут, в груди — холодно. Вдруг — в гостиной Валентина Игнатьевна очень весело смеется, и через столовую слышу я генераловы слова:

«Вот он — народ ваш, что-с? Он за пятак на всё согласен!»

— А возлюбленная мною — кричит:

«Дядя! Разве мне пятак цена?»

— И доктор тоже говорит:

«Ты чего ему дала?» — «Соды с кислотой. Господи, вот смешно будет...»

Калинин замолчал, закрыл глаза.

Вздыхает влажный ветер, относя густой дым на черные ветви деревьев.

— Сначала обрадовался я, что не умру,— сода с кислотой — это не вредно, это с похмелья пьют. А потом вдруг ударило меня соображение: разве можно так шутить? Ведь я же — не кутенок!.. Все-таки стало легче мне. Начали обедать, подаю бульон в чашках, все молчат. Доктор первый отведал бульон, поднял чашку, сморщился и спрашивает: «Позвольте, что такое?» — «Ну, нет, думаю, не удалось вам, господа, пошутить!» Да и говорю вполне вежливо: «Не извольте беспокоиться, господин доктор, порошок я самолично принял...»

— Генерал с генеральшей не поняли, что шутка не состоялась, и — хохочут, а те двое — молчат, глаза у Валентины Игнатьевны большие-большие сделались, и тихонько так она спрашивает: «Вы знали, что это безвредно?» — «Нет, говорю, когда принимал — не знал...»

И тут я свалился с ног, лишившись чувств своих окончательно.

Маленькое лицо его болезненно сморщилось, стало старым и жалким. Он повернулся грудью к неяркому костру, помахал рукою, отгоняя дым,

озорниковато и лениво тянувшийся в угол.

— Хворал я семнадцать ден. Приходил доктор этот, Клячка,— фамилия же!.. Сядет около меня, спрашивает: «Значит — ты сам хотел отравиться, чудака-человек?»

— Так и зовет меня: чудака-человек. А что ему за дело? Я сам себя могу хоть собакам скормить... Валентина Игнатьевна ни одного разу не заглянула ко мне... так я ее никогда и не видал больше... Они вскорости повенчались и уехали в Харьков, Клячка место получил при чугуевском лагере. Остался я один с генералом, он — ничего был старик, с разумом, только, конечно, грубый. Выздоровел я — он меня призвал и внушает: «Ты-де совершенный дурак, и всё это подлые книжки испортили тебя!»— а я никаких книжек не читывал, не люблю этого.— «Это, говорит, только в сказках дураки на царевнах женятся. Жизнь, говорит, шахматы, каждая фигура имеет свой собственный ход, а без этого — игры нет!»

Калинин простер над огнем руки — тонкие, нерабочие — и усмехнулся, подмигивая мне.

— Эти его слова я принял очень серьезно: «Значит— вот как? — думаю себе.— А ежели я не желаю играть с вами и проигрывать мою жизнь неведомо для чего?»

Он торжествующе поднял голос.

— И тогда стал я, братец ты мой, всматриваться в эту их игру, и увидал я, что живут все они в разных ненужностях, очень обременены ими, и всё это не имеет серьезной цены. Книжечки, рамочки, вазочки и всякая мелкая дребедень, а я — ходи промеж этого, стирай пыль и опасайся разбить, сломать. Не хочу! Разве для этих забот мать моя в муках родила меня и для этой жизни обречен я по гроб? Нет, не хочу, и позвольте мне наплевать на игру вашу, а жить я буду как мне лучше, как нравится...

В его глазах вспыхнули зеленые искорки, пальцы рук судорожно сцепились, и он взмахнул ими над огнем, как бы отсекая красные кудри.

— Конечно, я не сразу понял это, а — исподволь дошел. Окончательно же утвердил меня в этих мыслях один старец в Баку — мудрейший человек! «Ничем, говорит, не надобно связывать душу свою: ни службой, ни имуществом, ни женщиной, ниже иным преклонением пред соблазном мира, живи один, только Христа любя. И это — единое, что навсегда верно, единое навеки крепкое»...

— Ух! — воодушевленно крикнул он, надув щеки и покраснев от какого-то внутреннего усилия.— Весьма много видел я и земли и людей, и уже много есть на Руси таких, которые понимают себя и пустякам предаваться не хотят. «Отойди ото зла и тем сотворишь благо», говорил мне старичок, а я уже до него понял это! Сам даже множеству людей говорил так, и говорю, и буду... Однако — солнце-то вон где! — вдруг оборвал он самодовольную речь восклицанием тревожным и жалобным.

Большое красное солнце тяжело опускалось в море; между ним и водою — невысокие темные холмы облаков со снеговыми вершинами.

— Пожалуй, захватит ночь,— ощупывая кафтан, ворчал Калинин.— А тут — чекалки по ночам рыщут. Чекалок — знаешь?

— Шакалов?

— Правильно называется — чекалка.

Три облака похожи на турок в темно-красных халатах и белых чалмах, они соткнулись головами, тайно беседуя о чем-то, у одного на спине вздулся горб, на чалме другого выросло бело-розовое перо, оторвалось и всплыло в небо, к задумчивому солнцу, без лучей и подобному луне. Третий турок выдвинулся вперед и, согнувшись над морем, закрыл собеседников своих, из-под чалмы его вспух большой красный нос и смешно нюхает море.

— Слепой старик лапоть ловчее плетет, чем многие умные люди составляют свою жизнь,— слышен сквозь треск и шипение костра ровный голос Калинина.

Мне уже не хочется слушать его; нити, привлекавшие меня к нему, как-то сразу перегорели, оборвались. Хочется молча смотреть в море и думать о чем-то, что, по-вечернему тихо и ласково, волнует душу. Запоздалыми каплями дождя падают его слова.

— Все суются, спрашивают друг друга: ты как живешь? Учат — ты не так живешь, вот как надобно! А кому известно, как надо жить для полного моего здоровья? Никто ничего не может знать — пускай каждый живет как хочет, без принуждения! Я ничего от тебя не хочу, и ты от меня ничего не требуй. И не жди. А отец Виталий доказывает обратное: человек должен быть в мире ратником супротив зла...

В темной пустыне лежит кроваво-красная тропа — не по ней ли прошли и невидимо идут, теряя плодотворно горячую кровь, лучшие люди мира?

Справа и слева от этой живой полосы огня море странного, темно-малинового цвета, дальше оно — черное и мягкое, точно бархат, где-то далеко на востоке бесшумно вспыхивает молния, точно незримая рука зажигает о сырое небо спичку и не может зажечь.

Калинин обиженно говорит о старце Виталии, смотрителе за работами в Ново-Афонском монастыре,— вспоминается умное, веселое лицо монаха, с жемчужными зубами в шелке черной и серебряной бороды; прищулив красивые женские глаза, он говорит внушительным баском, подчеркивая «о»: «Когда мы, теперешние, прибыли сюда — был тут хаос довременный и бесово хозяйство: росло всякое ползучее растение, окаянное держидерево за ноги цапало и тому подобное! А ныне — глядите-ко, сколь великую красу и радость сотворили руки

человечьи и благолепие какое!»

Он гордо очерчивает крепкой рукою и взглядом широкий круг в воздухе: в этот круг, как в раму, заключена гора, разработанная уступами под фруктовый сад,— земля, точно пух, взбита на ней; под ногами Виталия серебряная полоса водопада и лестница, высеченная в камне,— она ведет в пещеру Симона Канонита. А внизу горят на полуденном солнце золотые главы новой церкви, тают белые корпуса гостиниц и служб, зеркалом лежат рыбные пруды и всюду — царственно важные, холеные деревья.

«Братие,— когда захочет человек — дано ему одолеть всяческий хаос!» — торжественно говорит Виталий.

— Тут я его и прижал: «Христос наш, говорю, тоже был человек бездомный и надземный; он вашу земную заботливую жизнь отвергал!» — рассказывает Калинин, потряхивая головою, и уши у него тоже трясутся.— «Был он не для низких и не для высоких, а — как все великие справедливы — ни туда ни сюда! А когда с Юрием да Николою ходил по земле русской, по деревням, то даже и не вмешивался в дела их,— они спорят о человеке, а он — молчит!» Уел я его этим, рассердился Виталий, кричит: «Ах ты, невежа, еретик!»

Под камнем душно, дымно. Костер — точно охалка красных маков, азалий и еще каких-то желтых цветов; он живет своей красивой жизнью, сгорая и согревая, умно и весело смеясь ярким смехом.

С гор, из туч, тихо спускается сырой вечер, земля дышит тяжело и влажно, море густо поет неясную, задумчивую песню.

— Значит — здесь заночуем? — деловито спрашивает Калинин.

— Нет, я пойду.

— Ну что ж! Идем...

— Мне — не по дороге с тобой...

Он, сидя на корточках, вынимал из котомки хлеб и груши, но после моего ответа снова сунул в нее вынутое и захлестнул котомку, сердито спросив:

— Зачем же ты шел?

— Поговорить. Человек ты интересный...

— Конечно — интересный,— таких, как я, не много, брат!

Солнце, похожее на огромную чечевицу, тускло-красное, еще не скрылось, и волны не могут захлестнуть огненного пути к земле. Но скоро оно утонет в облаках, тогда тьма сразу выльется на землю, точно из опрокинутой чаши, и сразу

в небе вспыхнут большие ласковые звезды. Земля во тьме станет маленькой, как
человечье сердце.

— Прощай!

Я пожимаю небольшую, без мускулов, кисть руки — человек детски ясно смотрит
в глаза мне и говорит:

— А я скорей тебя дойду!

— До Гудаута?

— Ну да...

...Вот я и один, в ночи, на милой мне земле, всем одинаково чужой и всему равно
близкий, щедро оплодотворяемый жизнью, по мере сил оплодотворяющий ее.

С каждым днем всё более неисчислимы нити, связующие мое сердце с миром, и
сердце копит что-то, от чего всё растёт в нем чувство любви к жизни.

Поет море ночной гимн; камни, заласканные волнами, глухо гудят в ответ.
Неясное — белое носится стаями по черной пустыне; вдали над нею еще не
погасла вечерняя заря, а в зените неба уже ярко пылают звезды.

Засыпая, вздрагивают вершины деревьев — на землю сыплются капли дождя.
Всхлипывает вода под ногами — звук робкий и сонный.

Иду во тьме и сам себе свечу; мне кажется, что я живой фонарь, в груди моей
красным огнем горит сердце, и так жарко хочется, чтобы кто-то боязливый,
заплутавшийся в ночи — увидал этот маленький огонек...

1912 г.

ПИСЬМО З. МОРИНОЙ

«Литвуз, о котором Вы пишете, существует только в проекте, а когда он начнет
реально существовать — не знаю.

Очень советую: учитесь, не ожидая открытия литвуза, читайте, спорьте,
попробуйте переводить с абхазского на русский, займитесь изучением устной
народной поэзии, собирайте и записывайте абхазские песни, сказки, легенды,
описывайте древние обряды и т. д.

Все это называется изучением «фольклора» — устного творчества народных, по
преимуществу — трудовых масс. И это может много дать не только Вам
персонально, а и ознакомит многих людей с прошлым Абхазии...»

1933 г., август

К. ПАУСТОВСКИЙ

ИЗ ГОРНОГО ДОМА

(От нашего специального корреспондента*)

В белом горном доме с низкими потолками — тонкая тишина. Синим льдом сверкают, как только что расколотый сахар, тяжелые горы. Золотым дождем цветет за оконцами пряная мимоза, и воспаленное солнце ложится и тусклое, задымленное море.

Горный дом уже стар, и в широких щелях полов потрескивают по вечерам сердитые скорпионы. А дряхлые обитатели дома еще помнят времена, когда Абхазия была полна абреками, когда горцы спускались с гор и штурмовали заросшие плющом прибрежные форты, когда солдаты сотнями умирали от горячки во влажных, тропических лесах, времена лермонтовские, полузабытые, но еще свежие в преданиях и памяти горцев.

Фантастический край. Здесь рядом леса пальм и кактусов и заседания революционных комитетов под старыми дубами, причем все члены комитета голосуют и говорят, не слезая с поджарых коней, гортанно перекликаясь и теснясь лошадьми в одну подвижную, темную, темную массу; рядом скрип арб и лошадиные черепа, висающие на всех заборах от дурного глаза, и тут же — ослепительный электрический свет, заливающий широкие сельские улицы, съезды Советов, протяжные гудки иностранных пароходов, кофейни «знаменитых персидских кофейщиков», пестро расписанные трапезундские фелюги, на которых седые турки кипятят кофе в медных кастрюлях-наперстках, восточная майолика, князья, перед которыми до сих пор сходят с седел и касаются рукою земли, ажиотаж, лиры, фунты, грузбоны, бязь, кукуруза, богатые лесные концессии на реке Бзыбь, взятые Стиссенем и Рокфеллером, непочатый край, дикие козы, скачущие по улицам, и восторженный рев лопухих пушистых ишачков.

Край фантастический, пестрый, богатый, но богатства его еще сырые, нетронутые, не вырытые из вечно влажной земли.

Россия, голод, то напряжение и мучительные по непосильной работе дни, что переживаются там, за снежными хребтами, вся громадная, неуловимая жизнь федерации — все это для здешних людей «заграница», что-то почти нереальное. Но все чаще в ленивый звон здешнего базара, в винный запах духанов, в беспечное шелканье нард и монотонный такт лезгинки, которую танцуют по вечерам перед дверьми кофейен замкнутые «башлычники»-горцы, все чаще в эту покойную и безумную жизнь просачиваются напоминания оттуда, из-за гор. Со снежных перевалов не приходят, а приползают изможденные, полумертвые люди с обмороженными ногами, беглецы от смерти с отупелой нечеловеческой тоской в старческих глазах. Набрасываются на хлеб, на здешнее сало, на горный сыр и молодое вино и умирают. Не так давно умерло несколько человек,

высадившихся с пришедшего из России парохода.

Все чаще приезжают экспедиции из Крыма, Кубани за кукурузой. Они не меняют ее на товары, не покупают, а вымаливают. Дрожащими голосами они перечисляют товары, которые привезли для обмена. Везут все, что осталось — домашний скarb, чуть ли не детские платица.

Экспедиция керченских моряков привезла две швейные машины, микроскоп, мотор, два биллиардных стола, какое-то платье, немного мануфактуры, собранной среди моряков, картины, ковер. Все это не нужно здесь, и до слез больно смотреть на седую трясущуюся голову представителя этой экспедиции, прекрасно знающего, что все это не нужно, что хлеб за это не дадут, что вывоз запрещен и на пристанях отбирают даже фунт сахару.

Эти ходоки от обреченных людей преследуют, их не можешь забыть, не можешь понять все то, о чем они говорят, и только где-то в глубине души вдруг что-то оборвется, и станет холодно и страшно.

И все думы о тех, кто остался там. Здесь не говорят «где», говорят — «там», и сразу все как-то замолкают. Там — в России, где плачут, бьются и мучаются из-за корки хлеба, в России, от которой не оторвать мучительных мыслей.

Сухум-Кале.

1922 г.

** В те годы К. Паустовский работал корреспондентом газеты "Моряк", выходившей в Одессе.*

ТРИ ПИСЬМА ИЗ СУХУМА В ОДЕССУ

11 февраля 1922 года

... Последнее письмо я послал тебе из Туапсе, с «Дмитрием». На следующее утро я проснулся от ослепительного солнца. Мы подходили к Сухуму. Я вышел на палубу и у меня закружилась голова — такой красоты я еще не видел. Было жаркое утро, синь, блеск, и маленький город весь тонул в цветущей громадными гроздьями желтой мимозе, в громадных пальмах и эвкалиптах. А за городом — горы в сосновых лесах и ослепительная снеговая цепь Кавказа...

Когда я сошел на берег, где одуряюще пахнет мимозой и чайными деревьями (здесь уже цветут азалии, розы, цикламены, фиалки) и из десятков духанов и лавчонок — фруктами и вином, я едва сдержал слезы от острой тоски, оттого, что здесь нет тебя...

Я уже начал работать в Союзе кооперативов Абхазии (кооператив, попасть в который мечтают все). Паяк выдают такой, что денег на жизнь не нужно...

Несмотря на то, что я работаю всего два дня, я уже получил, не считая пайковых обедов, пуд чудесного древесного угля, 3 фунта масла, 6 фунтов сахару, 25 фунтов керосина и каждый день по 3 фунта белого хлеба. В паяк входит еще рис, табак, спички, кофе (настоящее мокко), мясо, вино, топливо и ряд других продуктов. Все это в больших количествах. Я получаю два пайка (на тебя тоже), но твой паяк мне советуют пока не брать, а взять перед твоим приездом, потому, что его «некуда

девать». Кроме того, для служащих (их всего 120 человек) есть своя лавка, где очень дешево можно закупить все — и чулки, и белье, и фрукты, и пирожные, и колбасы. Приедешь, тогда я тебе все расскажу. А на восточном базаре все тонет в фруктах, вине и хлебе. Фунт яблок стоит 10 000 рублей и каких яблок. Масса апельсинов (10 000 фунт), орехов, гранат, лимонов.

Когда я подумаю, что тебе совершенно не надо будет работать, я радуюсь как ребенок.

Кроме пайка, я получаю около 1 000 000 деньгами (по одесским ценам это равно 10—12 миллионам рублей)... Председатель Союза предлагает мне выписать бурку, но я подожду до твоего приезда. Теперь о комнате. Комнату найти нелегко, но к твоему приезду я найду. Уже есть одна, на горе Чернявского. Что такое гора Чернявского, можно понять, только увидев ее. В саду, около комнаты, растут громадные кактусы, бананы и мандарины. За окнами — море (здесь необычайные закаты) и синие громады гор. Поют арбы, и по улицам ходят страшные, но безобидные, как дети, абхазцы в бурках, с головами, повязанными черными башлыками.

Здесь только тишина, как в Ефремове. Проживем одиноко до июля, августа, а потом в Москву. Отдохнешь ты очень. Здесь море густое, душистое, всюду веет какой-то древностью, по вечерам виден анатолийский берег...

Если не успеешь выехать на «Батуме» (это будет очень скверно), то напиши сейчас же. Если передумала — напиши, я сейчас же вернусь. Мне Одессы не жаль — кончилась тяжелая полоса жизни. Здесь мы окрепнем, отдохнем, потом в Москву. Возьми «Мертвую зыбь», рукописи и часть книг...

Когда я приехал, устроили ужин, на котором были какие-то абхазцы-горцы (кооператоры) в бурках. Они пели в твою честь «аллаверды». То удостоверение, которое я тебе послал, береги. Это большая редкость. Вообще въезд в Сухум для простых смертных почти невозможен. Крол, хотел бы написать еще о многом, но надо спешить. Будь спокойна и радостна. К твоему приезду уберу комнату цветами. Без тебя я мертвый человек, мне трудно даже говорить, я больше молчу и все думаю, думаю. И иногда бывает так страшно, — может быть, ты больна, зябнешь, голодаешь...

Если в Одессе стало лучше и тебе почему-либо не захочется уезжать — телеграфируй или напиши. Я сейчас же вернусь. Здесь один недостаток — мы будем одиноки, как в Таганроге. Городишко маленький...

19 февраля 1922 года

... Пишу это письмо с безумной надеждой, что оно застанет тебя в Одессе. Вчера у меня было такое состояние, что я хотел послать тебе телеграмму, чтобы ты оставалась в Одессе, что я вернусь первым же пароходом.

Теперь слушай. Я постараюсь логично и спокойно передать все, о чем думаю дни и ночи здесь, думаю мучительно и никак не могу решить. Может быть, это влияние здешней тропической природы. Уже несколько дней идут тяжелые тропические дожди и все затянуто сыростью. Не знаю, может быть, от этого...

Первое впечатление было, конечно, обманчиво. Таковы здешние места.

Я перечислю тебе плюсы и минусы Сухума, все то, что открылось теперь и что я передумал.

Плюсы: красота (тропическая зелень, горы), тепло, пока довольно сытно. Во

<http://apsnyteka.org/>

всяком случае, первое время ты можешь отдохнуть, и не работать.

Минусы: красота чужая, ее хорошо посмотреть, пожить здесь месяц-два, зная, что уедешь (наверное) отсюда. Во время всех моих скитаний (теперешних, последних) я понял, что единственный город, родной нам по душе, — Москва, рязанские деревни, все такое милое и родное. Тоска у меня по Москве страшная. Я все колеблюсь. Может быть, лучше приехать сюда, если там такой страшный голод, как говорят здесь. Но не лежит мое сердце к Сухуму. А, вместе с тем я все думаю о том, как ты устала, думаю, что может быть, единственное спасение — Сухум... Я все не могу забыть туманный день в такой милой теперь Одессе, когда ты провожала меня и долго махала шарфом.

21 февраля 1922 года

...Сухум сразу поразил меня (особенно, может быть, после тяжелого морского пути) красотой и обилием пищи. Но прожил я здесь неделю, и все поблекло. Не лежит душа к Сухуму, и тоска такая, словно я попал в западню. И если и есть смысл сюда ехать, то только спасаясь от голодной смерти. Во всем остальном он несравненно хуже Одессы. И эта мысль о необходимости дать отдохнуть тебе, подкормиться нам двоим и заставила меня остаться в Сухуме...

Возможность вырваться в Москву — весьма сомнительна. Здесь как на тропическом Сахалине. Абхазия отрезана от всего мира горами, единственная связь — это море... Я твердо решил — к осени мы уедем в Москву, погостим в Екимовке. А отсюда вырваться в Москву будет трудно. Может быть, придется здесь застрять на год-два, а это очень страшно. Вся беда Сухума — это то, что здесь все хорошо питаются, так как жалованье выдается продуктами. Денег же не дают, и раздобыть их очень трудно. И все попавшие в Сухум на полгода (как и мы) сидят здесь по три-четыре года...

Духовная жизнь. Нет никакой. Это громадная деревня, без книг, без газет, совершенно отрезанная от всего мира. Интеллигентных людей нет совершенно. Тоска такая, что временами хочется бежать из этих влажных гор, от льющих в последние дни дождей и грязи...

ГДЕ НАШЛИ ЗОЛОТОЕ РУНО (Абхазия)

Я впервые увидел эту страну в феврале.

Песок по берегам горных рек сверкал от крупинки золота. Белый город Сухум был осыпан желтой пылью мимоз, земля на базарах лиловела от пролитого вина, неумолимое солнце подымалось из-за Клухорского перевала, где горели льды, чернели буковые леса и спали в скалах жирные серебряные руды. Запах апельсинов смешивался с запахом жареных каштанов, красные флаги шумели от южного ветра в тропических зарослях садов, дикие всадники, гортанно крича, бешено скакали по каменным дорогам. Стенами падал теплый ливень, и душистый дым местного табака лениво сочился из окон духанов.

А в это время в ста верстах к северу и к югу море было белое от метели и

<http://apsnyteka.org/>

обезумевший норд-ост гремел над палубами ржавых пароходов.

Это было в Абхазии, в самой маленькой из советских республик, в тропической Абхазии, богатой, щедрой и сонной.

Пароход идет вдоль берегов этой страны всего пять-шесть часов. Автомобиль пересекает ее еще быстрее.

С севера, востока и юга стоят горы, они недоступны и непроходимы. Через Главный хребет есть только два перевала — Нахарский и Клухорский. Через Нахарский идут те, кому жизнь не нужна. Через Клухор переходят только в июле, когда стают снега, но переходят лишь те, кому жизнь нужна наполовину.

Переходят карачаевцы — жители Карачаево-Черкесской республики, лежащей по ту сторону гор. Они идут и гонят перед собой стада — продавать абхазцам или менять на табак. Сваны нападают на них, и редкий переход не оканчивается жестокой перестрелкой на склонах Клухора. Почти всегда сваны угоняют половину скота, унося на бурках раненых, и слава этих набегов до сих пор гремит по всей стране от Пицунды до Самурзакани, где особенно сильно бродит дух рыцарства и своеволия.

Горы Абхазии, вглубь от побережья, непроходимы. Они покрыты густыми, девственными, перевитыми густой тканью лиан буковыми лесами, лесами из красного дерева, крушиной, самшитом, зарослями, в которых прячутся шакалы и черные кавказские медведи. Весной медвежат на сухумском базаре продают по три рубля (без торга).

Ледяная цепь Главного хребта видна в ясные дни с сухумского рейда. Синие глетчеры тянутся на десятки верст, и странные названия гор вызывают недоумение и любопытство — Марух, Схопач, Клухор, Нахар, Агыш, Апианча, Адагуа. Многие названия звучат по-итальянски. Недаром в лесах Абхазии, в гуще зарослей, где сумрак зеленеет от листвы и пахнет столетней прелью, вы увидите белые гигантские, заросшие дикой азалией римские маяки, развалины веселых некогда и пышных римских и греческих городов. Вы найдете только тогда, когда дотронетесь до них рукой, так сильно они заросли кустарниками и травами. Столетние буки растут из мраморных генуэзских цистерн, и шакалы спят на мшистых плитах, где четко и грозно темнеют латинские надписи.

Здесь лежал первый великий путь в Индию. Сюда, в эту пламенную Колхиду, приезжал Одиссей, за золотым руном.

На юге к стране вплотную подходит море — индиговое и густое, рассеченное у берегов широкими струями бесчисленных горных рек. Эти реки ворочают, как пробки, пудовые камни и в период таяния снегов рвут, как солому, мосты, режут, как десятки курьерских поездов, и выносят в море трупы буйволов и вековые деревья.

Но, кроме трупов буйволов, они выносят золотой песок и стаи голубой, пятнистой

форели.

Богатство Абхазии — в горах. Серебряно-свинцовые руды, каменный уголь, золото, мощные лесные массивы, медь, железо, бурные реки, энергия которых могла бы, преобразенная в динамо-машины, залить ослепительным светом весь Кавказ, все это ждет дорог и армий рабочих, девственное, нетронутое и неисследованное.

Море у берегов Абхазии глубоко и на глубине отравлено сернистыми газами. Лишь на отмелях кипит жизнь, но богатство этих отмелей поразительно.

Вблизи Гудаут есть устричные банки, и гудаутские устрицы считаются лучшими в Европе. Но этих устриц пока никто не ловит.

Пицундская бухта кишит дельфинами. Каждую весну в Пицунду приходят из Трапезунда и Синопа десятки синих и белых турецких фелюг. Турки бьют дельфинов из старых винтовок, — жир идет на мыловаренные заводы, а балык коптят над кострами. Дым этих костров застилает берега сухумской бухты весь февраль и март.

Во время империалистической войны у берегов Сухума и Нового Афона побило много транспортов с ценным грузом, на дне образовался целый город кораблей. И до сих пор еще море выбрасывает гнилые ящики, части машин, окаменевшие бочки с цементом и разбухшие, как губки, мессинские апельсины.

Абхазский крестьянин снимает в год два урожая. Земля родит сама, без удобрения, без поливки, без бороньбы. Надо только слегка поцарапать ее прадедовской сохой и бросить семя. Прodelав все это, абхазский крестьянин скрывается в недра духанов, где дни и ночи щелкает в нарды, с азартом и горечью неудачного игрока.

Абхазия богата вином: качичем — черным и терпким, амлаху — светлым, как сок лимона, и удивительной маджаркой, которая бродит в желудке и создает опьянение на двадцать четыре часа.

Лиловые винные бочки скрипят на арбах и тянутся к Сухуму, туда же всадники везут у седел старые бурдюки. Винный запах пропитал деревни и города этой страны так густо и крепко, что его не может выжечь солнце и не могут смыть февральские ливни.

Но главное богатство Абхазии — табаки, в особенности «самсун» — крепкий, красный, пряный табак, известный и в Японии, и в Турции, и в странах западной Европы. Весь вывоз этой страны покоится на табаках. Улицы Сухума вблизи порта пропитаны запахом спрессованных табачных листьев, которые грузят на иностранные пароходы из просторных и сухих табачных складов.

Сухумский табак так крепок и так душист, что курить его без примеси более легких и более простых табаков очень трудно. Его подмешивают к самым плохим

табакам, и они преображаются, вкус их становится благороден, и горло курильщика не сжимает судорога удушья.

Табачные плантации сплошными коврами покрывают веселые склоны абхазских долин. Табак разводят главным образом греки, пришлое население, замкнутое и трудолюбивое, — не в пример экспансивным грекам из Керчи и Таганрога.

В горах Абхазии растет самшит — кавказская пальма. Он вовсе не похож на пальму. Это — низкий корявый кустарник с мелкими гляцевитыми листьями. Чтобы достигнуть высоты человеческого роста, самшит тратит не меньше ста лет. Но у самшита есть одно необычайное свойство — это самая твердая порода древесины, он тверд, почти как металл. Из самшита можно делать части машин.

О самшите не знали. Лишь недавно обратили внимание на это изумительное дерево, и теперь из него начали впервые изготавливать челноки для ткацких машин. Будущее самшита — громадно.

Горцы расскажут вам необычайные истории о том, как люди, срывавшиеся в пропасть, спасались, уцепившись за крошечный, в четверть аршина высотой, кустик самшита, ибо самшит не только тверд, но и с чрезвычайной силой держится корнями за расселины скал.

Абхазия могла бы сеять пшеницу. Но испокон веков, от прадедов абхазский крестьянин унаследовал кукурузу — самую неприхотливую и не боящуюся засух. Абхазская деревня питается ярко-желтым, как цвет канарейки, кукурузным хлебом. В горах приходится идти версты и версты в высоких кукурузных полях, где голова кружится от духоты, от запаха кукурузной пыли и по ночам прячутся и хохочут шакалы.

Маисовый хлеб, горный овечий сыр, спрессованный, как гигантские колеса, кислое вино и мацони — вот пища абхазского крестьянина.

Сухумский базар всегда завален фруктами. Зимой мандаринами, каштанами, хурмой, апельсинами, кисловатыми и прекрасными гранатами, декоративными цитронами. Запах каленых орехов (фундуков) преследует вас на каждом шагу. Печи топят ореховой скорлупой, пищу в базарных духанах готовят на ореховом масле.

Осенью горы лилового и матово-зеленого винограда тонут в горах желтых персиков, раздражающе сочных и душистых, как душист вообще весь сухумским воздух. Пампанские яблони эстонских колоний под Сухумом шипят и пенятся, когда их надкусываешь, как донское шампанское. Алыча желтеет, как воск, и сливы так же сладки, сахаристы и сочны, как абрикосы и шелковица.

Зеленую алычу (особый сорт сливы) очищают от косточек, прессуют и продают в виде черной широкой кожи. Алыча — это абхазский уксус. Ее кладут как приправу во все восточные блюда.

Вокруг Ново-Афонского монастыря (теперь Псхырцха) тянутся обширные оливковые сады с серой листвой — сады единственные в СССР.

В Абхазии субтропический климат, поэтому район Сухума — единственное место, где легко можно разводить редкие лекарственные растения и травы. Сейчас (правда, в небольшом количестве) в Сухуме уже вырабатывают некоторые лекарственные препараты: лавровишневый экстракт, эвкалиптовое масло, камфору. В этой области у Абхазии большое будущее.

В Абхазии субтропический климат. Когда зимой подходишь к ее берегам на пароходе, с суши доносятся запахи, напоминающие тропики, запахи камфоры, мимоз, каких-то не наших цветов. Снег бывает как величайшая редкость и тает на лету. Мороз и снег здесь заменяет период дождей.

Где тропики — там лихорадка. Сухумская лихорадка не так жестока, как батумская, но все же она треплет приезжих. От нее и от зноя бегут в Цебельду, в горы, где прохладно и где каждую ночь шумят ливни.

Население Абхазии пестро и многоязычно. Помимо абхазцев — народа, не имеющего ничего общего ни в языке, ни по культуре с остальными народами Кавказа, — в Абхазии живут грузины, мингрелы, сваны, грека, армяне, эстонцы, русские, самурзаканцы, шапсуги и, наконец, чистые потомки крестоносцев, возвращавшихся в Европу из Трапезунда и осевших на берегах Колхиды.

Поэтому и сейчас на сухумском базаре, рядом с водоносами и ишаками, вы можете увидеть горцев со светлыми волосами и очень тонкими, правильными профилями флорентийцев. Это — действительно флорентийцы, несколько веков тому назад покинувшие свою родину. Они живут замкнуто, обособленно, но их деревня так же, как и все соседние, окружена, кукурузниками и табаком.

Абхазский язык труден. Выучить его невозможно, он имеет множество звуков, которых не в состоянии произнести горло европейца. Нужно с младенческих лет слышать его, чтобы осилить эту бездну свистящих, гортанных и клекочущих звуков.

У абхазцев не было своей письменности. Только недавно, вместе с советизацией страны, была создана письменность и появились первые брошюры и листовки на абхазском языке.

Быт страны сложен и своеобразен. Кровавая месть и гостеприимство — вот основа этого быта. Кровавая месть становится все реже и реже с тех пор, как Советская власть стала сурово и беспощадно карать горцев за этот дикий обычай, опустошающий аулы, превращающий в военные лагеря целые районы и делающий непроезжими самые оживленные дороги. Советы стариков творят суды под священным деревом; путник, перешагнувший порог своего злейшего врага, может быть спокоен, как у себя дома; на заборах торчат лошадиные черепа от злого духа; свадьбы празднуют неделями; считается грехом пить молоко, не разбавленное водой. Таких обычаев много. У каждой страны есть свои

странности.

Советский строй в Абхазии приобрел колорит этой страны. Заседания сельсоветов проходят под священным дубом, все члены сельсовета сидят верхом на поджарых лошадях, с коней говорят, с коней голосуют, подымая вверх руки со старинными нагайками.

История этой страны — история непрестанной, тяжелой, нечеловечески упорной борьбы за каждую пядь гор, за каждый камень с армиями русских генералов, с «урусами», которые несли тогда не национальную свободу и возрождение, а рабство и пренебрежение к этим гордым, молчаливым горцам, полным сурового достоинства и необычной деликатности.

В заключение я приведу здесь отрывок из дневника писателя и знатока Абхазии — Нелидова, имя которого неизвестно и рукописи не опубликованы из-за чрезмерной скромности автора:

«Утро пришло прозрачное и очень тонкое, купая в море красные рыбацьи паруса. На шхунах турки кипятили кофе в медных кастрюльках. Качались дубовые кили, и, как персидская майолика, на бронзовых горах бледным пурпуром цвели олеандры.

В солнечный дым садов я спустился из своей комнаты, словно вошел внутрь жемчуга.

Начиналась осень. Мучила лихорадка, карантинный врач сказал мне, что надо на неделю уйти из Сухума к Главному хребту, в область прохладных альпийских пастбищ.

Я нашел попутчика — циркового борца-профессионала, громадного и добродушного. Он знал все перевальные тропы, и идти с ним было легко и спокойно.

Шли мы три дня. В кукурузных полях за Мерхеулами мы обливались потом от невыносимой духоты, следя, как над Апианчей курились пепельные облака. Мы попали в безвыходный лабиринт диких гор и медленно подымались по незаметным тропкам, слушая, как в заросших орешником пропастях шумят монотонные реки.

Буковые леса стояли по склонам сумрачными колоннадами, пахло грибную прелью и медвежьими тропами, далеко срывались протяжные обвалы. Изредка над головой проносились со свистом коршуны и прятались по норам бурые лисицы.

На третий день в прорезы черных гор сверкнул синим льдом изломанный и мертвый Главный хребет.

На четвертый день с перевала он открылся весь. Горец, увешанный пулеметными

<http://apsnyteka.org/>

лентами, с винтовкой за плечами, встретившийся нам на перевале, показал на высоко взметенный в небо зазубренный массив, покрытый ледниками, и сказал: - Марух.

Было в этом слове что-то древнее, простое и страшное.

Горы горели торжественным изломом льда в похолодевшем от глетчеров небе. В необъятной первобытной тишине был слышен шорох осыпавшегося щебня. В ущельях дымились облака. Мы спустились к озеру. Сначала шли по зарубкам в лесу, цепляясь за мшистые камни, потом сползали, держась за канат.

На озере было солнечно и жарко. Отвесные берега, белые от известковых слоев, отражались в молочно-зеленой воде. Борец развел громадный костер, чтобы не набежали медведи: "Не разведешь костра — набегут со всех гор и будут ходить следом, выпрашивать по кусочку чурека".

На озере мы пробыли пять дней.

Все пять дней напролет около пещеры, где мы жили, весело гудел в небо костер из сухого красного дерева. По ночам мы вставали, подкладывали сучья и швыряли головешками в наглых шакалов. Быстрыми теньями они носились вокруг пещеры.

В первую же ночь они украли из-под головы борца кусок сыру. А последние четыре ночи они собирались громадными стаями на скалах и выли, нюхая горький дым костра.

Медведи бродили подальше, с опаской, выворачивали в лесу гнилые пни и устраивали по обрывам раскатистые обвалы.

Целыми днями мы ловили форелей, купались в ледяной воде, спали на белых скалах у берега, слепли от блеска озера и охотились за водяными курочками. Форель была жирная, старая и рвала лески.

В нерушимой, соборной торжественности гор, в ледяных ночах, падавших на озеро ослепительной звездной картой, была какая-то предмирная, едва улавливаемая сознанием тишина.

А вечерами лиловый, отлитый из меди, курясь багровыми туманами, загорался Марух, кровавыми мазками ложась на наши лица. Потом он гас, и только свет костра метался по мускулистым, кофейным щекам борца, курившего горькую трубку.

Мы уходили с озера после обильного ветреного дождя. Мох и глина налипали на ноги, и было трудно идти. Среди обширных, дымящихся дождями долин и лесистых цепей синими колодцами плыло далекое небо.

Ночевали мы в гулкой, пустой школе. В сумерках шел белый широкий ливень. Я до сих пор помню чувство горной, спокойной и сладкой тоски, когда я ночью

просыпался и слушал торжественные раскаты грома в ущельях Агыша" .

Такова Абхазия. Конечно, нельзя рассказать об этой стране в двухстах строках. Ее надо видеть, ибо ее богатство и красота вскрываются на месте, когда вы попадете в эти щедрые края, омытые теплым морем — одним из прекраснейших морей мира.

1928 г.

БРОСОК НА ЮГ*

(Печатается с сокращениями.)*

КОРОТКОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ

Эта книга — пятая по счету из автобиографического цикла «Повесть о жизни». В ней мне пришлось «по ходу пьесы» отойти от России и перенести действие на крайний юг — на Кавказ и в Закавказье.

Снова я попал в края, где только что установилась Советская власть. Так случилось, что все время я с большими перерывами догонял движение революции на юг. По этой причине ее развитие представляло для меня не прямую линию, а причудливые петли и возвраты.

Событий и людей в моей книге много, но все же гораздо меньше, чем было в действительности.

По довольно разумным законам драматургии, пьесы обычно делятся на несколько вполне определенных частей.

Вначале — экспозиция, то есть введение читателя и зрителя в круг людей и событий. Затем — развитие действия, после чего наступает кульминация — высший подъем, взрыв, самая напряженная часть пьесы. Тогда зрители начинают волноваться, привстают в креслах и даже вскрикивают.

В кино типичнейший пример кульминации — это погоня. Эти бешено скачущие всадники (чтобы убить врага или спасти любимую девушку) обошлись мирной, в особенности юной, части человечества довольно дорого и истрепали уйму нервов.

К сожалению, мы не знаем, как измеряется истрепанность нервов. В наш нервический век наука еще не дошла до того, чтобы найти способы этого измерения.

Подлинная жизнь, описанная мною, как это ни кажется странным, сама по себе сложилась в те годы по законам драматургии.

Первая книга («Далекие годы») может быть названа экспозицией, неторопливым введением к повествованию. Вторая («Беспокойная юность») дает развитие действия; третья и четвертая («Начало неведомого века» и «Время больших ожиданий») соответствуют наибольшему напряжению в ходе событий, а пятая («Бросок на юг») приносит с собой некоторую разрядку. Это всегда происходит в пьесах. Драматург делает разрядку, чтобы зритель немного отдохнул. А затем подходит закономерный конец.

Здесь сама жизнь устроила разрядку, сделала отступление от основной темы. Она

<http://apsnyteka.org/>

перенесла автора на Кавказ с его пестротой событий, людей и природы и, кроме того, наполнила жизнь южным оптимизмом и юмором. На юге он не иссякает ни при каких обстоятельствах и не отступает ни перед чем.

БЛАГОДАРНОСТЬ ЧИТАТЕЛЮ

.. Я думаю, что мир в равной степени достоин медленного и плодотворного созерцания и разумного и мощного действия. Созерцание — одна из основ творчества и любви к земле, в первую очередь, к своей, отечественной.

Я вижу, что разговор о Севастополе начинает заводить меня слишком далеко.

Поэтому я обрываю его и перехожу к повествованию.

Знатоки литературы, не пишущие книг, утверждают, что повествованию нужна железная последовательность. Пишущим книги остается только принять на веру этот закон и постараться выполнить его.

ТАБАЧНАЯ РЕСПУБЛИКА

Когда "Пестель" стоял в Новороссийске, на город начал надвигаться норд-ост. Появился первый признак этого бесноватого ветра: по горам протянулось облако, похожее на жгут грязной ваты. Сами же горы напоминали мертвых верблюдов с выпершими из-под пыльной шкуры ребрами.

Ватный жгут разворачивался, сползал с гор и нес с собой ветер. Надо было отваливать, пока норд-ост не успел еще обрушиться на порт. Ветер уже злорадно подсвистывал в снастях и начисто выплескивал из луж беловатую воду.

"Пестель" снялся и полным ходом начал уходить в лоре, к югу. По свидетельству моряков, норд-ост по мере удаления от Новороссийска быстро ослабевает и теряет свою разрушительную силу.

Нам удалось уйти от норд-оста.

Ночью я проснулся, увидел за иллюминатором в низом мраке озябшие огни Туапсе и снова уснул.

Засыпая, я думал, что, судя по началу, не стоит ждать от Кавказского побережья ничего особенного. Но утреннее мое пробуждение оказалось почти феерическим.

Я проснулся и долго лежал, не открывая глаз, ощущая у себя на лице чьи-то теплые ладони. От них пахло цветущей мимозой.

Это был, конечно, утренний бриз. Он заполнил каюту, лениво бродил по ней и прикасался ко всему, что попадалось ему на пути, в том числе и к моим щекам.

Сквозь полусон я вспомнил, что вот уже пятый день не брился и наверняка исцарапаю своей щетиной эти милые ладони. Мне стало стыдно, я решил тотчас побриться и, должно быть, от этого окончательно проснулся.

Позванивала якорная цепь. С палубы доносились обычные портовые возгласы: "Вира, чертов банабак! Майна помалу!"

Наконец я открыл глаза. За иллюминатором блистало солнце, занявшее половину неба и половину моря и как бы приблизившееся к земле. В его победоносном свете качалась снаружи живая стена роскошной растительности.

На нее то тут, то там были брошены разноцветные мазки из киновари, чистейших белил и охры. Я закрыл глаза, помотал головой и, снова открыв глаза, убедился, что это не мазки масляной краски, а разбросанные по листве незнакомые цветы.

"Что это? — спросил я себя и сел на койке. — Мираж? Или остров Таити? Или райские острова Самоа?"

Нет, это не было ни миражем, ни островом Таити, ни галлюцинацией после мрачной ночи. Я услышал за иллюминатором хрипловатый голос второго помощника капитана.

- Ни-ко-го! — сказал он решительно. — Никого не спустим на берег Ясно? Хоть самого Шолома-Алейхема. Приказ правительства Абхазской республики! Точка! Так что можете полюбоваться Сухумом с палубы и не полировать себе кровь. Еще, даст бог, поживете на свете и увидите все, что вам надо увидеть, и даже то, чего вам совсем не надо бы видеть.

Я быстро оделся и вышел на палубу. Блеск медных пластинок, набитых на ступеньки трапа, ослепил меня. Короткое головокружение заставило схватиться за поручни.

С берега наплывали терпкие запахи, сливаясь с чуть ощутимым шелковистым веянием роз.

Запахи то сплетались в тугой клубок, сжимая воздух до густоты сиропа, то расплетались на отдельные волокна, и тогда я улавливал дыхание азалий, лавров, эвкалиптов, олеандр, глициний и еще множества удивительных по своему строению и краскам цветов.

Я решил сойти на берег в Сухуме, чего бы это ни стоило. И не только сойти, но и остаться здесь.

Мне казалось, что если я сойду, то сбудутся мечты моего детства. Мечты о том, чтобы на худой конец хотя бы прикоснуться к ворсистым стволам кокосовых пальм, к изумрудной коре бамбука — всегда холодной и глянцевиной, к земле, розовой от кораллового песка.

Такие мечты я, когда был еще мальчишкой, называл, подражая маме, "несбыточными". Это слово я часто слышал от нее, когда она сердилась на отца. Она даже кричала на него. Когда же он, сгорбившись, покорно уходил из дому, чтобы избежать постоянных попреков, то мама плакала от жалости к нему и

брала с меня слово, что я буду всю жизнь любить его и беречь, как ребенка. "Я не могу смотреть на его сторбленную спину", — говорила она с отчаянием.

Но ни она, ни я и никто из близких не уберегли его. Это мучило маму до самой ее смерти.

В детстве я, конечно, не испытывал никакой горечи от "несбыточного". Да и не мог испытывать. Я только догадывался, что это чувство очень грустное и что оно, как однажды сказал отец, опустошает ни в чем не повинное человеческое сердце.

Когда я был уже восьмиклассником, я нашел в письменном столе у отца узкие полоски бумаги, исписанные его рукой. Я смог разобрать только одну фразу о том, что несравненно тяжелее пережить несбывшееся, чем несбыточное. о

Я смутно понял то, о чем писал отец. С тех пор слабая печаль о несбывшемся почти не оставляла меня, несмотря на мой внешне веселый характер. С тех пор меня в жизни привлекали больше всего такие случаи, обстоятельства и люди, которые оставляли ощущение промелькнувшей небылицы.

Я понял смысл отцовских слов и еще больше полюбил его, но уже на том страшном отдалении, на каком мы с ним находились сейчас. Он лежал в потрескавшейся от засухи земле, среди колючего чертополоха на деревенском кладбище под Белой Церковью, а я скитался по свету один.

Мы навсегда потеряли друг друга. Но я еще хоть изредка мог вспоминать о нем. А он меня не мог даже вспомнить.

Я твердо решил остаться в Сухуме. Но как это сделать?

"Пестель" стоял на якоре далеко от берега. Только две широкие турецкие лодки (их называли "магунами") были пришвартованы к его борту. С них лебедкой грузили на "Пестеля" обшитые холстиной тюки табака. На берег никого не пускали из-за объявленного абхазскими властями загадочного карантина.

Я пошел к капитану и сказал ему, что мне нужно, как сотруднику "Моряка", хотя бы на час съехать на берег. Капитан поморщился.

- Надо поговорить со смотрителем порта, — сказал он. — Тяжелый мужчина. Ну, все равно. Пойдемте.

Смотритель порта — человек с рыжими, как прокуренные усы, бровями — решительно и грубо отказался пустить меня на берег.

- Кредит, — сказал он грозно, — портит отношения.

При чем здесь был кредит, я не понял.

Капитан настаивал, и смотритель порта наконец сдался.

<http://apsnyteka.org/>

- Можете выкатываться, — сказал он мне, — но только в том виде, в каком вы сейчас стоите передо мной. Без чемодана, без всякого барахла и даже без кепки. И прямо отсюда на берег, не заходя в каюту.

- Почему? — спросил я, хотя прекрасно понял, что смотритель боится, как бы я не захватил в каюте деньги и не остался в Сухуме.

- Я имею привычку, — ответил он, — обижаться на лишние расспросы. Если согласны, спускайтесь в магуну. Она сейчас отвалит. А следующей магунной вернетесь. Популярнее объяснить не могу.

Я слез в магуну по веревочному трапу. Пока я еще не представлял себе, как вывернусь из этого затруднения с Сухумом. Меня успокаивало лишь то, что все деньги были при мне. Чемоданом я решил пожертвовать: там ничего ценного не было, кроме трех чистых рубах. Рукопись своей первой повести, "Романтики", я оставил в Одессе.

В магуне першило горло от табачной пыли. Через борт лениво заглядывала малахитовая волна. Грузчики-абхазцы с хищными лицами яростно кричали. Пыльные мешки были гордо обвязаны вокруг их голов.

Мне показалось, что грузчики собираются выбросить меня в море. Но смотритель порта крикнул им что-то по-абхазски. Они сразу успокоились и даже угостили меня табаком "самсун".

От этого табака у меня на несколько секунд остановилось дыхание. Солнце завертелось в небе. Абхазцы сочувственно покачали головами и нехотя взялись за тяжелые весла. Магуна поползла, переваливаясь, к таинственному берегу.

Для того чтобы понять, что происходило в то время в Сухуме, нужно рассказать про общую обстановку на том клочке кавказского берега, где простиралась у подножия гор душная и маленькая Абхазия.

Советская власть в Абхазии была установлена совсем недавно. Старое перемешалось с новым, как перемешиваются вещи в корзине от сильного толчка.

Конечно, только молодостью Советской власти объяснялись все те казусы и удивительные положения, какие возникали в тогдашней Абхазии и напоминали нравы маленькой южноамериканской республики, описанные веселым пером О'Тенри в его книге "Короли и капуста".

Первое время своей жизни в Сухуме я постоянно терял веру в действительность того, что происходило вокруг. У меня как бы расшаталось чувство времени и обстановки.

Если бы я увидел тогда на рее шхуны "Три брата" контрабандиста в крепко просмоленной петле, я бы, пожалуй, не очень удивился. Если бы в заливе

остановился круглый бронированный монитор времен войны между Северными и Южными штатами и начал швырять на Сухум ядра, маленькие, как дыньки канталупы, я не был бы особенно поражен.

Если бы моя сухумская хозяйка, семидесятилетняя мадмуазель Генриетта Францевна Жалю, бывшая гувернантка, оказалась бывшей любовницей бывшего владельца Абхазии светлейшего князя Шервашидзе, то в этом тоже не было бы ничего особенного. Я продолжал бы невозмутимо пить чай с подаренным мне престарелой мадмуазель кислейшим в мире кизиловым вареньем. Сироп этого варенья напоминал кровь горного заката.

Что же происходило в Абхазии на самом деле?

Маленькая страна, тесно зажатая с трех сторон областями, где люди умирали от сыпняка, решила спастись самым доступным и нехитрым способом — отрезать себя от остального мира и следить, чтобы ни одна мышь не перебежала границу.

Сделать это было сравнительно легко.

С севера Абхазию отгораживал Главный хребет. Единственный Клухорский перевал в то время был непроходим: выючная тропа в нескольких местах обрушилась. Днем и ночью без усталости сползали и дымили по обрывам лавины.

С севера, со стороны Сочи, и с юга, со стороны Аджарии, шоссе и мосты были взорваны во время гражданской войны и загромождены множеством осепей и обвалов.

Оставался единственный путь — море. Но на море не было пароходов, если не считать "Пестеля".

Всего легче было объявить карантин против сыпняка и никого не пускать с парохода на берег. Так местные власти и поступили.

А между тем по всему Черноморью и соседним землям ширился слух о существовании на кавказском берегу маленького рая с фантастическим изобилием продуктов и волшебным климатом. Все рвались в этот рай, но он был наглухо закрыт.

Этот рай назывался Абхазией. О ней мало знали в то время. О ней почти не было ни газетных статей, ни книг, и, кроме чеховской "Дуэли", не было напечатано ни одного рассказа, действие которого происходило бы в Сухуме.

Для меня все в Абхазии было тогда чужим — и горы, и реки, и растительность, и народ.

Огромные горные вершины-их имен я еще не знал-отчетливее всего выделялись на закатах. Их ледяные зубцы тлели густым жаром заходящего солнца.

Первое время мне с непривычки казалось, что исполинские эти хребты медленно двигаются с северо-запада на юго-восток, как бесконечная вращающаяся панорама. Чтобы избавиться от этого ощущения, я взглядывал на что-нибудь вблизи себя: на дома, на камни под ногами, — тогда горы вдруг останавливались.

Это первое, даже несколько зловещее впечатление от гор прошло только весной, когда я попал в глубь Абхазии и увидел горы во всей силе буковых лесов, в кипении пенистых рек, в размахе растительности.

У меня в Сухуме не было знакомых, и я часто бродил по окрестностям города один. Отходить далеко я не решался.

По словам старожилов, в десяти километрах уже начинался встревоженный войной и междоусобицей Кавказ. На любом повороте горной дороги можно было получить пулю в спину или погибнуть под внезапным обвалом.

Успокоение приходило на Кавказ медленно, исподволь, только с приходом Советской власти.

Поэтому дальше реки Келасуры, впадавшей в море в пяти километрах от города, я не ходил. Но и эта река была полна загадок.

На поворотах Келасура намывала маленькие песчаные косы. Они горели под солнцем, как золотой песок. В первый раз, попав на Келасуру, я намыл из этого берегового песка горсть темно-золотых чешуек — веселых и невесомых. Но через час они почернели и стали похожи на железные опилки.

В Сухуме мне объяснили, что это не золото, а серный колчедан. Но все же я его не выбросил, а высыпал горкой на подоконник. Я наивно надеялся, что под лучами солнца колчедан снова начнет излучать золотой блеск. Но этого не случилось.

Растительность тоже была загадочной — и древняя, существовавшая в Абхазии тысячи лет, и новая, пересаженная из Японии, Италии, Индии, Полинезии и других стран. Первыми на сухумском берегу развели эту заморскую растительность ученые-ботаники и местные плантаторы-садоводы.

Растительность поражала головокружительными запахами, причудливыми формами и громадными размерами.

За домом мадмуазель Жалю — последним домом в городе на горе Чернявского — стояли заросли высоких и Душистых азалий. В этих зарослях прятались шакалы. От запаха азалий болела голова.

Позади этих азалиевых полей темнела стена лакированной бамбуковой рощи. При малейшем ветре листья бамбука не шумели, как наша северная листва, а перешептывались. Если же ветер усиливался, то листья извивались, как маленькие змейки, и тихо свистели — тоже, как маленькие злые змейки.

И абхазцы казались загадочными. Большею частью это были люди сухощавые и клекочущие, как орлы. Они почти не слезали с седел. Кони, такие же сухощавые, как и люди, несли их, перебирая тонкими ногами.

Почти у всех абхазцев были профили, достойные, чтобы их отлить из бронзы.

Мужчины отличались гордостью, вспыльчивостью, рыцарской честностью, но были угрюмы и неторопливы. Работали женщины. В тридцать лет они уже выглядели старухами.

Я часто встречал женщин на дороге из горных селений в Сухум. Они брели, согнувшись, касаясь одной рукой земли, едва дыша под тяжестью мешков с кукурузой или вязанок хвороста. А впереди на лоснящихся конях ехали, подбоченясь, мужчины — мужья, а иной раз сыновья и даже внуки этих женщин. Пояски с серебряным набором сверкали на их тонких черкесах.

Они проезжали мимо с бесстрастными лицами признанных красавцев. Но все же им было не по себе. Я сужу об этом потому, что они не выдерживали прямого осуждающего взгляда, отворачивались и пускали коней вскачь.

Я пытался помочь женщинам, иногда совсем маленьким девочкам, но женщины так шарахались от меня и у них появлялась в глазах такая испуганная мольба, что я перестал помогать, понимая, что от этого им будет хуже.

Когда-то многие из этих женщин были, очевидно, красивыми. Судить об этом можно было только по глазам и пальцам. Женщины на ходу прикасались пальцами к земле, как бы отталкиваясь от нее: должно быть, так было легче тащить непосильную ношу.

Иногда я замечал у какой-нибудь старухи тонкие и нервные губы или молодой блеск глаз, и тогда становилось ясно, что эта женщина — совсем не старуха. Старухой ее сделала выучная жизнь.

Изредка женщины останавливались и вытирали тыльной стороной кисти слезящиеся глаза. Но то были слезы не горя и обиды, а бесконечной усталости.

Среди тогдашней мешанины нового и старого самым удивительным на первый взгляд было существование в Сухуме свитского генерал-адъютанта, бывшего феодального владельца Абхазии и, как говорили, морганатического мужа старой государыни Марии Федоровны князя Шервашидзе.

Его не трогали, должно быть оттого, что старый этот князь давно спился и впал в детство.

Он жил в небольшом домике на окраине Сухума. В первую советскую осень некоторые крестьяне еще привезли ему по привычке феодальную дань — кукурузу, табак, козий сыр и алычу.

В день доставки дани Сухум содрогнулся от пронзительного, просверливающего череп визга, как будто на базаре вопили, барахтаясь в мешках, сотни поросят.

То визжали несмазанными колесами арбы. Их волокли невозмутимые буйволы. Они даже не косились на черепа своих сородичей — лошадей, выставленные на заборах абхазских дворов от дурного глаза.

Услышав визг, я проснулся и выглянул в окно. Индиговое небо не грозило никакими бедами. Оно радостно трепетало. Но визг неумолимо накатывался и окружал Сухум со всех сторон.

Генриетта Францевна крикнула мне, что это жители Цебельды, Мерхеул и еще каких-то селений свозят дань Шервашидзе. Она пообещала, что визг скоро затихнет, но возобновится к вечеру, когда аробщики напьются в Духане "Завтрак на ходу" молодого вина маджарки, споют в честь родственников и знакомых застольную песню и поползут обратно.

В год моего приезда это была последняя дань. Шервашидзе предусмотрительно отказался от нее, оставив себе немного кукурузы.

Он считал себя рыцарем, этот старый князь. Он говорил на таком приподнятом русском языке, что даже русские приходили в недоумение. Я слышал его русские разговоры. Каждую фразу он начинал напыщенным словом "благоволите".

То был старик с пунцовым сытым лицом пропойцы, но с величавой осанкой. Ходил он в тонкого сукна черкеске с газырями, без погон, но с аксельбантами и, выпив, любил спать на скамейках бульвара.

ДВОЯКИЙ СМЫСЛ СЛОВА "ЛЕГЕНДА"

У слова "легенда" двоякий смысл.

Это или поэтическое народное предание (большей частью псевдонародное), или объяснение разных условных знаков на географической карте.

С детства я любил географические карты и планы и с детства же недоверчиво относился к легендарным преданиям. Особенно к восточным. Они казались мне бутафорскими.

Может быть, эта неприязнь появилась после чтения путеводителей, где рассказывалось много скучных и неестественных легенд чуть ли не о каждой пещере, скале, роднике и могиле.

Вообще же, если отбросить этот недостаток, то путеводители — увлекательные книги. Почти нет людей, которые не любили бы их читать. Еще в юности для меня и для подростков в таком же роде, как и я, каждый путеводитель был как бы бесплатным путешествием в интересные страны. Каждый путеводитель давал множество толчков воображению.

Никак нельзя было догадаться, в какие происшествия могло нас завести сухое сообщение путеводаителя о том, сколько стоит поездка на извозчике по Лисабону и нужно ли торговаться на рынке в Бриндизи.

Так вот... Стоит узнать, сколько берет извозчик в Лисабоне, как тотчас возникнет желание нанять его и проехать по старым улицам города, политым водой, к пышному собору, а потом — в порт. Там вы невзначай увидите, как ветер с океана сорвет зеленую шаль с красивой женщины, тонкой, как лилия, — я не настаиваю на этом сравнении, — и унесет эту шаль в море. А женщина, смеясь, прижмет ладонями к вискам свои черные глянцевитые волосы, чтобы их не растрепывал ветер.

Это была захватывающая и вместе с тем трудная игра — путешествия по путеводаителям. Она вся была построена на воображении. Вначале она приносила радость, а потом разочарование. Причина этого разочарования заключалась в разбуженном путеводаителями желании невозможного.

Но все же будьте милостивы к воображению! Не избегайте его. Не преследуйте, не одергивайте и, прежде всего, не стесняйтесь его, как бедного родственника. Это тот нищий, что прячет несметные сокровища Голконды.

Легенды (фольклорные) давно уже связаны для меня с гидами. Временами мне кажется, что эти легенды специально выдуманы на потребу гидам для того, чтобы занимать болтовней туристов.

В одинаковых белых войлочных шляпах, обшитых ленточками с помпончиками, с одинаковыми кизилowymi палками-рогатками, где выжжена надпись "Память о Сочи" или "Привет из Симеиза", в пыльных тапочках туристы ходят потными толпами среди всяких достопримечательностей и стараются запомнить побольше легенд.

Рюкзаки у туристов набиты сувенирами, главным образом открытками и рамками для фотографий, обклеенными морскими ракушками.

Вместо этих ракушек туристы привозят домой слоистую перламутровую труху и смутные впечатления. Но это не останавливает их в упорном рвении все осмотреть "по плану", ничего толком не увидев как следует и ничего как следует не узнав.

Я — за туризм, но без пошлости, которая его часто окружает.

Опять я нарушил последовательность повествования. В этом виновата моя непокорная память. Прошу прощения и возвращаюсь вспять, чтобы оттуда снова двинуться вперед. Возвращаюсь к географическим картам с их скупыми на слова объяснениями — "легендами". Вернее, я возвращаюсь к "легенде" Сухума, к его топографическому очерку, но буду упоминать только те места, что так или иначе сыграют роль в дальнейшем рассказе.

Отправной точкой топографического описания я беру дом и сад мадмуазель Генриетты Францевны Жалю, где я жил в то время в Сухуме.

Я располагаю описание по радиусам, убегаящим от этого низкого дома и маленького сада. Там рос у меня под окном добродушный банан со слоновыми нежно-зелеными ушами.

Но прежде чем перейти к этому описанию, я скажу несколько слов о том, как я остался в Сухуме.

Пока "Пестель" не отвалил из Сухума в Поты, я ушел из предосторожности подальше от набережной. Мне мерещилось, что меня обязательно поймут и вышлют из Сухума.

Так я добрал до горы Чернявского, а на ней — до последнего, уединенного дома Генриетты Жалю.

Старушка, несмотря на полное отсутствие у меня каких бы то ни было вещей, охотно сдала мне комнату. По стенам ее бегали мохнатые сороконожки.

Вечером, когда опасность прошла, я решил спуститься в город, чтобы поужинать в духане. Там на липких от лилового вина дощатых полах бравурно отплясывал лезгинку тощий маленький старик в толстых очках и в слишком длинной для него серой черкеске.

Его приятели, сидя за столиком, снисходительно хлопали в ладоши, а духанщик щелкал на счетах, не обращая никакого внимания на добросовестно веселящегося старика.

Старик, окончив танцевать, пригласил меня к своему столику. Он сразу узнал во мне приезжего. Вопреки моему предположению, старик был совершенно трезв и не имел никакого отношения к абхазцам или к каким-либо другим горским народам. Он оказался тифлисским евреем по фамилии Рывкин. Он служил в Сухуме в Союзе кооперативов Абхазии — Абсоюзе — и просто любил в свободное время потанцевать лезгинку.

Он тут же пригласил меня к себе в Абсоюз вести деловую переписку. Вообще в Сухуме мне чертовски повезло.

Но вернемся к топографии.

Посреди сада у Генриетты Францевны была устроена на уровне земли глубокая цементная цистерна для дождевой воды. Воды от весенних дождей Генриетте Францевне хватало почти до осени. Вокруг цистерны росли пальмы с мощными опахалами.

Рядом с усадьбой Генриетты была небольшая поляна, покрытая желтым и

лиловым бессмертником. Изредка по поляне проползали змеи.

По другую сторону поляны стоял мингрельский дом на сваях с длинной дощатой террасой. Двери и окна в этом доме были крест-накрест заколочены тесом, а вокруг разрослись такие дебри лавровишен и терновника, что подойти к дому было почти невозможно.

Позади дома шли заросли азалии. Там весь день наигрывали на дудках, как оркестр зурначей, недовольные шмели.

За этими зарослями лежала в разноцветном дыму, в бросках солнечного света, мгновенно перелетавшего (вместе с тенью от туч) через горные вершины и бездонные пропасти, в изломанном блеске глетчеров, в трепещущей листве, в клубящихся взрывах белых облачных громад над вершинами Большого Кавказа та загадочная, зовущая и пугающая страна, где погиб Одоевский, где дрался под зеленым знаменем пророка Шамиль, где был убит Бестужев-Марлинский, где насмешливо тосковал Лермонтов.

Временами мне казалось, что я вижу все это. Вижу Кавказ времен его покорения — выгоревшие шинели и околыши, коричневые лица, прогорклые трубки, завалы из колючих ветвей, быстрые струи порохового дыма, вижу весь этот взволнованный войной и "трехпогибельный Кавказ".

Вижу "серебряный венец" неприступных гор, "престолы природы, с которых, как дым, улетают багровые тучи". Все это было сказано Лермонтовым в полном соответствии с его томительной любовью и тоской. А через семьдесят лет другой поэт сказал о Лермонтове слова, похожие на рыдание:

В томленья твоим исступленным
Тоска небывалой весны
Горит мне лучом отдаленным
И тянется песней зурны...

Там, на горе Чернявского, я чувствовал себя по временам среди немирного лермонтовского Кавказа. Вернее, мне хотелось так себя чувствовать. И жизнь, по своей дурной привычке потворствовать мечтателям, щедро награждала меня чертами этого старинного Кавказа.

Невдалеке за домом Генриетты я наткнулся на обтесанный продолговатый камень. Он был так густо покрыт желтыми лишаями, что надпись, некогда выбитую на этом камне, нельзя было уже прочесть... Может быть, здесь был похоронен Одоевский? Или это была могила неизвестного стрелка? Кто мог это знать?

Во всяком случае, появился повод для того, чтобы приносить на эту могилу цветы (их расклевывали и уносили птицы), сидеть на земле, облокотившись на камень и смотреть, как у тебя на ладони тревожно и быстро дышит только что пойманная крошечная ящерица.

Несколько раз с гор приходила гроза. С наглым треском она разрывала молниями черное небо и катила перед собой, как мутный вал, гряду желтых туч.

Смерчи гигантскими волчками завивались над морем, изгибались и, будто споткнувшись, внезапно падали всей тяжестью на поверхность воды. Тогда море кипело.

Ревя, мчались по лощинам водопады, ворочая глыбы камней. Чернела и свирепела морская даль. Косые струи ливня вытягивались по ветру, почти не касаясь земли. И вдруг неожиданно вспыхивал, как взрыв, мокрый и горячий солнечный свет. Тогда несколько радуг, упираясь в устои гор, плавно подымали к небу мириады мельчайших водяных искр. Гроза кончалась.

После гроз над Сухумом повисал удушливый пар. Генриетта Францевна закрывала окна. Она говорила, что в этих испарениях размножаются невидимые миазмы. Их было так много, что становилось трудно дышать.

Миазмы, по словам Генриетты, вызывали малярию, сердечную слабость и ломоту в костях.

Было так душно, что обильный пот выступал на всем, что могло осаждать влагу. Все было мокрым и блестело, как только что вынутое из воды, — листья, заборы, скалы и черепичные крыши. Пот струями стекал с волос за шиворот и лился с пальмовых листьев, как из маленьких водосточных труб.

После одной из таких гроз я впервые испытал жестокое удушье, когда кажется, что легкие залиты свинцом. То были первые признаки астмы — безжалостной болезни, заставляющей человека дышать в четверть дыхания, говорить в четверть голоса, ходить в четверть шага, думать в четверть мысли и только задышаться в полную силу, без четвертей.

Сейчас, по прошествии многих лет, я хочу точно записать первые свои впечатления о Кавказе и Сухуме. Но я вижу, перечитывая записанное, что эти впечатления торопливы и не очень связаны друг с другом, хотя и не лишены единого ощущения места и времени.

Объясняется это, очевидно, тем недолгим и странным оставлением чувства реальности, какое завладело мною в начале сухумской жизни.

Слишком велик был разрыв между голодным и обледенелым северным побережьем Черного моря и этой щедрой по своей природе страной, пропахшей цветами мимозы.

Она была щедрой и непонятной. Здесь веками сложился удивительный быт. Страна была закована в него, как в кольчугу.

Все здесь казалось странным.

Когда князь Шервашидзе входил в духан, посетители по привычке вставали.

Учитель и писатель Дмитрий Гулиа — просветитель Абхазии — создал абхазскую письменность и открыл первый передвижной театр на арбах.

Советских денег еще не было. Ходили по рукам затертые турецкие лиры.

Шотландский пароход пришел за сухумским табаком и оставил взамен бочки с атлантической сельдью. После него пришел японский пароход и привез уйму риса и тростникового сахара. Поэтому вместо заработной платы служащим выдавали продукты. Каждые два дня давали в придачу ведро превосходного вина и пачку драгоценного табака "требизонд". В чистом виде "требизонд" курить было нельзя: он был слишком крепок и дорог. Его добавляли для вкуса к обыкновенным табакам.

На базаре продавали по рублю горных медвежат и связки окаменелых московских баранок, изготовленных, должно быть, еще до революции. Стоили баранки баснословных денег.

Побеги бамбука проламывали мостовые. За одну ночь они вытягивались на метр, а то и больше. Кровная месть не затихала. В аулах еще собирались судилища старцев.

Трудно было понять, в каком веке мы живем. На первый съезд Советов жители Самурзакани — самого непокорного края Абхазии — выбрали наиболее достойных представителей — тех, кто мог незаметно свести самого горячего коня. В этом старики-самурзаканцы полагали настоящую доблесть, а не в том, чтобы гнуть спина кукурузных полях или табачных плантациях.

В Сухуме не было никаких внешних следов войны. Страна стояла такая же нетронутая, как и полвека назад.

Одной из неожиданных для здешнего края примет недавней войны была книга Анри Барбюса "В огне", попавшая каким-то чудом в Сухум.

Первый экземпляр этой книги оказался у Рывкина.. Я тотчас же отобрал у него эту книгу. Рывкин не оказал ни малейшего сопротивления.

Я читал эту крепкую, как солдатский шаг, мужественную и человечную повесть Барбюса у себя в саду, в тени банана. Изредка я подымал глаза. Мне нужно было какое-то время, чтобы сообразить, что я нахожусь не на полях Шампани или в Арденнах, где в залитых ливнем окопах тесно смешались обе армии — и французская и немецкая — и солдаты тонут в грязи. Мне нужно было время, чтобы перенестись с полей Франции в этот нарядный от света и опьяняюще пахнущий край.

В такие минуты он казался мне особенно чуждым — лакированным и

<http://apsnyteka.org/>

одновременно тоскливым.

С некоторых пор у меня появилось ощущение, что этот край чем-то грозит мне. Угрозу эту я особенно ясно чувствовал во время закатов. Тогда в жаркую духоту впивались, как острые когти, струйки холодного воздуха и вызывали легкий, озноб.

Я восторгался книгой Барбюса, особенно последними страницами, где приросшие к земле солдаты говорят о великой справедливости. Имя Либкнехта неожиданно вспыхивает в разговоре как реальная и близкая надежда на пришествие новых времен.

Каждый раз, доходя до этого места, я испытывал глухое волнение и почему-то начинал думать о себе: двигаюсь ли я вперед или погружаюсь в оцепенение. Судя по тому, что я сам задавал себе этот вопрос, я был еще жив. Это меня успокаивало.

ЗАКОЛОЧЕННЫЙ ДОМ

Вдоль сухумской набережной тянулись тогда темноватые и низкие духаны с удивительными названиями: "Зеленая скумбрия", "Завтрак на ходу", "Отдых людям", "Царица Тамара", "Остановись, голубчик".

В каждом духане висело на стене напечатанное крупным шрифтом объявление: "Кредит никому!" Только в одном из духанов это неумолимое предупреждение было выражено более вежливо: "Кредит портит отношения".

В окне парикмахерской тоже была своя вывеска: "В кредит не освежаем".

Объявления о кредите висели повсюду, даже около уличных шашлычников. Они готовили шашлыки на замысловатых сооружениях: к железному стержню были припаяны одна над другой продырявленные жестяные сковородки. На них клали по отдельности куски баранины, помидоры и нарезанный лук. Под сковородками наваливали гору пылающих углей, медленно вращали стержень, и шашлыки жарились, вертясь, в горячем соку лука, лопнувших помидор, в собственном жиру и распространяли по Сухуму жестокий чад. Временами этот чад был слышен даже на рейде. От него першило в горле.

Объявления о кредите были только живописной подробностью сухумской жизни: На самом деле во всех духанах посетители и пили и ели в кредит еще со времен царицы Тамары. Попытка расплатиться тут же вызывала у духанщиков полное недоумение. Поэтому было совершенно непонятно, кто придумал этот лозунг и заклеил объявлениями о кредите весь Сухум.

Крикливые бородатые водоносы бродили по набережной с маленькими, увитыми плющом бочонками с холодной водой. У каждого водоноса тоже висела на бочонке табличка с предупреждением о кредите. Даже чистильщики сапог вешали эту табличку около своих нарядных ящиков.

Каждый чистильщик украшал свой ящик открытками, колокольчиками и портретами то Венизелоса, то католикоса Армении, в зависимости от национальности чистильщика.

Чистильщики делились на стариков и мальчишек. Людей средних лет между ними не было.

По утрам сухумцев будил отчаянный барабанный стук щеток по ящикам. Это мальчишки-чистильщики занимали свои посты и лихо отщелкивали щетками такт популярной в то время песенки "По улицам ходила большая крокодила! Она совсем голодная была". Старики только укоризненно качали головами.

Среди стариков был древний курд, своего рода патриарх чистильщиков. Говорили, что он уже тридцать лет сидит на одном и том же месте около пристани. Огромные щетки мягко ходили в его руках. Глянец старик наводил одним небрежным мановением красной бархотки. Все относились к этому курду с большим уважением. Даже капитан "Пестеля" здоровался с ним за руку.

И вот этому старику привелось сыграть жестокую роль в истории с заколоченным домом — тем домом, что стоял в непосредственной близости от усадьбы Генриетты Францевны.

Старушка рассказала мне историю этого дома. В Сухуме враждовали два рода. Вражда эта окончилась тем, что в одном роду остался в живых единственный мужчина — сосед Генриетты Францевны. В 1900 году этот человек, чтобы спастись от неминуемой смерти, бежал с женой в Турцию.

Такие случаи не всегда спасали людей. На памяти Генриетты Францевны был пример, когда человека, бежавшего от кровной мести, разыскали даже в Америке и там застрелили.

Семья, враждовавшая с соседом Генриетты Францевны, сбежавшим в Турцию, вскоре переехала из Сухума в аул Цебельду, и месть, не получая свежей пищи, погасла.

По абхазским поверьям, дом, где была кровная месть, считался проклятым. Его обычно заколачивали, и никто не хотел в нем селиться.

"Проклятые" дома постепенно разрушались от старости. Тогда их сносили.

После рассказа Генриетты Францевны я несколько иначе стал смотреть на этот заколоченный дом. Я начал замечать в нем зловещие черты.

На чердаке во множестве жили (или, вернее, спали вниз головой) летучие мыши. По вечерам они просыпались и носились у самого лица, качаясь и попискивая. На деревянных стенах дома светились трухлявые сучки. Они были похожи на злорадные зеленые глаза. И день и ночь жуки-древоточцы прилежно грызли

деревянные стены дома. Очевидно, дом вскоре должен был рухнуть.

Однажды я задержался в городе. Из Абсоюза я зашел в редакцию маленькой сухумской газеты и там написал короткую горячую статью против кровной мести. Редактор, читая ее, только чмокал языком.

- Нельзя печатать, — сказал он наконец и хлопнул по рукописи ладонью. — Понимаешь, кацо, невозможно так неожиданно отнимать у людей их привычки. Надо действовать дипломатично. Тысячи лет они резали друг друга, кацо, — и вдруг запрещение! Ты мне не веришь, кацо, но клянусь своей дочерью, что автора этой статьи немедленно убьют на пороге редакции. Ты понимаешь, что я, как редактор, не могу этого допустить.

Ничего не добившись от редактора, я ушел. Я оставил его в состоянии унылого размышления. Он морщил лоб и тер синим карандашом за ухом.

За окнами шевелились от ветра кусты лавров.

Я пошел домой. Шел я всегда медленно и глубоко дышал, — никак не мог привыкнуть к терпким запахам здешнего вечера.

На повороте к своему дому я остановился.

Остановился я оттого, что скала, мимо которой я всегда проходил в темноте, притрагиваясь к ней рукой, чтобы не сбиться с пути и не сорваться в обрыв, была освещена огнем керосиновой лампы.

Я поднял глаза.

Заколоченный дом был открыт, все доски с окон и дверей сорваны, а комнаты сверкали от огня ламп. Кто-то, очевидно приезжий, пренебрег абхазскими суевериями и смело раскупорил дом.

Около калитки стояла Генриетта Францевна. Она схватила меня за руку и, задыхаясь, сказала:

- Скорей! Плю вит! Плю вит! Пожалуйста! Она дрожала, и голос у нее срывался.

- Что случилось? — спросил я испуганно.

- Скорей! — громким шепотом повторила она, покачнулась и схватилась за забор. — Господи, какое несчастье! Бегите скорей, я вас умоляю!

- Куда? — спросил я, совершенно сбитый с толку.

- Он вернулся из Турции, — громко сказала Генриетта Францевна.

И мне стало страшно оттого, что она дрожала все сильнее. Я подумал, что у нее

начинается истерический припадок.

- Он вернулся сегодня днем из Турции, — ясно и громко повторила она. — Скорее бегите в милицию и скажите там, что он вернулся. Его зовут Чачба. Господи, какое несчастье!

Я, ошеломленный, ничего толком не понимая, почти бегом спустился с горы Чернявского.

Во дворе милиции на низеньком столе при свете фонаря "летучая мышь" три милиционера играли в нарды. Под забором громко жевали оседланные поджарые лошади, привязанные к пальмам.

Милиционеры были так увлечены игрой, что даже не взглянули на меня. Я подошел и сказал им, что сегодня вернулся из Турции некий Чачба и поселился в заколоченном доме на горе Чернявского.

Я не успел договорить. Милиционеры вскочили и бросились к оседланным лошадям. Они что-то гортанно кричали высунувшемуся из окна дежурному и торопливо отвязывали коней. Потом они вскочили в седла и умчались с бешеным топотом на гору Чернявского. Снопы искр летели из-под подков лошадей. Ночь вдруг запахла порохом и кровью.

Я бросился бегом за милиционерами. Но на полпути к горе Чернявского они так же бешено проскакали мимо меня, возвращаясь в город. Я едва успел спрыгнуть в придорожную канаву.

Проклятый дом был все так же ярко освещен. Лампы коптили.

На террасе около лестницы лежал, раскинув руки, седой человек с добрым лицом. Из его простреленной груди еще стекала кровь и глухо и медленно капала со ступеньки на ступеньку. Рядом с убитым сидела на полу пожилая красивая женщина. Она прижимала к груди мальчика лет пяти и смотрела прямо перед собой. Подходя, я пересек линию ее неподвижного взгляда и содрогнулся — такой иступленной ненависти я никогда еще не видел в глазах людей.

Было ясно, что эта женщина пошлет этого маленького мальчика, как только он подрастет, мстить за отца. И ничто в мире не сможет смягчить ее сердце и заставить отказаться от кровопролития.

Генриетта Францевна была права, когда торопила меня. Милиционеры опоздали.

Через несколько дней, когда женщина с мальчиком исчезла (говорили, что она, боясь за сына, бежала в Ростов-на-Дону), все наконец выяснилось.

Чачба вернулся на турецком грузовом пароходе из Трапезунда. На пристани его сразу же узнал старый курд — чистильщик сапог. Он пристально посмотрел на Чачбу и медленно поднял ладонь ко лбу.

Чачба почистил у курда сапоги. От радости, что спустя двадцать с лишним лет он вернулся на родину, Чачба без умолку говорил с чистильщиком. Говорил, что вот прошла война и революция и теперь в Абхазии, наверное, все изменилось. Никто никого не убивает из мести, люди поумнели и живут счастливо и дружно.

Чистильщик неохотно поддакивал и все поглядывал по сторонам. Но Чачба был счастлив и не заметил ни хмурости чистильщика, ни его бегающих глаз.

Как только Чачба погрузил свои вещи на арбу и уехал на гору Чернявского, чистильщик неторопливо пошел на базар. Там было в те времена много извилистых дворов-лабиринтов, где можно было заблудиться в нескольких шагах от выхода на улицу.

То было нагромождение дощатых конур и бесчисленных маленьких сараев, где со свистом шипели примусы, стучали молотками сапожники, ревели, изрыгая синее пламя, паяльные лампы, варился густой турецкий кофе, шлепали и прилипали к столам засаленные карты, кричали простоволосые женщины, обвиняя во всех смертных грехах ленивых и пренебрежительных мужей, клекотали, как старые орлы, старцы в обмотках и солдатских бутсах, и вдруг через весь этот базарный беспорядок и крик проходил, колеблясь на стянутых кожаными чулками ногах, статный красавец в черкеске с откидными рукавами и томным головокружительным взглядом.

Курд дождался такого красавца и что-то шепнул ему. — Хорошо, батоно! — ответил ему вполголоса красавец. — Ты получишь завтра свои сто лир.

Красавец повел по сторонам глазами с поволокой, сжал сухощавыми коричневыми пальцами рукоять кинжала и, как дикая кошка, бесшумно, на мягких ногах выскочил на улицу.

Через десять минут он уже скакал, пригнувшись к луке седла, в аул Цебельду, чтобы привезти обитателям одного из цебельдинских домов ошеломительную весть о возвращении в Абхазию неотмщенного врага Чачбы.

Тотчас два всадника помчались из Цебельды в Сухум к заколоченному дому на горе Чернявского.

Горяча коней и держа наготове обрезы, они вызвали на террасу Чачбу. Он вышел безоружный, протянул оба руки прошлым врагам и так и упал, убитый наповал, с протянутыми для примирения старыми и добрыми руками.

Убийц, конечно, не нашли. Они ускакали в Сванетию, а туда в те времена могли проникнуть только вооруженные отряды.

Через несколько дней кто-то поджег проклятый дом. Случилось это утром, а к полудню дом сгорел дотла. Ветра не было. Весь огонь уходил к небу, не бросаясь по сторонам. Несколько дней у нас пахло пожарищем, но вскоре эта гарь

сменилась обычным крепким запахом азалий.

МАЛЬПОСТ

Этот первый случай кровной мести, который я видел воочию, вскоре соединился со вторым. В памяти эти два случая сохранились рядом и как бы слились. Поэтому я и пишу о них без временного разрыва.

От Сухума до Нового Афона ходили в то время так называемые "мальпосты". Это было единственное средство сообщения с Афонским монастырем.

До войны по кавказскому побережью ходили еще и дилижансы.

Дилижанс представлял собой громоздкую карету (проще говоря, колымагу). В нее запрягали четверку лошадей. Пассажиры тесно сидели внутри колымаги и на ее крыше — империале.

Кроме того, в дилижансе было устроено два сидячих места снаружи, на запятках. Там были приделаны маленькие железные сиденья, но без подпорки для ног. Тут же были привинчены железные ручки, чтобы пассажиры могли держаться за них и не вылететь от толчков на дорогу.

Еще в детстве, в Киеве, я видел такие дилижансы. Они ходили в Житомир, были выкрашены в желтый цвет, и на дверцах у них сияла медная накладная эмблема почтового ведомства — два скрещенных почтовых рожка и две пересекающиеся молнии. Очевидно, изображение молний указывало на участие электричества в деле телеграфной связи.

Еще с тех лет, повитых туманом времени, я запомнил несчастные фигуры запяточных пассажиров, трясущихся на жестких сиденьях. Одной рукой они судорожно держались за железную ручку, а другой придерживали пыльный котелок или картуз. В глазах у них было тупое отчаяние. От невыносимой тряски по булыжной мостовой в одежде у этих пассажиров все расстегивалось и развязывалось. Ни разу я не видел их без того, чтобы у них не болтались из-под брюк тесемки от кальсон и пиджаки не налезали горбом на голову.

Мы, мальчишки, были уверены, что на запятках ездят только шулера и маклаки. Но, несмотря на невообразимые мучения, какие на наших глазах испытывали эти пассажиры, мы им даже завидовали.

Я, например, мечтал, чтобы на пяточки, сбереженные из родительских выдач на завтрак, купить билет на дилижанс до Житомира и тарахтеть среди сосновых лесов, гроыхать по шатким мостам через болотные речки и отбиваться ногами от осатанелых деревенских собак.

Ноги у запяточных пассажиров висели без всякой опоры, болтались из стороны в сторону и невероятно раздражали собак.

Таков был широкий, уемистый и даже несколько величественный в своей неуклюжести дилижанс.

Рядом с дилижансом мальпост (обыкновенная линейка на шесть человек, где пассажиры сидели спиной друг к другу) казался сооружением хлипким, дребезжащим от неуверенности в себе, но с претензией на некоторый шик. Каким бы обшарпанным он ни выглядел, над ним на двух железных шкворнях всегда был натянут полотняный навес от солнца с красными бархатными помпончиками по краям.

На таком мальпосте мы как-то ехали с Бабелем из Сухума в Новый Афон. Бабель к тому времени уже перебрался из Одессы в Батум и жил там, утопая в буйных тропических зарослях Зеленого Мыса.

Как Бабель попал на несколько дней из Батума в Сухум, этого я не помню. Скажу только, что любознательность Бабеля разрушала все преграды.

Итак, мы ехали в Новый Афон с попутчиками. Среди них был толстый курносый человек в маленькой жокейской кепке. Он пробирался в Новый Афон, где надеялся устроиться счетоводом.

Кроме курносого, с нами ехала волоокая тучная девица в тугом черном платье. На каждом ухабе это платье издавало зловещий треск. При этом девица каждый раз испуганно вскрикивала: "Уй-мэ!" — и натягивала платье на коленные чашки величиной со средние желтые тыквы.

Рядом с ней сидел подслеповатый юноша из интеллигентов в золотом пенсне. Когда мальпост наклонялся на поворотах, длинные ноги этого юноши соскакивали с подножки и скребли по земле, подымая густую пыль.

Без всякого побуждения с нашей стороны он объяснил нам, что пенсне досталось ему в наследство от деда — единственного дантиста в Сухуме, а он, юноша, едет в монастырь в надежде устроиться там певчим. У него очень высокий тенор, а в монастыре, по его сведениям, здорово кормят, иногда даже дают рыбный холодец.

Последним пассажиром был неопределенного возраста человек с землистым лицом в выгоревшей солдатской гимнастерке. На наши расспросы человек этот отвечал неохотно и непонятно, и мы решили оставить его в покое.

Я так подробно описываю попутчиков, что читатель может подумать, будто все эти люди сделаются героям" дальнейших событий. Ничего подобного. Никто из них ней сделается героем. Описываю же я их так обстоятельно только потому, что Бабель несколько раз показывал потом этих людей в лицах. Я смеялся до слез. Поэтому я так хорошо и запомнил этих попутчиков.

Мы ехали не торопясь, наслаждаясь жарой и созревшей шелковицей. Она густо

усыпала дорогу.

Изредка мы обгоняли буйволов, волочивших арбы. Каждый раз мне казалось, что буйволы идут не впереди а назад: так медленно и неохотно они переставляли ноги.

При каждой встрече с буйволами юноша в пенсне произносил одну и ту же фразу, цитируя не то Фенимора Купера, не то Майн-Рида: "Когда стадо буйволов машет хвостами, отгоняя мух, дикий ветер бушует над прерией".

А возница, старый мингрел, только причмокивал от восхищения губами:

- Аи, как ты говоришь красиво, кацо! Прямо как в песне!

Так мы ехали в одури летнего дня, ослепленные белым блеском моря, и не ждали никаких событий. Но они случились, как всегда, внезапно.

Начались они с настигавшего нас дробного стука подков.

Мы оглянулись. Нас догонял молодой всадник неправдоподобной красоты — смуглый, тонкий и томный, как баядерка.

Всадник был обтянут, как корсажем, бордового цвета черкесской с белыми костяными газырями. Маленькая кубанка была задвинута ему на глаза. Кроме кинжала, у него на боку висел тяжелый маузер.

Гнедой конь, екая селезенкой, быстро обогнал нас размашистой рысью. Позади всадника скакал запыленный ординарец.

Когда всадник поравнялся с нами, мы увидели его окаменелое лицо и глаза, исступленно смотревшие в одну точку, как у слепого.

- Инал-Ипа! — вполголоса сказал возчик. — Большой начальник! Комиссар!

- Чего комиссар? — спросил Бабель.

- Чрезвычайна комиссия, — таинственно подмигивая нам, проговорил возница. — Комиссия! Чрезвычайна!

- Уй-мэ! — с уважением воскликнула девица и обтянула платье на своим могучих коленках.

Все были взволнованы этой встречей, кроме человека в гимнастерке. Он скрутил папиросу, выбил из кремня огонь, затянулся и неохотно заметил:

- Видали мы и не таких фазанов.

Он осекся и замолчал. Мы подъезжали к селению Эшеры. Оно лежало на половине

<http://apsnyteka.org/>

пути между Сухумом и Новым Афоном.

И вот из этого селения донесся короткий треск пистолетных выстрелов. Потом, казалось, прямо в небо рванулся отчаянный крик многих людей. Вслед за криком захлопали и затрещали торопливые выстрелы, и пуля, ударив в дорогу рядом с нами, метнулась в сторону, взвизгнула, подняла полоску пыли и исчезла.

Курносый соскочил с линейки и бросился в кусты. Возница бестолково задержал вожжами и свернул в придорожную канаву. Мальпост накренился. Одно его колесо висело в воздухе.

- Уй-мэ! — закричала девица, подобрала ноги и прижалась к долговязому юноше.

Несколько пуль резво свистнуло над нашими головами, и мы снова услышали топот подков. Теперь он был захлебывающийся, неистовый. Казалось, что подковы отлетают от копыт из-за этой стремительной скачки и несутся, свистя, вдоль дороги.

- Похоже, что пальба, — уныло определил человек в гимнастерке. — Надо бы лечь за камень.

Но он не двинулся с места.

Бабель снял очки и начал смеяться. Лицо его покрылось множеством морщинок, особенно около глаз.

- Вы чего? — спросил я.

- Готовая глава, — ответил он и закашлялся, — из романа Немировича-Данченко "Среди пороховых легенд и седого дыма". Или из его же романа...

Но Бабель не успел досказать, из какого второго романа Немировича-Данченко была эта глава. Очевидно, действие главы еще не окончилось. Бабель замолк потому, что увидел, так же как и все мы, что Инал-Ипа бешено скачет нам навстречу уже со стороны Эшер и совсем не в таком виде, как пять минут назад.

Он потерял кубанку. Волосы у него спутались и падали на глаза. Он бил своего коня рукояткой пистолета по жилистой мокрой шее. Конь нес его бешеным карьером, как-то боком, как бы оглядываясь назад.

Следом за Инал-Ипой скакал тот же запыленный ординарец и на ходу отстреливался.

Всадники промчались с быстротой призраков. Пальба стихла. Возчик встал с земли и перекрестился.

- Похоже, что в Эшерах восстание, — заметил человек в гимнастерке. — Горцам к этому не привыкать.

Никто из нас ничего не понимал. Надо было решать, что делать дальше, — ехать ли через Эшеры в Новый Афон или возвращаться в Сухум.

Курносый, не дождавшись общего решения, вылез из кустов и пошел обратно в Сухум.

- Уй-мэ! — гневно крикнула девица и щедро плюнула вслед курносому.

Этот плевок решил дело. Мы постановили ехать дальше. Всем хотелось узнать, что случилось в Эшерах. Возница вздохнул, и мальпост, дребезжа развинченными гайками, двинулся навстречу своей неизвестной судьбе.

За поворотом шоссе мы встретили вооруженных эшерцев. Они не остановили нас и ни о чем не спрашивали. Вряд ли они даже заметили нас, так они были возбуждены.

В Эшерах все население толпилось на улице. Женщины голосили, стоя на пороге домов, царапали себе в кровь лица и рвали волосы. Дети бежали к сельской площади. Посреди площади рос огромный вяз. Туда же, к вязу, торопливо шли мужчины, яростно жестикулируя и разряжая на ходу обрезы и карабины.

Под вязом лежал юноша лет пятнадцати, не больше. Голова его была прислонена к седлу.

Рубаха на груди юноши была разорвана, и в ложбинку над впалым животом натекла лужица крови.

Юноша был мертв. Вокруг него стояли, опираясь на узловатые посохи, сельские старейшины. Они смотрели на мертвого и молчали. Люди, подходя к убитому, тоже замолкали, и лишь время от времени кто-нибудь подымал над головой кулак и кричал что-то гортанное и злое — должно быть, проклятие убийце.

Маленькая девочка в длинной черной юбке сидела рядом и, не спуская глаз с мертвого, сгоняла мух с его лица отломанной веткой.

Возница поговорил с эшерцами. Слушая их ответы, он преувеличенно сокрушался, бил себя руками по пыльным шароварам и ненатурально закатывал глаза. При этом виднелись его коричневые белки.

Тогда в Абхазии еще не всюду существовал советский народный суд. В большинстве селений еще судили старейшины. Законами были обычаи и собственное разумение.

Суд старейшин всегда собирался под вековым священным деревом — дубом или вязом.

В это утро старейшины сошлись, чтобы судить юношу, укравшего седло.

Мы подошли к убитому. У него был нежный профиль итальянца. Девочка, как заводная, махала веткой над его головой. Иногда ветка задевала широкое стремя на седле, и тогда возникал тихий звон. Он напоминал долгие, мерные звуки похоронного колокола.

Инал-Ипа узнал о краже седла и прискакал из Сухума в Эшеры, чтобы присутствовать на суде.

Здесь, на суде, он встретился со злейшими своими врагами — князьями Эмухвари.

Что произошло дальше, никто в точности не мог нам объяснить. Между братьями Эмухвари и Инал-Ипой началась перестрелка. В этой перестрелке неизвестно кем был убит юноша, укравший седло.

Эмухвари закричали, что юношу застрелил Инал-Ипа, совершив беззаконие и надругавшись над судом старейшин. Застрелил он юношу якобы потому, что его род был в кровной вражде с родом этого юноши.

Мужчины схватились за оружие. Но Инал-Ипа успел ускакать.

За Эшерами дорога оказалась совершенно разбитой. Мы слезли с мальпоста и пошли дальше пешком.

День будто окунули в безмолвие. Даже цикады молчали, и не звучала жара. Обыкновенно она издает тихий писк, подобно воде, когда она просачивается в узкую щель. Море тоже молчало, перегретое солнцем. Оно постепенно затягивалось паром.

В монастыре было безлюдно. В саду, в маленьких цементных бассейнах, куда отводили из горного ручья воду для поливки, плавали золотые рыбки. Очевидно, они голодали, потому что тотчас собирались стаями у того края бассейна, где останавливались люди. Вокруг сильно, по-церковному, пахло нагретым кипарисом.

В соборе шли еще службы, но монахов в монастыре осталось всего несколько человек. Ими распоряжался отец-келарь — рыжий, конопатый, с брезгливым голосом.

Он отвел нас в пустую и гулкую гостиницу и дал комнату. Тучная девица попрощалась и ушла в какой-то поселок в горах к своему брату, юноша в пенсне и человек в гимнастерке исчезли.

- Вас, как людей образованных, — сказал отец-келарь, посмотрев наши удостоверения, — прошу держаться в рамках. Здесь в соседнем номере помещается госпожа Нелидова. Больше в гостинице никого нету. Она прибыла к нам, дабы отдохнуть от мирского безобразия и скверны. Светская, но монашески

настроенная женщина. Пешком пришла из Сухума. По обету. Вся — в правилах и очень строга. Ходит в черном. Как инокиня.

- Да-а, — сказал Бабель. — Видно, кремень-старушка.

Отец-келарь усмехнулся.

- Что вы, гражданин! — сказал он укоризненно. -о Ей от силы тридцать лет. Весьма привлекательная дама. Но предупреждаю: строга.

Келарь скосил глаза в сторону и сказал деловым тоном:

- У нас в трапезной, молодые люди, можете приобрести хлеб и холодец, а у меня в кладовой — вино маджарку. Милости просим! Я сам виночерпий и винодел, так что за маджарку ручаюсь. Других вин в соответствии с ходом событий пока что не делаем.

Всякие вина есть на свете. Я перепробовал много вин, но такого бешеного вина, как маджарка, не встречал.

Если на Новом Афоне нам обоим мерещилась всякая чертовщина, то, конечно, только от этого мутноватого вина. А может быть, еще и оттого, что мы уверяли себя, будто никакие земные тревоги не смогут добраться сюда, даже на злополучном мальпосте.

В монастырской гостинице мы с Бабелем много говорили и, наконец, выяснили, что человеку иногда не хватает беспечности. Мы были молоды тогда, шутливы, и нам нравилось так думать.

Когда человек беспечен, то все прекрасное оказывается рядом с ним и часто сливается в один пенистый сверкающий поток, — все прекрасное: хохот и раздумье, блестящая шутка и нежное слово, от которого вздрагивают женские губы, стихи и бесстрашие, извлечения из любимых книг и песни — и еще многое другое, чего я не успею здесь перечислить.

Нашу молодость и пристрастие к выдумкам мы решили подкрепить молодым вином, маджаркой. Это было вино для бедных, очень дешевое. Маджарка действует с утра до вечера. А потом, рано утром, сдоит только выпить стакан холодной воды (лучше всего из ручья), как опьянение начинается снова и тянется почти весь день. В этом случае оно бывает особенно светлым.

В общем, я сходил к отцу-келарю и принес в номер, пропахший кислой капустой, пять бутылок маджарки.

Возвращаясь с бутылками, я встретил в темноватом коридоре молодую монахиню. От неожиданности я уронил бутылку.

Молодая монахиня не дрогнула. Она прошла мимо, опустив неестественно

длинные ресницы, и черный кашемир ее платья случайно прикоснулся к моей руке. От него пахло душистым теплом.

Монахиня чуть покачивалась на высоких бедрах. Я не рассмотрел в полутьме ее лица. Заметил только, что оно было покрыто той матовой бледностью, какая всегда считалась непрямым условием женской красоты (для этого, очевидно, и была придумана пудра). Я не заметил и ее волос, — они были спрятаны под черной косынкой.

Мне показалось, что, немного отойдя от меня, молодая монахиня издала короткий звук, похожий на сдержанный смех.

Дело в том, что у себя в кладовой отец-келарь дал мне попробовать маджарки. Мы выпили с ним по доброму стакану, и потому свое волнение при встрече с монахиней о- это, конечно, была Нелидова — я объяснил быстрым действием этого вина.

На стук упавшей и покотившейся бутылки Бабель открыл дверь из номера и выглянул в коридор.

- Вот! — сказал он с торжеством. о- Я так и знал, что вы разобьете...

Но он не окончил, замолчал и уставился в глубину коридора. Туда падал отблеск заката, и в его дымном сиянии шла спиной к нам, колеблясь и удаляясь, молодая женщина.

- Апофеоз женщины! — неожиданно сказал Бабель. — Пошное слово — "апофеоз", но если бы у меня хватило остроты нервов, я написал бы такую вещь для прославления женщины, что Черное море от Нового Афона до самых Очамчир покрылось бы розовой пеной. И из нее вышла бы вторая русская Афродита. А мы с вами — глупые, нищие, пыльные, изъеденные проказой цивилизации — встретили бы ее приход слезами. И испытали бы счастье прикоснуться с благоговением даже к холодному маленькому ногтю на ее ноге. К холодному маленькому ногтю.

- Бред! — сказал я Бабелю. — Вы же еще не пили маджарки.

- Конечно, бред! — ответил он и распахнул окно. — Идите-ка лучше сюда!

С треснувшей рамы посыпались засохшие мухи и ночные бабочки.

И тотчас в окно вошел величавый голос моря, порожденный тысячами набегающих волн. Они как будто колыхали золотой жар заходящего солнца. Они несли сохранившиеся среди этих необъятных вод в течение столетий и тысячелетий запахи мрамора и олив, горных склонов с высохшей до пепла травой и островов, где шелестят крупными листьями смоковницы.

"Кого мы должны благодарить за это чудо, которое нам так щедро дано? —

<http://apsnyteka.org/>

подумал я. — За жизнь?"

Не знаю, может быть, я подумал не так гладко, как написано здесь, даже наверное не так гладко, но я мог подумать и так.

Я сидел на подоконнике и смотрел на закат. И мне казалось тогда, что я самый счастливый, даже несправедливо счастливый человек на всем свете.

С Нелидовой мы так и не познакомились: на следующий же день шел в Сухум моторный дубок "Лев Толстой", и мы, боясь застрять в Афоне, уехали на нем, не испытывая особого сожаления.

Горы слишком близко прижимали монастырь к морю, теснили его, почти сталкивали в воду. В гостинице пахло прогорклым постным маслом и уборными. Собор был расписан сладенькими картинками из Ветхого и Нового завета. На этих картинах все люди были в голубых и розовых одеждах и возводили очи к куполу. Там парил, сидя на пухлом облаке, седобородый и хмурый бог Саваоф. Из-под подола его хламиды виднелись толстые ноги в обыкновенных кожаных сандалиях. Очевидно, художник не решился изобразить Саваофа босиком.

Нелидову я снова встретил рано утром в день отъезда в унылом коридоре. Голова ее была в папильотках, от нее пахло паленой бумагой, и я не заметил в этой женщине вчерашней прелести.

Увидев ее припухлое лицо, я почувствовал глухое раздражение, а Бабель, ядовито блеснув глазами, сказал: — Вот что делает маджарка, молодой человек.

Бабель прожил в Сухуме всего пять дней и уехал к себе в Батум. И снова я остался в томительном одиночестве.

СРЕДСТВО ОТ МАЛЯРИИ

За границей маленькой Абхазской республики с ее тяжелым, сырым воздухом и сплошными зарослями незнакомой растительности шла громкая и интересная жизнь. Но в нашей газетке, похожей на афишу заезжего фокусника, жизнь эта отражалась только в двух-трех коротких заметках.

Мне казалось, что я глохну от разраставшихся на глазах тропических джунглей и слепну от белого солнца. Оно затопило навсегда морской простор за моим окном.

Вскоре у меня началась малярия. Она трясла меня каждые пять дней. Тело пахло укусом. От хины шумела голова, синели руки и трескались ногти.

После малярийного приступа с его беспощадным ознобом и предсмертным кружением сердца оставалась такая вязкая слабость, что мне было трудно вытянуть руку.

Меня мучили длинные и однообразные сны. Они обрывались на одном и том же

месте и тут же начинались снова с неумолимой последовательностью.

Я знал все, что сейчас произойдет во сне. Знал, что в самом важном месте он прервется и я буду долго ждать, пока он снова придет ко мне и начнет повторять все одни и те же, но каждый раз все более тусклые свои картины.

Бывало, я стонал ночью, пытаюсь прогнать сны, но никто никогда не отзывался на мои стоны. Мадмуазель Жалю помещалась в маленьком низком флигеле во дворе и не могла меня услышать, а две соседние комнаты пустовали.

Мадмуазель Жалю считала малярию не болезнью, а одержимостью. Она говорила, что малярики живут в своем странном мире и для них нет никаких тайн.

Я пытался записывать эти сны, но тут же бросил. Но года три назад, роюсь в старых рукописях, я нашел узкие полоски бумаги, покрытые рыжими строчками, будто человек вместо чернил писал черным кофе.

На этих полосках и были записаны тогдашние сны. Но Ни один из них не был доведен до конца.

Вся запись состояла из отрывочных фраз. Но в общем она давала какое-то представление о сне.

Вот эти записи. "Поиски человека... маленькой девочки, должно быть, дочери... Мне ни разу не удалось увидеть ее. Она исчезала в толпе. Искал всюду. Помню ночную реку. По ее зловещему блеску я догадывался, что в этой реке нет воды, а вместо нее течет и едко пахнет жидкий деготь.

Была, кажется, война, и где-то за лесом фабричных труб и бесплодных холмов перекатывалась канонада. Но никто не обращал на это внимания.

Чаще всего я искал ее на окраинах какого-то города, совершенно чужого и незнакомого. Там в палисадниках в пустом свете фонарей росли цветы, черные от копоти. Серая, как шкура змеи, окраинная ночь никогда не темнела.

Я выходил в поля, где немощно и сонно шумели маленькие хилые рощи. Но нигде я не видел ее. Может быть, ее вообще не было на свете?

Однажды я остановился на сухой равнине, обдуваемой ночным ветром. Издалека, как обещание покоя, доносился нескончаемый рокот моря. Потом я услышал сквозь этот рокот легкие детские всхлипывания рядом с собой. Я бросился к ней, я видел ее бледное и очень худое лицо в тусклом свете воздушных бомбардировок. Я обнял сырыми руками ее теплую слабую шею с выступающим маленьким позвонком".

В этом месте я просыпался весь в испарине. Среди ночи приходилось снимать и выжимать рубаху. В неясной темноте я видел, как белеют мои ногти на пальцах, и каждый раз удивлялся, что вижу их в темноте.

Никого не было вокруг. В эти сухумские ночи я испытывал полную затерянность в мире, и временами мне становилось жаль самого себя.

Вся прошлая жизнь представлялась мне в виде сплошных горестей и ошибок. Я вспоминал маму, Галю, Лелю, цепь смертей и бед. Даже теперь, на расстоянии нескольких лет, я не хотел верить в смерть Лели. Самое существование смерти казалось мне издевательством. Я считал, что все живые существа, чувствующие себя бессмертными, не должны и не могут умирать.

"Кто смел, — думал я, — так подло обойтись с нами, с людьми, способными создать внутри себя мир чувств, мыслей и событий, настолько великолепный, что действительность порой кажется перед ним неуклюжей выдумкой?!" Сознание своего превосходства над природой доставляло мне странную радость, хотя я знал, что у природы было в руках более сильное оружие, чем у меня, человека.

Я твердо верил в бессмертие мысли, тысячи примеров этого теснились вокруг. И порой я сам считал себя властителем и создателем разнообразного собственного мира. Я точно знал, что этот мир не подвержен тлению, которому подвержен я. Пока существует земля, этот мир будет жить. Это сознание наполняло меня спокойствием. Хорошо, я умру непременно, мое полное исчезновение — вопрос малого времени, не больше. Но Никогда не умрут Тристан и Изольда, сонеты Шекспира, "Порубка" Левитана, затянутая сеткой дождя, и чеховская "Дама с собачкой". Никогда не умрет ночной беспредельный шум океана в стихах Бунина и слезы Наташи Ростовской над телом умершего князя Андрея.

Потомки будут взволнованы этим так же, как сейчас взволнованы мы. И где-то, когда-то легкое веяние, легкое прикосновение наших слов почувствуют сияющие от счастья и горя глаза тех, кто будет жить столетиями позже нас.

Чем чаще я думал так, тем скорее таяла горечь и тем крепче я верил, что, исчезнув из этого мира, я все же могу оставить на облике жизни хотя бы ничтожную, но вечную черту. Такую черту, какую оставляет резец на гравировальной доске.

По временам я совершенно терял чувство реальности. Сухум с его великолепными сумерками, тяжелым золотом и липкой кровью закатов, с его острым запахом листвы, преследовавшим меня повсюду, казался мне городом, оброненным здесь из чужой и не имеющей имени страны.

Я перестал ходить в Абсоюз; лежал неподвижно сутками, следя за бегом воображения — то ровным, то стремительным и суматошным. Все это окончилось тем, что в комнате у меня появился деятельный товарищ Рывкин в своей серой летней черкеске с газырями, а с ним — угрюмый молодой человек, стриженный ежиком.

Человек этот оказался врачом-невропатологом, единственным в Сухуме. Рывкин привел его, чтобы выбить меня из того нездорового состояния нереальности, к

которому я уже начал привыкать.

- Малярийный делириум, бред, — скучно сказал молодой человек с ежиком. — Если дать больному плыть по течению, то дело окончится крахом. Встряхнитесь!

Он взял меня за плечи и так сильно встряхнул, что я почувствовал, как кровь рванулась вон из моих жил, а потом тяжело прилила обратно. Мне стало больно. Я застонал. Молодой врач — фамилия его была Самойлин — влил мне в рот ложку какой-то синей жидкости и велел пить ее каждый день. После этого слюна и белки глаз приобрели у меня яркий ультрамариновый цвет.

Малярия начала оставлять меня. Вернулось чувство реальности. Но я пока что еще не испытывал от этого особого восторга.

Однажды доктор Самойлин сказал, что мне необходимо хотя бы на несколько дней уйти в горы, к Главному хребту, где воздух так чист, а по ночам еще и так холоден, что звенит при каждом движении, будто вокруг разбиваются тонкие льдинки.

Я отнесся к этому предложению Самойлина недоверчиво, как ко всем смехотворным предписаниям врачей. Я помнил, как в Одессе доктор Ландесман в разгар голода предписал мне зернистую икру и устрицы, обрызганные лимонным соком.

Но слова доктора о воздухе, что ломается со звоном, мне понравились. Во всяком случае, в этих словах утверждалось отношение к миру, свойственное мне самому.

Я не стесняюсь признаться в этом перед лицом сотен и тысяч положительных и здравомыслящих читателей.

Очевидно, условность свойственна нашему разуму. Все дело в том, что существует условность, радующая нас легкими откровениями, и другая условность, которая сковывает вольный человеческий дух.

Очевидно, из-за малярии воображение стремительно отзывалось на все, что давало ему мало-мальскую пищу, и разгоралось целыми пожарами красок и цвета.

Стоило мне вспомнить, что доктор Ландесман советовал сбрызнуть мифические устрицы лимонным соком, как я представил себе этот замерзший сок, его снежные шарики, похожие на цветы белой мимозы (может быть, где-нибудь в мире и растет такая мимоза). Они испускали дурманящий запах. Мой взгляд проникал внутрь этих шариков, где были спрятаны микроскопические волшебные пейзажи.

Самойлин начал часто заходить ко мне. Иногда он приводил с собой купленного им на базаре за три рубля горного медвежонка. Доктор привязывал его к стволу пальмы. Медвежонок, стоя на задних лапах, все время ахал от восхищения и

скреб себе когтями затылок при виде маленькой и семенящей вблизи него разноцветной Генриетты Францевны.

Генриетта Францевна одевалась несколько странно — слишком молодо и ярко. Седые свои кудряшки она повязывала оранжевой лентой, а копаясь в саду, напевала скачущие швейцарские песенки. Это обстоятельство удивляло всех окружающих, а не только неотесанного медвежонка.

Однажды Самойлин привел с собой еще и широкого, как шкаф, и как бы склепанного из вздутых железных мускулов белобрысого человека в заштопанной тельняшке. То был борец из захолустного сухумского цирка, по фамилии Зацаренный, — мужчина невозмутимый и сговорчивый. Кроме того, у Зацаренного было редчайшее достоинство — он хорошо говорил по-абхазски, так как был женат на абхазке.

Борец согласился идти с нами к Главному хребту. Он прекрасно знал Абхазию и тут же набросал наиболее возможный и точный маршрут: через селения Мерхеулы и Цебельду, вдоль дикого ущелья Гаргемыш на горное озеро Амтхел-Азанда у подножия величественного массива Марух, немного к северо-западу от Клухорского перевала.

Я с наслаждением вслушивался во все названия, предчувствуя удивительный неторопливый поход.

Названия некоторых вершин звучали так, будто мы перенеслись в Южную Америку. Особенно удивляла меня гора по имени Агуа. Агуа — Аконкагуа — в этом было что-то девственное, как леса, еще не тронутые топором человека.

Я был слаб после болезни, но счастлив. Мне казалось, что я впервые испытываю длительную радость от воплощения давнишней мечты. Я перебирал свою жизнь и тут же убеждался, что это действительно так и что до тех пор все увлекательные мои путешествия часто бывали ограничены четырьмя стенами комнаты.

Счастье началось в утро, назначенное для выхода из Сухума. Я проснулся от слитного птичьего свиста.

Может быть, сотни, а вернее, тысячи птиц, поблескивая разноцветным оперением, шевелили густую листву мушмулы, мимозы и тополя. Для меня, как и для подавляющего большинства людей, было непонятно это суетливое воздушное общество, все эти вихри и путаницы перелетов, преследований друг друга и непрерывных трепыханий.

В то время я почти не мог назвать ни одной птицы, кроме воробья и ласточки. Не только я, но многие люди, кроме специалистов-орнитологов, не знали птиц. Тогда я воспринимал этот шумный летучий мир чисто внешне.

В огромном и таинственном окружении природы мы жили как бы с завязанными глазами. Мы знали о нем только случайные отрывки.

Примерно с тех пор я начал еще упорнее накапливать познания, но без всякого разбора. У меня не было последовательности. Знания подбирались главным образом по степени их живописности и пригодности, чтобы блеснуть ими в разговоре или в прозе.

Да, в то утро ухода из Сухума я проснулся от птичьего треньканья, встал и подошел к окну.

Воздух в саду был холоден, как стекло. И, как на стекле, на нем лежали прозрачные тени деревьев. Утренний запах воды наполнял все пространство вокруг дома. Мне казалось, что в этом запахе соединялось дыхание листьев, древесной коры, горного снега, ручьев, падающих с высоты вдоль отвесных скал, мяты и вина. Все это сливалось в один запах, терпкий и возбуждающий. То было дыхание приморского субтропического утра.

Шум, утро, его свежие брызги, высокие переливы птичьей переключки, качающиеся мокрые ветки, воздух, щедро пролитый с неба, и запахи — все это было, безусловно, счастьем, но медленным, спокойным и верным.

Оно не могло изменить мне потому, что существовало помимо меня.

ОЗЕРО АМТКЕЛ-АЗАНДА

Вышли мы из Сухума рано, когда пыль на дорогах еще не раскалилась. В эту пыль падали толстые лепестки огромных, растрепанных, как итальянские красавицы, пунцовых роз.

Сейчас, почти через сорок лет, весь тот путь, что мы прошли тогда втроем, конечно, изменился, и никто из нас его, должно быть, сразу и не узнает. Возможно, что от прошлого сохранились только очертания гор, но даже и в этом я не всегда уверен.

Изменения в природе обладают свойством мгновенно распространяться во все стороны, как круги по воде от брошенного камня.

Поэтому я и хочу здесь бегло закрепить этот путь и весь поход на озеро в том виде, в каком он предстал перед нами тогда.

Мне трудно ответить на вопрос, зачем я все это делаю. Стремление сохранить в нашей памяти то, что безвозвратно исчезает, — одно из сильнейших человеческих побуждений. В данном случае я ему подчиняюсь.

Сначала мы шли по берегу горной речки Келасуры, Она вырывалась из теснин и, как бы вздохнув, разливалась мелкими плесами по гальке. То тут, то там она закручивала среди изумрудного потока полосы пены, похожие на страусовые перья. Течение разрывало эти перья, но тут же они появлялись опять, еще более пышные, чем раньше.

За селением Мерхеулы мы, спрямляя дорогу, пошли через жаркие кукурузные плантации. Ни одна струя свежего воздуха не могла прорваться сквозь шелестящий часток кол кукурузы.

Духота была тем тяжелее, что совсем вблизи, казалось, над самыми метелками кукурузы, в поблекшем небе вздымались ледяные хребты Кавказских гор, подернутые голубеющим угаром. Там вдали чувствовался их освежающий сердце холод. И мы, обливаясь потом, рвались к ним, проклиная засуху, проклиная пыль и горячие комья глины у нас под ногами.

Только к вечеру мы вышли из лабиринта кукурузников на дорогу, упали на берегу какого-то шумящего потока и начали жадно пить холодную воду. От нее сводило челюсти.

Борец захватил стеклянный стакан. Неразумно было брать в такой поход стеклянные вещи. Но, очевидно, у него не было ничего другого, и он схватил то, что попало под руку.

Борец вымыл в потоке стакан с таким усердием, что стекло закрипело у него под пальцами, зачерпнул воды, и мы увидели, что этот прозрачный стакан по сравнению с горной водой был серым и грязноватым.

Я никогда еще не видел такой воды. Она была чище воздуха. В ней ощущалась целина небесных пространств. Вода эта родилась над нами, на огромной высоте, где как бы струились, не двигаясь с места, облака из ледяных кристаллов.

Эта вода долго лежала в виде кристаллов на вершинах гор. Давление все сильнее сжимало кристаллы. Они становились более прозрачными, чем алмазы. А потом эти кристаллы, слежавшись в ледяную толщу, стекали ледниками с гор и, встретившись на кромке земли с первыми цветами крокусов и эдельвейсов, тихонько таяли и начинали свой бег в низины, где клубилось Черное море.

Как рассказать, что за цветы эдельвейсы? Это трудно. Вообще говоря, они похожи на маленькие звезды, закутанные по горло в белый мех, чтобы не замерзнуть от прикосновения льдов.

Иногда мне хочется встретить собеседника, с которым можно, не стесняясь, поговорить о таких вещах, как эдельвейсы или запах кипарисовых шишек.

К сожалению, таких собеседников в обыденной жизни я не встречал. Они попадались только в книгах. Пожалуй, самым внимательным и веселым собеседником по этим предметам был наш несколько болезненный друг Генрих Гейне.

Свой романтический плащ он, конечно, прикрывал иронией, чтобы избавиться от свиста и насмешек тех самых дураков, которых, по его авторитетному мнению, на земле было больше, чем людей.

Так я думал, лежа на берегу горной речки (это, кажется, уже была не Келасура, а какая-то другая река), предаваясь восхитительной лени. У меня и моих спутников не было никакого желания двигаться дальше.

Мы предпочитали лежать на сухой гальке и смотреть в небо. А оно как будто обрадовалось нашему пристальному вниманию и затеяло воздушную игру, пронося по зениту туманные покрывала разных слабых и блеклых раскрасок — то сиреневой с оттенком серебра, то оливковой, то розовой, как полудрагоценный камень: о нем все знают, но редко кто его видел. Кажется, он называется александритом.

С трудом мы добрались до крайнего дома в селении Цебельда. Селение это как бы ныряло среди зеленых кудрявых холмов.

Мы ночевали на ветхой дощатой террасе. Она шаталась от малейшего движения и скрипела, как сухая арба.

Всю ночь в кукурузниках скулили шакалы, а когда ближе к утру взошла луна, их жалобы превратились в залиvistый вой.

К террасе подошел сторож — старый абхазец с длинным кремневым ружьем времен покорения Дагестана. Посидел на бревне около ступенек, покурил и спросил меня:

- Чего люди горячатся? С утра до вечера? Не знаешь? Я, понимаешь, счастливый уродился. Я двадцать лет хожу здесь сторожем вместе с собакой и ни с кем не спорю. Зачем спорить? Поспоришь — неприятность тебе сделают, побьют собаку. А ее жалко, она слепая на один глаз. Зовут ее Ахах!

Я подивился на такое странное собачье имя и спросил:

- Есть у тебя кто-нибудь? Или нет?

- Нету. Была жена, была дочь. Красивые обе. Они в Сухум ушли. Что им сохнуть в этой кукурузе! Я старик, видишь? — Сторож показал мне при свете луны заплаты на бешмете. — На Марух пойдешь? — спросил он равнодушно. — Горячишься? Обвалы на Марухе. Кого там искать будешь?

- Чего ты тут сторожишь?

- Много сторожу. Всякий огород, всякий дом, всякую кукурузу. Люди спят, — я сторожу людей. Большой кусок земли обхожу. Вон слышишь, — от того шума и до этого.

Он обвел рукой широкий полукруг. Я прислушался. Вдали шумела вода, а с противоположной стороны от этого шума она тоже шумела, но тише, как будто это было эхо первой воды.

- Водопады, — сказал сторож и встал. — Всю ночь шумят. Бог им приказал, чтобы работали, не смели молчать. Сердитый бог, вспыльчивый. А зачем сердится? Мы работаем, слушаем его, а он то найдет войну, то — болезнь на табаки, то даст плохих детей. Нехорошо поступает! Горячится! Несправедливо поступает.

Старик почмокал губами и ушел. За ним побрел косматый черный пес. Каждую минуту пес присаживался и с исступлением вычесывал блох.

Я уже не мог уснуть.

Сейчас, когда прошло уже много лет, я вспоминаю тот день и радуюсь, что впервые увидел тогда в самой глубине гор беззвучный и душистый, как дождь, рассвет.

Ледяные главы Большого хребта пламенели каемкой солнечного света. Он падал на старые окна дома, зажигал их радугой, и стекла отражали какое-то странное утро, лишь отдаленно похожее на то, что началось вокруг.

Станным я его называю потому, что оно походило на те утра, что писали художники Возрождения на своих картинах-иконах. Там, на этих картинах, мальчик с тонким посохом пас ягнят, похожих на мелкие облака. Дальние горы казались вырезанными из разноцветного картона. Курчавые деревья напоминали виноград. Вода сливалась с игрушечных гор выпуклыми каскадами. Отдельные цветы высывались из земли в самых неожиданных местах. Единорог стоял на поляне, сияя золотым рогом, как зажженная пасхальная свеча. Мадонна склоняла нежный профиль к пухлому младенцу, вынув из-под сорочки полную грудь с темным соском.

Станным — вот таким, как я его описываю, — это утро показалось мне только на мгновение, потому что на это мгновение я уснул.

Когда я проснулся, борец с Самойлиным уже кипятили чай на костре.

В Цебельде у Зацаренного был знакомый фельдшер, грек по происхождению.

Мы провели весь день в его расшатанном доме. Почему-то в Цебельде не только терраса, где мы ночевали, но многие дома качались и потрескивали, как после землетрясения. Очевидно, от ветхости.

Жена фельдшера, тучная и сонная русская женщина, накормила нас пловом с крупным изюмом.

Маленький дом фельдшера напоминал шкатулку с секретными ящиками или кладовую для всяческой смешной рухляди.

Только в детстве я видел такую обстановку, как в тесном домике фельдшера.

Около громадного, похожего на броненосец, коврового дивана стоял круглый стол, покрытый бордовой бархатной скатертью.

Какие-то жуки проели в этой скатерти много запутанных дорог. Для этого они сжевали ворс до самой основы.

Дороги на скатерти, если приглядеться, напоминали тропинки среди пыльных хлебов.

На скатерти покоились гигантские пухлые альбомы. Фельдшер увлекался тем, что вырезал отовсюду — из старых журналов и газет, иногда даже из книг — самые интересные картинки и клеил их в альбом.

Чаще всего фельдшер клеил фотографии всяких "августейших особ", особенно беспутного английского короля Эдуарда VII, актрис и адмиралов. Любовь его к пышной морской форме и своему греческому старенькому флоту была трогательна и неистребима. Над диваном висела литография знаменитого крейсера "Аверов", купленного Грецией за гроши не то у республики Чили, не то у республики Перу. Но, в общем, это не имело никакого значения.

Ах, этот крейсер "Аверов"! Сколько в те годы я видел в Одессе его роскошных изображений! Из его труб всегда валил устрашающий дым, и десятки греческих бело-голубых флагов развевались во всех местах корабля, куда только можно было прицепить флаг.

"Аверов" — гроза морей — гордо нес свою обветшалую стальную броню. Даже качаться на волнах, расходившихся от его ахтерштевня, было лестно каждому, кто понимал толк в кораблях.

Я несколько раз уже писал об "Аверове". Это моя слабость. Я не устану прославлять этот крейсер, как символ независимости маленького народа и его борьбы против натиска всякого рода хищников.

Карикатуры на этих хищников тоже были наклеены в альбоме у фельдшера. То были тощий "дядя Сэм" с козлиной бородкой, в жилете из звездного американского флага, шаровидный Джон Буль со знаком фунта стерлингов на животе, унылый, носастый Абдул-Гамид и перезрелая куртизанка во фригийском колпаке — Франция.

Были альбомы только с видами и только с литографиями семейных картин тяжеловесных немецких художников вроде Каульбаха. Мне всегда казалось, что от этих картин пахнет пеленками.

Был, наконец, альбом с гравюрами обнаженных красавиц — томных, волооких, сидящих, заложив ногу на ногу, на огромном серпе месяца, сыплющих цветы из рога изобилия, стыдливо прикрывающих груди, как Леда под жгучим взглядом лебедя, купающихся, причесывающихся, убегаящих от козлоногих сатиров и пляшущих с тимпанами в извилистых руках.

Правда, этот альбом лежал в сторонке, на этажерке, стыдливо прикрытый пачкой газет.

Кроме того, по стенам висело много гипсовых блюдец с нарисованными на них спелыми вишнями и грушами.

В одной из астрономических книг, кажется у Джинса, я прочел, что радующий нас растительный покров земли перед лицом величественных явлений природы — только жалкая плесень.

И вдруг эта квартирка фельдшера с заношенными вещами, альбомами и запахом жидкости от клопов действительно показалась мне плесенью перед стеной блистательных гор, взнесенных к небу. Они стояли над копошащимся в долине человечком с его вялой, заспанной женой, с его неприбранным миром. Луч солнца, усиленный всего в десять раз, может мгновенно превратить этот мир в тошнотворно пахнущий пепел.

За обедом фельдшер — его звали Яни — сказал речь по случаю нашего похода на озеро Амтхел-Азанда. Говорил он, как старомодный оратор, — с риторическими вопросами, с пафосом и дрожанием голоса или, как выразился борец, "играл на сердечной струне".

- О Александер! — восклицал Яни. — В Сухуме расцветают лавры! Они не дают тебе спать. Ты жаждешь открытий! Славы! Зачем? Тебе разве мало своего любимого семейства — милой жены Маргариты и сына Пахома?

- Ты лучше покажи дорогу на Амтхел! — сердито ответил борец. — Про Маргариту я и без тебя знаю.

Фельдшер с грустью покачал головой.

- Вот именно! — сказал он с укором. — Я сам, своими руками толкаю человека на опасный путь! Сам!

- А что же там опасного? — спросил Самойлин.

- Там могут быть дезертиры, — зловещим голосом ответил фельдшер. — Они застряли здесь еще со времен войны. Они живут шайками и бродят по горам.

Фельдшер повернулся к борцу:

- Я предупредил тебя! Я умываю руки! Ты слышишь?

- Ну, умывай, умывай, — добродушно согласился борец. — Не устраивай здесь Художественный театр. Одевайся и проводи нас до начала тропы.

Фельдшер, вздыхая, вывел нас за околицу Цебельды, к буковому лесу, и показал

тропу. Он сказал, что через километр тропа окончится и дальше нам придется идти по зарубкам на деревьях.

Я впервые видел сплошной буковый лес. Это был светлый лес, торжественный, как византийский собор. Или, пожалуй, он больше напоминал бесконечную колоннаду из высоких стволов, как бы обтянутых зеленоватой замшей, — некий мшистый и прохладный форум по склонам гор. Мы шли часа два, наслаждаясь всем, что окружало нас, — немного резким воздухом лесной подстилки, лучами солнца, рывшимися в мокрой листве, непонятным далеким гулом. Может быть, это гудели, падая с высоты, камнепады, а может быть, это было эхо от раскатыстых лавин.

Зарубки привели нас в узкое ущелье Гаргемыш.

Борец вдруг нахмурился. Мы пошли медленнее. Борец приказал нам получше смотреть по сторонам и искать на ходу места, где мы могли бы скрыться на случай неприятной встречи. С кем, он не сказал, но мы поняли, что он думает о дезертирах.

Но прятаться было совершенно негде, кроме как в кучах бурелома или за толстыми стволами буков. Кроме того, как сказал Самойлин, прятаться было бесполезно, так как горцы видят за триста шагов даже муху, сидящую на стебельке травы.

Ущелье суживалось. Мы шли с опаской, поглядывая по сторонам, и потому, должно быть, заметили людей поздно, когда они были уже шагах в двухстах прямо от нас.

Они подымались навстречу и ступали осторожно, как рыси. Ни одна ветка не треснула у них под ногой. Их было четверо. У каждого на плече висел обрез. Только шедший впереди пожилой горец держал винтовку в руках.

- Спокойно! — тихо сказал борец. — Идите как на прогулке по набережной.

Расстояние сокращалось. Дезертиры спокойно и пристально смотрели на нас. У нас же на лицах, как я понимаю теперь, появилась, очевидно, деланая и растерянная улыбка. Только борец был бесстрастен, но и у него мелко дрожало правое веко.

Передний остановился, снял винтовку и поднял ее перед собой на вытянутых руках. Он загородил нам путь. Винтовка выглядела, как закрытый шлагбаум.

Мы остановились. Остановились и дезертиры, но никто из них не подошел ближе, как бы соблюдая почтительное расстояние между собой и пожилым предводителем.

Все молчали. Наконец пожилой, не опуская ружья, спросил резким, как птичий клекот, голосом:

- Чего русскому человеку здесь надо?

- Мы идем на Амтхел-Азанда, — ответил борец. Он достал пачку папирос и предложил жожаку.

Но тот папирос не взял, только сверкнул на них желтыми белками и спросил:

- Зачем на Амтхел?

- Охотиться, — невозмутимо ответил борец.

- Ай-ай-ай! — жожак покачал головой, и в горле у него что-то заклокотало. Я не сразу понял, что он, очевидно, смеется. — Зачем обманываешь, неправду говоришь? А где же ваши ружья, охотники?

- Ну вот и все! — тихо сказал мне доктор Самойлин.

Никакого оружия у нас не было. Вообще в Сухуме можно было бы добыть в то время завалящий револьвер, но борец уверял, что идти без оружия безопаснее.

Борец усмехнулся и что-то сказал жожаку. Тот, прищурившись, долго смотрел на борца; потом — на каждого из нас, как будто соображая, что с нами делать, и только после этого ответил борцу.

- Он предлагает, — сказал нам равнодушным голосом борец, — сесть на этот поваленный бук и покурить.

Мы сели на поваленный бук. Около каждого из нас сел борец.

Я спросил жожака, где он так хорошо научился говорить по-русски.

- На войне... В "дикой" дивизии...

Рядом со мной сел юноша с таким выражением девственного любопытства в глазах, точно он только что появился на свет. Даже рот у него был слегка приоткрыт. Все привлекало его внимание, вплоть до шнурков на новых чулках.

Юноша осмотрел меня, достал у меня из бокового кармана гимнастерки пачку папирос и переложил ее себе в карман. Потом он повертел у меня на пальце обручальное кольцо, почмокал губами от восхищения и осторожно, ласково улыбаясь, снял кольцо и тоже опустил себе в карман.

Ему было трудно снимать кольцо одной рукой. Потому на это время он дал мне подержать обрез.

Все молчали. Потом горцы заставили нас встать и долго обхлопывали своими твердыми ладонями, должно быть разыскивая спрятанное под одеждой оружие.

Они ничего не нашли и начали переговариваться, недовольно поглядывая на нас.

Во время обыска они взяли у борца зажигалку, а у Самойлина-старые карманные часы. Наши рюкзаки с продуктами они не тронули. Только один лениво ткнул в них ногой, очевидно для очистки совести. При этом он что-то пренебрежительно сказал, и все горцы вдруг закричали друг на друга с такой яростью, что, казалось, вот-вот начнется резня.

Они хватали друг друга за руки и за грудь, замахивались прикладами, шипели и внезапно выкрикивали что-то стремительное и, очевидно, что-то невыносимо обидное, потому что каждый такой крик оканчивался общим негодующим воем.

Во время этой ссоры они не обращали на нас никакого внимания. В азарте они задевали и толкали нас, будто мы были невидимками.

Пожилой вожак сидел на бревне, курил, почесывал грудь и, казалось, не слышал этой непонятной ссоры. Потом он лениво встал, подошел к тому юноше, что взял у меня обручальное кольцо, схватил его за обрез и что-то сказал властно и коротко. Юноша стал наливаясь кровью, но все же медленно полез в карман, вынул кольцо и отдал его вожаку. Вожак отобрал еще зажигалку и ручные часы, прикинул все это на вес ладони, сунул за пазуху и сказал борцу:

- Иди куда хочешь, но назад не вернешься!

Он повернулся и пошел вверх по ущелью. Горцы сразу стихли и, вытянувшись цепочкой, пошли следом за ним.

Мы стояли в недоумении.

- Что это значит? — спросил Самойлин.

- Это значит, — ответил борец, — что они пока что пропустили нас на Амтхел, но не пропустят обратно. Подкараулят где-нибудь здесь. Другой дороги нету.

Я ничего не понимал. Если они хотели ограбить и даже убить нас, то у них была полная возможность сделать это сейчас.

- Лучше ни о чем не думать, — посоветовал борец. — Кривая меня не раз вывозила. Вывезет и теперь. На озере поговорим. Но идти надо все-таки осторожно. Старайтесь, чтобы стволы буков закрывали вас от выстрелов в спину.

Мы прошли ущелье и с обрыва в лесу увидели Марух. Он горел в небе, как голубой алмаз в гранитной оправе.

Все вокруг поражало меня смешением грандиозного и бесконечно малого, причем и то и другое было одинаково прекрасно: и отдаленные ледяные гребни Маруха, над которыми нависали громадные карнизы слежавшегося снега, и близкие мелкие цветы кизила на только что родившихся кустах. Кусты эти

выглядывали из расщелин в скалах.

Вокруг нас толпилось огромное общество горных трав, хвощей, ворсистых оранжевых цветов, хвои, длинной, как вязальные спицы, и все это, разогретое солнцем, испускало смолистый и нежный запах.

Напряжение после встречи с дезертирами доконало нас. Мы просто упали в густой мох на скалу среди леса, похожую на громадный жертвенник, и пролежали часа два без всякого желания двигаться дальше.

Несколько раз в жизни мной овладевала мысль о соседстве мирной и безмятежной природы с человеческой жестокостью.

Впервые эта мысль потрясла меня и довела до ярости на человека, когда в 1919 году в Полесье я увидел мальчика лет десяти, убитого бандитами в то время, когда он сидел на колосистом берегу реки Уж и удил рыбу самодельной ореховой удочкой. Солнце горело над ним, а теплый ветер медленно проносил по небу пушистые облака.

Бандиты из какого-то подлого отряда какого-то подлого батьки Струка заметили мальчика с другого берега реки и, гогоча, расстреляли его, как мишень.

Местные лесовики, боясь бандитов и потому как бы оправдывая их, говорили, что "хлопцы" были пьяные. Но в том, что пьяный человек становится хуже самого грязного скота, нет для людей никакого оправдания.

Я никогда не забуду нагретые солнцем волосы мертвого веснушчатого мальчика — милые, выгоревшие, детские и какие-то беспомощные волосы. На лицо мальчика я не смотрел. Но этот день моей жизни я буду помнить до смерти. Я не решался рассказать о нем никому, даже маме, чтобы не омрачать ее жизнь. Только сейчас я впервые заговорил об этом.

И вот тогда, лежа в лесу по дороге на Амтхел, я подумал, что четверо бандитов неизвестно почему хотели убить нас, а может быть, еще и убьют. Эта мысль привела меня в такое же состояние отвращения и ярости, какое было тогда на реке Уж. Сразу оборвалась вся радость, все торжество природы.

Единственное, что постепенно успокоило меня, были напоминания природы — какие-нибудь душистые чешуйки, прилипшие к моей губе, или ничтожный родничок, недоверчиво и осторожно пробиравшийся сквозь травянистые джунгли, боясь потерять дорогу к глубокой выемке в скале, где вода его собралась в синее озеро.

Стоило увидеть все это и пристально рассмотреть, чтобы мир снизошел (как любили писать в старину) на смятенную человеческую душу.

Прозрачная вода цвета зеленоватой лазури лежала внизу. По ней плавали сухие коричневые листья кленов.

Листья собирались в эскадры и двигались очень дружно: поворачивали, как по команде, "все вдруг", а при малейшем ветре срывались с места, будто с якорей, и, перегоняя друг друга, уплывали на середину озера. Там вода горела спиртовым огнем.

У самого берега плавали водяные курочки с бисерными веселыми глазами.

Налево, цепляясь за отвесные гранитные стены, вздымался лес, такой же загадочный, каким он казался издалека. Позади нас шуршали осыпи. А направо я боялся даже смотреть — там, рванувшись к небу, остановился, весь напряженный, казалось, до медного стога в своих жилах, угрюмый, непостижимый Марух.

В одном месте, очевидно из ледниковой пещеры, летела по воздуху широкая струя воды и падала, сосредоточенно шумя, в озеро.

То была река Азанда. Она вливалась в озеро со стороны ледников водопадом, а у нас под ногами, на заваленном скалами пляже, стремительным потоком уходила под землю, исчезала у самых ног, и засасывала водоворотами в подземные страшные бездны все, что мы бросали в воду: каждую ветку и каждый клочок бумаги.

Борец рассказал, что за двенадцать километров к югу река Азанда снова вырывалась на поверхность пенистым потоком и опрометью неслась, зажмурив глаза от внезапного солнца, к Черному морю.

Камни шевелились под речной водой и били друг друга, будто пробовали, чей звон продержится дольше.

Я боялся пристально смотреть на Марух. Мне начинало казаться, что льды на его вершине тоже двигаются, как река, и вот-вот сорвутся грохочущим на весь мир ледопадом. Но все же я время от времени взглядывал на Марух. Он притягивал к себе, заставлял смотреть на себя и угадывать тайны, спрятанные в тени его ущелий и в слабом колыпании альпийских лугов.

Я еще не знал, какие могут быть у Маруха тайны от нас, но временами уже различал розовые лишай на скалах, медленное передвижение теней — они крались к вершине, чтобы погасить ее свет, различал струи дыма, катившиеся, погромыхая, вниз по склонам Маруха. Потом я догадался, что это не дым, а пыль от осыпей.

Весь день Марух стоял против нас, как бронзовый, позеленевший престол какого-то исполинского грозного божества, как угловатый щит аттического героя — Геракла или Атланта. Конечно, Марух мог, подобно Атланту, держать на своих плечах весь земной шар.

Вечером Марух превратился из бронзового в сияющий до боли в глазах золотой самородок такой величины, что его блеск, очевидно, был замечен даже на луне.

- Теперь, — сказал мне Зацаренный, — живите в этой тишине, молчите, смотрите и думайте. В Сухум вернетесь другим человеком. Самого себя не узнаете.

Я с удивлением посмотрел на борца. Я не ожидал от него таких слов. До этого он казался мне человеком простоватым и недалеким.

Почему-то сейчас меня преследует мысль, что нужно записать весь порядок событий на озере, хотя, по существу, никаких событий не было. Но все-таки...

Все-таки началось с того, что нам пришлось спускаться к озеру по отвесному склону, цепляясь за корни деревьев и за кусты самшита.

Тогда я впервые узнал, что крошечный самшит, похожий на кустик нашей брусники (и с такими же мелкими кожистыми листиками), легко выдерживает тяжесть взрослого человека.

На озере был намыт узкий пляж из песка, заваленный каменными глыбами, скатившимися с гор.

В одном месте глыбы легли так, что образовали глухую и длинную пещеру с выходом к самой воде. В этой пещере мы устроили бивуак.

Пещера казалась необыкновенно уютной. Очевидно, потому, что защищала от дождей, осыпей и ветров.

В пещере мы более или менее спокойно ели. Никто нам не мешал.

В первый же день мы по неопытности разложили еду на берегу, на разостланном плаще. Тотчас из воды вышла маленькая водяная курочка, приковыляла прямо ко мне и, крикнув, вырвала у меня из руки кусок хлеба. Я отнял у нее хлеб, но она начала драться и несколько раз больно ущипнула меня за палец.

Тотчас с берега приковыляло еще несколько совершенно непуганых курочек.

С тех пор мы ели осторожно и прятали рюкзаки с продуктами под камни. Но курочки все равно собирались около нас, как только мы начинали есть. Они толпились и толкались, пытаясь пробиться к нам поближе, наступали друг другу на перепончатые лапки и выщипывали перья.

Когда мы ловили их, они подымали неистовый крик, но только до тех пор, пока кто-нибудь из нас держал их в руках. Стоило отпустить курочку на землю, как она тотчас же начинала карабкаться к вам на колени и вырывать из рук любую еду.

Это нам нравилось. "Должно быть, — глубокомысленно сказал Зацаренный, — так свободно вели себя звери только в раю".

С тех пор как мы появились на озере, водяные курочки держались только у того

берега, где был наш бивуак. Они старались далеко не отплывать, чтобы не пропустить кормежку.

Но не все звери вели себя так добродушно и доверчиво. Были у нас на озере и враги — шакалы и маленькие горные медведи.

Самыми наглыми и изобретательными были шакалы.

В первую же ночь они украли наш жестяной чайник и потащили его в горы, но уронили. Чайник с лязгом и грохотом покатился в озеро.

Мы проснулись вовремя и спасли чайник. На нем оказалось несколько больших вмятин от удара о камни, но все же он не потек. Мы благодарили за это судьбу. Иначе мы бы пропали без чая. Особенно плохо пришлось бы Зацаренному. Он мог пить чай весь день, сидя на солнце и блаженно прищулив глаза.

- Какой воздух! — говорил он и шумно вздыхал.- Не воздух, а бальзам Тоно-Бэнге!

На вторую ночь шакалы подползли к нам "по-пластунски" и пытались вытащить из-под головы у Самойлина мешок с продуктами. Мешки мы из предосторожности клали себе под голову, но оказалось, что это тоже не спасает нас от воровства. Тогда мы решили по ночам дежурить по очереди у костра.

В первую же ночь дежурства борец задремал и очнулся, когда шакалы, упираясь всеми четырьмя лапами, тащили из-под камня пакет с копченой рыбой.

Тогда я придумал, как мне казалось, замечательный способ борьбы с шакалами. Я нашел на берегу длинный сухой шест. Когда пришла моя очередь дежурить, я сел у костра и положил шест рядом с собой. Зацаренный и Самойлин уснули. Я тоже притворился спящим. Я даже слегка всхрапывал.

В эту ночь я впервые увидел, как подползают шакалы. Ах, как интересно! — скажете вы. Но я утверждаю, как свидетель, что, может быть, это для кого-нибудь и интересно, но главным образом противно и даже страшно.

Шакалы подползали в свете костра, как тени, как шевелящиеся облезлые призраки.

Я осторожно засунул конец шеста в огонь. Шакалы на мгновение замерли, потом снова начали подползать.

Впереди полз вожак. Я его уже хорошо видел в отсвете костра. Уши у него были прижаты, а щербатая морда была на всякий случай оскалена.

Я ждал, пока вожак подползет к костру (около него лежала в виде приманки колбаса) на длину шеста, потом стремительно выхватил из костра пылающий шест и ударил им вожака.

Вожак прежде всего вскрикнул. В его злом крике мне даже слышались наши человеческие слова: "Уй, черт!" Потом он прыгнул, но не вперед, а назад и кинулся в горы, уводя за собой всю стаю. Запахло паленой шерстью. Из этого можно было заключить, что я подпалил шакалью шкуру.

Зацаренный и Самойлин проснулись. Они расхваливали мою находчивость. Они, как мне кажется, даже льстили мне при этом. Я был готов возгордиться своим открытием. Но если бы я знал, какие невыносимые последствия обрушатся на нас после моей расправы с шакалами, то я бы, конечно, не делал таких опрометчивых опытов.

Шакалы взобрались на соседние скалы и все, как один, завывали с таким отчаянием и остервенением, что ни о каком сне под этот вой не могло быть и речи. Они мстили нам и были двое суток.

Медведи оказались зловреднее шакалов. Они придумали ловкий способ, чтобы выжить нас с озера. С тех пор мы пребывали в какой-то нервной осаде и если уцелели, то только благодаря постоянной настороженности. С утра медведи залегали вверху, на краю отвесного обрыва, и, свесив головы, следили за нами.

Если кто-нибудь из нас, забыв об опасности, проходил внизу по берегу мимо медведей, они спускали на него камень и вызывали обвал. Летела пыль, грохотали, подскакивая, большие валуны, стреляла во все стороны и со свистом врезалась в воду щебенка. Самойлин чуть не погиб под таким обвалом.

Мы пытались прогнать медведей, но у нас не было оружия. Наши свист и ругань на них не действовали.

Это было очень досадно. Мы не могли свободно ходить по берегу, а должны были держаться под прикрытием пещеры.

Иногда Зацаренный терял терпение, поносил медведей могучим басом и грозил им кулаком. В ответ медведи оживлялись, с любопытством вытягивали головы и спускали новый обвал.

Но наконец судьба отомстила за нас. Маленький медведь слишком далеко высунулся над обрывом, сорвался, пронесся черным косматым шаром мимо нас, с сильным плеском грохнулся в воду, коротко взревел, нырнул и исчез навсегда. Очевидно, он утонул, бедняга.

Медведи просидели на обрыве до вечера, ушли и больше не возвращались. Исчезновение товарища напугало их. Они, очевидно, приписали это нашим, человеческим козням.

У берегов в синей воде лежали большие плоские камни цвета слоновой кости.

В одном месте камней этих было так много, что я, перепрыгивая с камня на камень, добирался чуть ли не до середины озера, чтобы поудить рыбу. У

последних камней было очень глубоко.

Однажды я сорвался с камня и почувствовал нестерпимый обжигающий холод ледниковой воды. Ступню тотчас же свела судорога, будто кто-то начал быстро наматывать на спицу тугое скрипучее сухожилие. Казалось, что оно вот-вот лопнет.

Но на камнях, несмотря на космически холодную воду, было жарко — на озере всегда стояло безветрие. Хрустальность (а может быть, вернее — кристальность) отражений в его воде была настолько совершенной, что отличить отражение берегов и гор от настоящих берегов и гор было невозможно.

Как бы два Кавказа существовали вокруг. Один вздымался к высокому небу, а другой уходил в сияющую бездну под нашими ногами. По дну этой бездны медленно передвигались, как и по небу, одинаковые перистые облака.

Когда я забрасывал в озеро леску с грузилом, то каждый раз разбивал идеальную слитность этого мира.

Время от времени брала сильная, как напряженный мускул, форель — пеструха. Или лобан стремительно уводил леску по прямой и, мотнув хвостом, обрывал ее, как паутину.

Это было удивительное занятие — ловить рыбу в жидком сапфире и жадно насыщать свои глаза всем, что располагалось вокруг, — от узора трещин на плоском камне до поплавка из связанных пучком сухих листьев клена. В момент клева листья складывались, как веер, и медленно погружались в воду.

Я удил до вечера. На камнях меня заставлял закат. Однажды я невольно вскрикнул от неожиданности, когда поднял глаза от полавка и вдруг увидел отражение солнца на ледниках, как бы обгагранных кровью.

Я вскрикнул невольно и рассердился на себя за то, что не сдержался. Но слишком огромен был размах сгорающего неба, слишком загадочен был дым облаков и слишком резок блеск льдов на вершине Маруха.

Вообще в жизни мне везло. Почти каждый день я узнавал или видел что-нибудь новое. А чем больше знаешь, тем интереснее и, как это ни покажется странным, таинственней делается жизнь.

Во время закатов у подножия Главного хребта я видел одно из самых величественных зрелищ на земле — разлив такого цветового блеска, что, казалось, на этой высоте над уровнем моря у наших глаз появляется дополнительное свойство: видеть гораздо больше красок, чем в глубине долин, в степях и на морских побережьях.

Но все же я без сожаления ждал, когда закат начнет угасать. Потому что я знал, что в сумерках, слабо просвеченных далекими отблесками моря, заключено не

меньше прелести, чем в горных закатах.

А потом все стихало, все дотлевало. Тишина садилась к костру и долго смотрела, как подергивались сиреневым пеплом последние угли. Часто падали звезды.

На шестой день у нас кончились продукты, и мы ушли с озера Амтхел-Азанда.

Борец был уверен, что около Цебельды мы снова наткнемся на дезертиров и на этот раз встреча нам не пройдет даром. Поэтому мы решили идти на Сухум прямо через горы, минуя ущелье Гаргемыш.

Карты у нас не было, но борец брался вывести нас к тому месту, где река Азанда, пройдя 12 километров под землей, снова выбивалась на поверхность. Дальше нужно было держаться вдоль реки и выйти к Мерхеулам.

Эти 12 километров мы шли весь день. В Сухум мы возвратились сожженные, пыльные, голодные, со стертыми ногами, но счастливые.

В Сухуме было сонно, душно и одиноко. Во время моего отсутствия мадмуазель Жалю сдала соседнюю пустовавшую комнату белокрысому человечку, бухгалтеру из торгового отдела по фамилии Котников.

Все в этом рассудительном человечке было, как говорят врачи, противопоказано Сухуму, начиная с того, что он был веснушчат, непрерывно мигал красноватыми альбиносскими глазками с белыми ресницами и любил петь песню "Я б желала женишка такого, чтобы он в манишке щиголял". Пел он тонким, свистящим тенорком. В свободное время он пил чай в саду под бананом. Вышитое петушками полотенце висело у него на шее. Он поминутно вытирал им потное красное лицо, прокашливался и снова запевал: "Чтоб он в манишке щиголял, в руке тросточку держал".

На Кавказе Котников вел себя так, будто это был не Сухум, а Пошехонье. Ничто его не интересовало — ни море, ни тропическая растительность, ни горы, ни абхазцы, ни их характер и нравы. Он любил вспоминать о городе Мологе, откуда был родом. Почти все свои рассказы он начинал одной и той же фразой: "Вот в нашем городке Мологе у мамыши моей, уважаемой Аполлинаруии Флоровны, был заведен зверский порядочек..."

С появлением Котникова сразу стало скучно. Время будто остановилось. Оно стояло бессмысленно, как испорченные часы, под назойливое мурлыканье счетовода: "Вышла Маша в лес гулять, женишка себе сыскать".

Потом приехала из России жена Котникова — точно такая же, как и он, маленькая, курносенькая, вся в розовых веснушках. Она вошла в дом и, еще не сняв пальто, спросила мужа: — Почему тут яйца?

Конечно, это было несправедливо, но я сразу невзлюбил Котникова и его жену. И понял, что дальше жить в Сухуме совершенно бессмысленно и мне здесь нечего

делать.

Я решил ехать дальше, в Батум. Там поселилась машинистка из "Моряка" Люсьена. Она вышла в Одессе замуж за художника Синявского и бежала из голодной Одессы в Батум. Она написала мне, что в Батуме объявлено "порто франке" и город завален "шикарными товарами" — сахарином, бубликами, дамскими подвязками и шнурками для ботинок. "В крайнем случае, — писала Люсьена, — можно жевать подвязки".

Кроме Люсьены, в Батуме, на Зеленом Мысу, жил Бабель с женой Евгенией Борисовной и сестрой Мери. А я корпел в сухумском одиночестве и правил заметки в маленькой скучной газете.

Я возмутился на самого себя, сел без билета на пароход "Ильич" и уехал в Батум.

Наступал вечер. Берега Абхазии затягивались туманом. Я лежал на корме около флагштока, подложив под голову пальто и маленькую подушку, набитую сухумским табаком (вывозить из Абхазии табак было запрещено). Неожиданно в терпкий запах табака ворвался принесенный с берега движением воздуха счастливый запах магнолий и мимоз — томительный воздух скитаний, Малой Азии, непроглядных зарослей и крошечных теплых ночей. И у меня сжалось сердце. Уходила и, должно быть, навсегда еще одна область земли, где я оставлял частицу своих мыслей и времени.

Через несколько лет я попал ненадолго в этот город и не узнал его. Он превратился в многолюдный и пышный щеголеватый курорт. На его улицах пахло не магнолией, а пережженным газом из выхлопных труб и палеными женскими волосами.

А сейчас я лежал на палубе и думал, что патриархальность Сухума окончилась навсегда.

Пожалуй, последним и трогательным событием этой жизни была встреча Михаила Ивановича Калинина.

Калинин проезжал на пароходе мимо Сухума и сошел на несколько часов на берег. На набережной собрался весь город — живописная толча башлыков, черкесок, длинных седых усов, откидных рукавов с разноцветной подкладкой, кинжалов и брюк галифе с золотыми лампасами.

Когда шлюпка с Калининым отвалила от парохода и начала приближаться к берегу, простодушный начальник сухумской милиции проскакал на горячем коне вдоль набережной и крикнул толпе:

- Красивые, вперед!

В толпе произошло стремительное движение, но не раздалось ни одного крика, ни одного проклятия.

И действительно, на глазах случилось подобие чуда: толпа как бы сама по себе отобрала и выбросила вперед всех красивых — юношей с орлиными носами, серебряных старозаветных старцев и гортанных девушек, пышущих жаром от смущения.

Начальник милиции второй раз проскакал вдоль толпы, потом крикнул: "Душевно благодарю!" — и его конь, приплясывая, танцуя, прядая ушами, одним словом, кокетливо гарцуя, двинулся к пристани, где, как горный обвал, грянул гром оркестра из дудок и барабанов так называемого "сазандари" — самого выносливого и бодро-заунывного оркестра в мире.

1959-1960 гг.

В. СТРАЖЕВ

МАХАДЖИР

Завесил вечер синими чадрами
Родные берега.
Но все горят-горят прощальными кострами
Высокие снега.

Певуча снасть турецкой бригантины,
Но в сердце громче стон.
Под пеплом розовым далекие вершины —
До гроба сладкий сон.

Свежеет ветер. И плакать перестали —
Слезам что вернуть?
Аллах! Аллах! Мой путь — в неведомые дали.
Благослови мой путь!

Земли моей я взял и на чужбину
Священных семь горстей.
«Вот все, что я сберег — скажу угрюмо сыну, —
От родины твоей».

1923 г.

«СУХУМСКАЯ АНТОЛОГИЯ» *

** В. Стражев в своей "Сухумской антологии" выступает в качестве пародиста (И. К.)*

До сих пор существует мнение, что Сухум очень слабо отражен в поэзии. Это — неверно. Мы всегда думали, что это неверно. Такой город, как Сухум, не мог и не может не вдохновить поэта. Во все века он привлекал внимание историков — от Геродота до Гулиа. В наши дни он вызывает восторги множества экскурсантов. Мог ли прозевать его поэт? Конечно, нет.

Несколько месяцев труда — и вот мы имеем, разумеется, далеко неполное, собрание поэтических перлов, посвященных Сухуму. Публикуя это перловое сокровище, мы счастливы тем, что восполняем, наконец, досадный пробел.

I

Строки Гомера!

Древнейшие строки о предке Сухума — Диоскурии! Они сохранились на египетском папирусе, недавно найденном близ Очамчир экспедицией АБНО в архиве одного сельсовета.

Отрывок, несомненно, относится к пятой песне Одиссеи. Нет надобности говорить, что опубликование этого отрывка — событие мирового значения. К величайшему сожалению, подлинный текст затерялся в корзине редакции «Советской Абхазии» и до сих пор не найден, несмотря на все старания редакционного уборщика Кузьмича.

Многоперинное ложе, на коем без всякого Загса
С светлою нимфой Калипсо подвиг свершал, он любовный,
Третий уж день, как он кинул, выплыв в безбурное море.
Плот проплывал мимо берега, где город прекрасный воздвигли
Два близнеца — Диоскуры, Зевса и Леды ребятки.
Тут Одиссей богоравный, спец, спекулянт хитроумный,
Плот задержав ненадолго, выкинув бронзовый якорь,
Кое-какие товары (чулки и духи Афродиты),
Скрыв от таможенных взоров, выменял очень искусно.
В нарды сыграл с диоскуром, в флирт — с диоскурицей нежной,
Чашечку черного кофе выпил в кофейне и снова,
Парус высокий поднявши, выплыл в безбурное море.

II

Кто не знает дореволюционной знаменитости — Игоря Северянина?
Поэтически оплевав все и вся, он укрылся на берегах Балтики и скрылся с нашего горизонта. Мы запросили его по радио: «Нет ли у Вас поэзы о Сухуме?»
В письме без марки «великий» поэт прислал нам один из своих шедевров.

От скандального всебезобразия
Я умчал под Эстляндский брезент,
И призыв от «Советской Абхазии»
Северянину не комплимент!
Да! да! да! Позабыть не посмели вы
О поэзах строителя грез!
Но в Абхазии — реки форелевы

И цветенье лимонных мимоз!
И мечту посадил на экспресс я,
Черноморя галантно в Сухум.
Почему не встречает процессия,
Всенародный не слышится шум?
Очамчирские где депутации?
И шампанская искра Гудаут?
Где же девьи и дамы овации?
Пусть мне «шарда-аамта» поют!
Впрочем, если за строки чаруйные
Комильфотный дадут гонорар,
Дам Сухуму слова поцелуйные,
Златолирный всемирный мой жар.
Так и быть, стиховой ажурностью
Я в театре овечерю всех,
Восхищу, зачумлю чересчурностью
Истонченных поэзоутех.
Сероневную грусть излазурю я,
Фейерверча каскад огневин.
И русалкой всплывет Диоскурия
Из подводных сухумских глубин.

III

В биографии крупнейшего лирического поэта нашей эпохи Сергея Есенина остался совершенно неизвестным факт его пребывания в Сухуме. Мы имеем полную возможность не только установить этот факт, но и опубликовать никому неизвестное стихотворение поэта, написанное в Сухуме о Сухуме и оброненное им (на почтовой бумаге небольшого формата) на пляже за крепостью.

По Москве хулиганскую славу
Променял на сухумский духан.
Авось хоть тут златоглавый
Отдохнешь, рязанский буян!

Месяца ломтик дынный
Буйволиная лижет ночь.
Приютила беспутного сына
Юга лазурная дочь!

У перса купил цветочек.
На север в письме пошлю.
В письме напишу покороче:
«Люблю»... Или «не люблю»?

Жизнь истаскал в опорки.
А дешево тут вино!

Эх, ты, Серега! Серега!
Лихая русская дурь!
В сухумском духане потрогать
Приехал чужую лазурь!

Звения, звенит звенящая звениянка —
Сухумится Сухумка сквозь Сухум,
И облачко, небесная портянка,
Сушась на солнце, мчится наобум.
Я гол, как кол. Воткнувши ноги в гравий,
Торчу на пляже. Гей! Га-га! Го-го!
И руку жму моей вселенской славе,
Причаливши к Сухуму на «Арго».
А вечером, на даче, на Чернявке,
Здравяши ноги, строю стихозвонь
И — дрррень! — наярываю на тальянке...
Э... эх! Ты! Каменского гармонь!
Мне ночью снится мой ядреный лапоть,
Прославленный от Крыма до Перми.
Ух, поживем еще! Не будет капать
Над нами старость, черт возьми!
В Сухуме жить и молодо и жарко!
Стихов еще напишем сто томов!
Чок! Чок! Мы чокаемся еще веселой чаркой
С бессмертьем сорока веков!

Айда, Маяковский!
Маячь на юг!
Кто же этой не знает фразы?
У всякого есть мой стихопук,

Даже и на Западном Кавказе!
Прямо с «Пестеля» припер в АбЦИК
Самсону Чанбе, конечно, представиться.
А он в отъезде.
Ну, я поник.
Секретарю Гюльязизову пришлось понравиться.
Ходил по городу туда-сюда.
До-смерти напугал буйвола.
От пота ручьился...
Юг — ерунда!
Рубаха мокренька от струй была.
Пивнул у бульвара. Второй гудок!
Опять на «Пестеля». До свиданья!
Напечатано про этот городок
В новом стихов издании.

1927 г.

В. КАМЕНСКИЙ

ПРИБОЙ В СУХУМЕ

Берег — письменный стол.
Море — чернильница.
Каждый камень — престол.
Моя песня — кадилъница.
Пой в прибой,
Прибивай перевейностью,
Волно-взвихренной лейностью.
Перевей волю амбра,
Моревун морегамбра.
Ббахх и ашрр —
И шшай —
Шам-м-
Шш-ш.
Берег — бисер ковер.
Море — синяя ткань.
Каждый камень — звуко-р.
Моя песня — звуко-нь.
Пой в прибой,
Прибивай пальмотрепетом,
Волно-взвинчбнным лепетом.
Перебу-рль волю амбра,
Моревун морегамбра.
Ббахх и ашрр —
И шшай —

Шам-м —
Шш-ш.
Берег — дом в Генуэзском. Море — воздух — вино.
Будто память о детском,
Здесь живет Евреинов.
Пой в прибой,
Прибивай мудрокнижием.
Удивляй сценоближием.
Перекрась театр амбра,
Моревун морегамбра.
Ббахх и ашрр.
И шшай —
Шам-м —
Шш-ш.
Берег — красная цель.
Море — братству вравне.

В кумачевой стране.
Пой в прибой.
Прибывай, разудалое
Знамя буйное алое.
Передай миру амбра,
Моревун морегамбра.
Ббахх и ашрр
И шшай —
Шам-м —
Шш-ш.

1922 г.

ПРИВЕТ СУХУМУ!

Ну, здравствуй, рай земной,—
В Сухуме снова я.
И здесь весна со мной,
Как жизнь призывно новая.

Ах, было столько волнений,
Великолепных тревог,
Когда пароход «Ленин»
На берег нас посадить смог.
Глаза разбегались, как ялики,
И горели искристо.
Нас качали зеленые валики,
Подавая на пристань.
А потом мы неслись в экипаже
Среди пальм, кипарисов, мимоз,

И показалось волшебностью даже
С табаком встретить медленный воз.
В мягкой поступи буйволов сонных,
В тихом скрипе абхазской арбы
Будто слышится песнь перезвонно
Отдаленной пастушьей трубы.
Так и чуются горы раздольные,
Где в долинах барашки растут,
В деревнях — разговоры застольные,
На плантациях — зреющий труд.
Так и чутся мирная стройка —
Вся содружность рабочих, крестьян.
По шоссе заливается тройка,
Нагоняя хозяйский изъян.
А по улицам запах мимозный
Шлет приветы курортным гостям,
Обещая расцвет грандиозный,
Отдых, бодрость уставшим костям.
Сам когда-то болел и пропал бы.
За спасеньем явился в Сухум.
Вот почему еще с палубы
Я в душе ликовал наобум,
Ликовал за приехавших с пристани
К изумрудной целебной груди.
Где ж искать высшей истины
Для здоровья и сил впереди?
Любимый Сухум! Будь желанным для всех,
Ты пойми мою песню поэта:
Позади жизнедатный успех
Всем больным, — кому дорого это.
Мы из разных стран трудового Союза
Все под кровлю твою собрались,
Чтоб прибавить телесного груза,
Чтобы снова лететь в свою высь.

Ну, здравствуй, рай земли!
Под гимн морского шума
Несу свой гимн, где корабли, —
У берегов Сухума.

1927 г.

АБХАЗИЯ

(Фрагменты поэмы)

... Где-то там за спиной

За высокой стеной
В дальних, синих горах
Проживают легенды
В ущельях-норах.
Прометей,
Генуэзцы,
Золотое руно,
Да осколки разрушенных башен
Нам внушают,
Что очень давно
Этот край был
В поэме раскрашен,
Но вот годы прошли,
И на толще веков
Ныне правит страной
Боевая рука большевиков.
Мы отныне должны
Твердо знать поворот,
Что прекрасный
Абхазский народ
Строит новую жизнь —
Льет живую струю
В общий ленинский строй
И в борьбе, и в строю.
Он, как равный герой,
Мощно строит страну...
... Новь Абхазии — рай впереди:
Ныне жизнь — не легенда,
А стройная быль, —
По шоссе вьется лента —
Золотой тучей пыль —
Это в новую быль
Нас несет автомобиль.
От табачных плантаций,
От фруктовых садов
Хорошо птицей гнаться
Вдоль морских берегов
И на горный, на синий узор
Положить свой мечтательный взор
Сухум — Очамчиры
54
От Очамчир — путь в новый мир
Стрелой направлен в горы.
Новое шоссе, зеленые заборы.
До Квезани 30.
Километры — водопад.
Идем в ворота гор —
Цель короче.

Рядом — новый поезд.
И смешно к тому же:
Изумительные очи
Посылают буйволы
Нам вслед
Из грязной лужи, —
Только и видать
Их милые глаза да уши.
Непонятна буйволам
Болшевичья прыть,
А нам бы только
Темпы волей крыть
Да штопором социализма
Буравить недра,
Хотя бы на четыре километра
В глубь каменных
Пластов упрямых гор.
Рабочий из Ткварчели
Вот этим-то и горд,
Что мускулами
Сильных рук
Сковал он здесь труда
Могучий круг...
Да. Истина. Электро-пункт.
Новые дома. Оказия.
Глаза-гарпун.
Отсюда новая Абхазия
Вскрывает
Славы верный путь —
Социалистическую суть.
Именно отсюда вереницу
Грядущих лет
Абхазской стороны —
Истории
Прекрасную страницу —
Прочтем,
Восторгами озарены.
И песню о Ткварчелах
Гулким разом
Мы разольем
По звонким берегам,
Чтоб радовался
Большевицкий разум.
Рабочим, Строящим рукам
Так нова быль,
Совсем иной
Отсюда катится
Кипучею волной

Веселой Гализги-реки,
Где основали жизнь
Вселенинские горняки,
Где каждый
Инженер горит
Огнем энергии,
Как пламенный метеорит,
Упавший в горное гнездо
Непотухающей звездой.
Не Прометей,
Не демон здесь в горах,
А люди гордые
Советские в горах
Копают уголь —
Клад земли,
Чтоб этот клад
Грузили корабли
И вдаль везли
В союзный дом, нам,
Ткварчельский уголь —
Новым домам,
Чтоб все рабочие
О ленинской Абхазии
Рассказывали
Радостную быль,
А не фантазии.
Чтоб знали все —
Какой борьбой полна
За этот уголь
Абхазская страна,
Где каждый шаг
В горах кругом
Берется боевым трудом,
Где день и ночь
Должны глазасто
Гореть в борьбе энтузиасты,
И где победа
Так близка,
Как бурно
Брызжет Гализга,
Как тракт пролег
Златой змеей,
Любуясь трудовой семьей
Героев неприступных скал.
Здесь разум
Горный клад искал.
И вот нашел.
И горы вдруг

Воскресли от рабочих рук.
По изысканьям инженеров,
План цифр
От басен оголя,
Здесь миллионы
Тонн угля —
Богатства горного не счесть —
Абхазии
Промышленная честь!
За этой честью
Смотрит в оба
Неугомонный вождь Лакоба,
Любимец Нестор
Сын страны,
Чьи планы четки и стройны.
Веселись, Гализга,
Вестью к морю стремись —
Не устанет искать
Большевистская мысль
Среди горных палат
Ожидающих новый
Неслыханный клад.
Жизнь за нас!
Стройка в разгаре.
Красота в Акармаре.
Честь величию!
Удивления дальше миг:
Здесь, где
Вечность молчала,
Строить пришел большевик
И положил
Гениальное начало.
Вот она —
Первая штольня в ходу
Черным веером
Уголь раскинут.
Вагончики с грузом
Идут да идут,
Утверждая поэму-картину.
А картина такая,
Что, черт подери,
Не опишешь восторгов пером,
Не расскажешь, хоть сколько
С любовью смотри —
Кругом красота, кругом!
Даже в штольне внутри,
В коридоре сырой
Вечной ночи,

Где горят фонари,
Каждый встречный рабочий
Кажется гением недр:
Могуч его рост,
Он в движениях прекрасен,
Он торжественно — прост,
Он торжественно — ясен...
Инженер молодой,
Развеселый, как май,
Знай смеется в забой —
Нажимай, нажимай.
Эй, привет,
Уголь каменный,
Пролежавший
Великие тысячи лет!
Эй, спасибо,
Подземный брюнет,
Мерси.
Жизнь за нас!
Счастье с нами, как знамя.
Живем будто
В солнечной сказке, будто заново мир...
Так уголь,
Как очи абхазки,
Мы славим,
Влюбленные в жизнь.
Веселись, Гализга!..
Мы шагаем
Дорогой гигантов.
Ты стремись, Гализга!
Наша радость близка —
Мы струим,
Как и ты, в бриллиантах.
Вершины склонитесь,
Развергнись, земля:
Видишь, рисует
Шоссе вензеля —
Это волей,
Энергией,
Новью стройна
Абхазская крепнет
У моря страна.

ЗАВОЕВАННОЕ СЧАСТЬЕ

Сегодня день Абхазии — Апсны —
Освободенья день великий,

<http://apsnyteka.org/>

День неотцветающей весны, —
Торжественный и солнцеликий,

Когда абхазец на своей земле
Познал свой труд и дом
И в эти первые семь лет
Познал в краю родном:

Цветет, растет Страна Души
Весной Советовластья,
И никому не потушить
Раз завоеванного счастья!

Трудящихся стальная мысль
Слилась сегодня в праздник, —
Абхазия стремится в высь!
Абхазия грядущим дразнит!

Грамота! Строительство! Культура!
К социализму перекинут мост!
Горячая абхазская натура
Сумеет показать свой рост!

Вперед! Путь только начат, —
Шагай смелей и шаг утрой:
Для каждого теперь маячит
Прекрасной жизни красный строй...

1928 г.

П. ПАВЛЕНКО

ГАГРЫ

Как огрызок розово-белого гранита, лежат, погруженные в зелень лесов и лазурь моря, Гагры.

Тысячелетия назад также томила у этих молчаливых гор расцвеченная белыми тогами патрицианских вилл и резными парусами финикиян кокетливая Нитика — владения богини Эос, откуда выезжал каждое утро на своей золотой колеснице лучезарный Гелиос.

Здесь, по преданиям, Беллерофонт сражался с равными по силе мужам амазонками. Здесь бороздил море на своем корабле «Арго» божественный Язон. Здесь полчища Рамзеса-Сезостриса, воины Митридата и генуэзские наемники огнем и мечом утверждали господство своих гербов и из тысячелетия в тысячелетие записывали на земле «Страны Души» — Абхазии — неумирающие легенды о себе.

Оставляем на совести покойного Мордовцева весь этот букет имен, любовно собранный им в «Прометеевом потомстве», — откуда мы щедрой рукой и черпали наиболее благозвучные, — вокруг имени Абхазии.

Давно уже умерла Нитика. Где-то наспех воспетая Эсхилом и мимоходом отмеченная Гомером в девственных дебрях его сказаний.

И вот Гагры, как древний огрызок скал, изъеденный временем и морем, лежат на месте суровых укреплений Митридата и тихих пристанищ избалованной римской знати.

Горное шоссе из Сухума, кружащее в лесах, только у Бзыби бросает ваш автомобиль к самому берегу моря и мимо легкомысленных построек Новых Гагр мчит вас снова в полосу леса, сгрудившегося на узкой полоске земли между морем и скалами.

Еще далеко в горах — вы в чарующей власти леса.

Леса Абхазии — ботанический сад чудака-миллионера, возымевшего каприз представить в своем саду флору всех растительных поясов и зон, вырастившего, вопреки всем законам климатологии, пихту бок о бок с вечно-зеленым самшитом и рододендронами, ель — рядом с лавровишней, тис — с каштаном и липой. Все это в зарослях азалии, лиан и винограда.

Как частность, виноград здесь суровый и неприхотливый кочевник.

Он воспитывается на стволах и кронах деревьев, достигает колоссальной высоты, разбрасывается на два-три дерева, его ветви переплетаются гибкими косами, и листья его очень часто свешиваются с деревьев вниз вместе с благовонными гроздьями цветов каприфолии. Виноград здесь не лечат, не подрезывают, виноградных садов нет и в помине. В этом благословенном климате виноградная лоза кормит человека, предоставленная самой себе.

Леса, горы, изредка попадаются одинокие хижины, затем снова молчаливое лесное безлюдье, солнечный проблеск у Бзыби до Новых Гагр, и вот вы снова в лесу — в благоухающем уюте старых Гагр.

Услужливый путеводитель готов подсказать вам несколько сведений о Гагринском парке, бамбуковых рощах, фонтанах, развалинах.

Не верьте!

Это все тот же причудливый абхазский лес, правда, несколько приубранный, как вышедший на люди горец, который перевернул левой стороной вверх башлык и вытер травой запылившееся лицо.

Фонтанов и бамбуковых рощ, по правде говоря, уже нет.

Есть развалины, почтительно связываемые с именем Митридата Понтийского. Но в остальном — ничего нового.

Ничего, что бы можно было рассматривать вне величественной картины лесной поэмы Абхазии.

Кое-где по аллеям чья-то корыстная рука наметила фундаменты для будущих беседок и киосков.

Шоссе вяжет петлю за петлей — все вверх и вверх, по безлюдным аллеям, мимо пальм и глициний, к крышам единственно заметных в зелени построек — причудливому из папье-маше санаторию и серому, каменному б[ывшему] дворцу б[ывшего] принца Ольденбургского.

Отсюда во всю ширь разворачивается резная полоса моря.

Море у Гагр спокойно и блестяще, как поверхность стекла.

Горы крутым полумесяцем охватывают этот лиловеющий от их гигантских теней

блестящий осколок, делая его похожим на лагуну, и вдавливают его в песчаный берег, в самые аллеи парка, в откосы прибрежного шоссе.

Из замысловатых фигурных окон дворца и санатория видно, как в крутом и темном вареве моря застыли и не колышутся скромные потомки «Арго» — низкобортные фелюги и седые гребные баркасы.

Море, скалы, веера цветущих пальм, кремовые кроны японского клена — и ни одного обывательского домика, ни одного будничного голоса.

Нужно спуститься по шоссе к самому берегу моря, пройти ларчик приземистой крепости, замкнувшей в сером браслете своих стен исполком, почту, партком, гостиницу и древнюю церковку, — чтобы увидеть белые ларьки и деревянные лавочки гагринского базара.

За ними высится недостроенный железнодорожный мост и с двух сторон мохнатого ущелья глядят недочерченные овалы тоннелей будущей Черноморской дороги.

В глуби ущелья, за занавесью скал, узенькая цепочка грязно-серых, деревянных и из папье-маше домиков. Это и есть трудовые Гагры.

Вообще, говоря о Гаграх, нужно начать описание с слов Библии: «В начале бе принц, и бог бе принц»...

После пышных своей таинственностью Язонов и Сезострисов, Гомеров и Эсхилов, коварная рука истории вплела в летопись Гагр и имя принца-лавочника Ольденбургского.

Это он разбросал вдоль берега ленивые аллеи парка, построил гостиницы и дворцы, перенес из Швейцарии санаторий из папье-маше, наметил будущие курзалы и рестораны, игорные дома и уютные беседки для богатой и падкой на мелкие удовольствия своей аристократической знати.

Это он отодвинул в смрадный проход узкого и сырого ущелья домики тружеников, переслоив их даже там свинными фермами, мастерскими и службами. Он же корыстной рукой одел дикие прибрежные скалы приятными для глаз лестницами и отметил беседками, обязательными для всякого приличного, дорогого, рассчитанного на здоровую публику курорта.

«В начале бе принц», и его сердце — сердце старого ростовщика — волновали широкие прибыльные замыслы: создать из Гагр всероссийский картежный дом, русское Монте-Карло.

Недаром, видно, на осуществление этого замысла царское правительство бросило семнадцать миллионов рублей, как говорят, народных денег.

Но после принца побывала в Гаграх революция.

Скоропалительно выветрились за границу, вместе с принцем и его челядью, мечты о картежных домах, и из затейливых гостиниц съехали предусмотрительные, дальновидные дамы, мечтавшие обосноваться в Гаграх и основательно и уютно. Турманами вылетели питерские пажы, вертевшиеся вокруг принца и его пивных и картежных прожектов, и Гагры с головой окунулись в революцию, чтобы выйти из нее иными, чем были.

С революцией, как мы уже сказали, чреватые легкой выручкой прожекты о всероссийском игорном доме легко и без боли для Гагр были изжиты.

Правда, от этого несколькими домами стало меньше в Гаграх.

Правда, еще не достроены многие здания. Захирели беседки, повысыхали — к

большому удовольствию д-ра Рухадзе, заведывающего малярной станцией, — пруды — очаги малярии, — заглохли пышные фонтаны.

Правда, трудно стало теперь Новым Гаграм — осиному гнезду лавочников, выросшему в дни, располагавшие к крупным заработкам и небольшой разборчивости в средствах.

Может быть, трудновато теперь даже серым домикам в ущелье, где бывшие принцезы служилые люди перебиваются с воды на хлеб, грузят время от времени табак на пароходы и лениво балуются в тихих гагринских духанах ароматным кислым винцом в промежутках между грошевой получкой на каменоломне и перспективой крупного загадочного заработка в будущем.

Но на тенистые улочки Гагр уже каплет новая жизнь.

В принцевых дворцах и смешном (из папье-маше) санатории появились новые люди.

Они вывели вместе с сором из запущенных зал имя принца-лавочника и развернули в прекрасных солнечных покоях почилочные мастерские здоровья. Бронзовые сочные тела их густо поблескивали за длинным столом двухсветной столовой...

1924 г.

К. ФЕДИН

ПИСЬМО А. М. ГОРЬКОМУ

Ленинград, 7.XII.1924

... За Ваше письмо благодарю Вас, дорогой Алексей Максимович. Оно пришло в то время, когда я кончил роман, и — правда — я обязан ему бесконечно многим, как вам вообще. Я не ответил на него тогда же только потому, что не мог ни о чем говорить, кроме как о своей работе. Думал, что исцелюсь, «изгоню беса», да, видно, ошибся, пишу все о том же, простите... Рассчитывал написать потом с Кавказа, где отдыхал месяца полтора. Но Кавказ обленил меня и развратил до крайности. Я не ожидал ни такой пышности, ни такого безделья. Это не страна, а какая-то пастила, и люди там, как карамель. И — конечно — это не Россия! Мы там даже не гости, а так, какие-то пассажиры: дышим, пока нас не стряхнул под откос возница. Я жил некоторое время в Гудаугах, где к моему дому в сумерки подбирались стаями шакалы и выли всю ночь напролет. Бродил по реке Келасури (под Сухумом) и был в гостях у честных абхазских разбойников, которые платят налоги на украденные табуны скота. Бывал дважды на Новом Афоне, где теперь «совхоз» и несколько престарелых монахов в качестве привратников и «спецов» по виноделию, маслинному хозяйству и пр. Остальная братия рассеялась по свету, не пожелав снять рясу, ловит кефаль, торгует на майдане в Тифлисе и просит Христа ради в Туапсе. Живут. Жил я в Тифлисе, Сухуме, Батуме. Юг был для меня неожиданностью, которая потрясла воображение. Но, проснувшись однажды в вагоне где-то в Орловской губернии (незадолго перед тем я купался в море) и увидев простую, как блюдо, землю, в снегу, под сереньким небом и

черную цепочку подвод, дергавшуюся по перепутку куда-то в даль от поезда, — увидев это, я внезапно ощутил такую радость, что чуть не заплакал. И потом выскакивал, раздевшись, па каждую станцию, чтобы постучать каблуками по замерзшей слегка земле платформы и вдохнуть крепкий душок молодого снежка. Как хорошо побывать в чужой стране, когда есть своя!

СУУК-СУ

Какое множество на свете занятий — не перечислишь! Одни доходны больше, другие — меньше, но люди кормятся понемногу, живут.

Греки разводят табак, мингерльцы держат духаны, аджары чистят проходим сапоги, турок и тот торгует суук-су.

Это унизительно — бегать по столице с бочкой холодной воды за спиной и кричать, надрываясь:

— Суук-су! Холёдный!

Но соскабливать ногтем грязь со штанов проезжих фертиков и смотреть при этом по-собачьи — снизу вверх — еще хуже.

Можно было бы навсегда бросить Сухум-Кале, уйти в горы, завести коня, даже много коней (почему не завести много коней?), если бы не домино! Дьяволы костяшки!

— Не будь я абхазом, если не отыграюсь! — клянется про себя Измаил.

Взор его мутен, точно у буйвола, в том, как он переставляет ноги, столько мрачности, что кажется, будто он идет на злое дело.

Измаил садится на вывороченный из набережной камень и спускает ноги к воде. Отсюда, если повернуться, видна вся столица.

Белые и желтые домики бережливо завернуты зеленью садов. Город похож на громадную корзину персиков, переложенных листьями. Персики созревают на солнце, прикрытые синим небом, и между ними, в неподвижной зелени улиц и садов, копошатся козявки-люди.

Иногда две-три козявки сползут к морю посмотреть на Трапезундские горы. Они призрачны, их очертанье горит серебром, в нем чудится снег и — под снегом — неясная зелень. Может быть, это воздух, а не горы, но они показываются на небосклоне в той стороне, где Турция, где Трапезунд, и все верят, что это — горы. Русские говорят, что их видно перед дождем, греки — что они появляются к погоде, турки не говорят ничего, смеются, бегут по горячему тротуару, кричат; — Суук-су, холёдный!

Ах, провалиться этому суук-су! Неужели Измаилу ничего не остается делать, как только торговать холодной водой?

Он смотрит с тоскою в море. Там, далеко, откуда встает прозрачная горная цепь, море вытянулось блестящим клинком. Ближе оно голубеет, потом голубизна его начинает просвечивать синевою, потом — зеленью, и вот огромное, все глубже зеленеющее поле широко катится к ногам Измаила. Он видит, как, не двигаясь с места, окунаются в зелень черные рыбацьи лодки и — ближе к берегу — подобно лодкам, показываются и пропадают круглые черные горбы дельфинов. От солнечной дороги, бегущей к Измаилу по воде, а может быть, от зависти к беспечным дельфинам у него мутится в глазах, он слепнет и жмурится. Глядеть дальше на это изобилие света, простора и спокойствия, когда на душе мрачно и

тесно, у Измаила не хватает сил, он отворачивается от моря, распрямляется, идет в город.

Набережная кажется ему отвратительной. Под пальмами, приладив к жестким стволам рамочки с образцами своего искусства, дремлют бродячие фотографии. Их аппараты, накрытые черными суконками, напоминают что-то погребальное и неподвижно, таинственно ждут жертвы. Измаилу вдруг становится странно. Он силится вспомнить какое-нибудь заклинание, молитву, но не находит в голове ничего, кроме домино.

— Да будут прокляты эти костяшки во веки веков! И кофейни, где в них играют! И люди, которые держат кофейни! Во веки веков!

Измаил покидает скупую тень запыленных пальм и выходит на улицу. Она безлюдна, столики, выставленные из кофейен на тротуары, пусты, солнце выжгло в городе всю жизнь. И только по дороге, навстречу Измаилу, быстро шагает белый человек в заморском костюме и широкой шляпе. Осаждая его с обеих сторон, мчатся за ним черномазые оборвыши с криками:

— Почистить, почистить!

Они забегают вперед, кидают под ноги человеку свои сапожные ящики, размахивают щетками, затевают драку. Человек отбивается от них, перескакивает через ящики, широкой, сильной ладонью толкает мальчишек в полуголые бронзовые плечи. Но они наседают на него, цепляются, кричат:

— Почистить!

Измаил внезапно загадывает: если даст почистить башмаки — пойду, не даст — нет.

Взгляд его загорается, он следит за человеком в заморском костюме, как ястреб за цыпленком. Вдруг тот безнадежно машет рукой, круто поворачивает вбок, прислоняется к пальме и подымает ногу. Под эту ногу подкатывают сразу три сапожных ящика и в нее впиваются шесть быстрых, вымазанных ваксой рук. Тогда сердце Измаила останавливается, глаза перебегают через дорогу, на длинную череду приземистых построек с открытыми настежь широкими дверями, и он срывается с места.

— Пойду!

Как упруги и мягки шаги Измаила! Как плавно раскачивается за его спиной золотая кисточка башлыка! Какую бодрость вливает в грудь Измаила горько-влажное дуновение моря!

Вот где жизнь — зовущая, точно морской прибой, — за этими широкими, настежь открытыми дверями кофейен!

Измаил приостанавливается у порога.

В кофейне прохладно, запах кофе смешался с табаком, говор и возгласы игроков в домино заглушаются треском костей по мраморным столикам. Это похоже на щелканье счетов в громадном банковском зале.

И как банкиры, важны степенные греки, в снеговых седирах под высокими плоскодонными шапками, с толстыми перстнями на указательных пальцах. Измаил обходит столики, зажав в кармане двугривенный, который должен принести счастье. Вдруг он вздрагивает и медленно, по-ястребиному, отворачивает свою легкую голову назад, к выходу: за столиком сидит его злейший враг — человек, не проигравший Измаилу ни одной партии в домино, абхаз по прозвищу Тэфик. Измаил не видел его лица, он едва приметил ничтожное движение руки, которая подвинула на столе костяшку, и он узнал

пальцы Тэфика. Руки Тэфика выгнуты лодочками, пальцы его быстры, острые кончики их вздернуты вверх — о-о! — об этом чудовище давно уже тоскует хороший абхазский кинжал!

Вон из кофейни!

Но у самых дверей Исмаилу преграждает выход человеческая туша, пахнувшая жареными каштанами. Исмаил поднимает глаза. Они упираются в мясистый, оранжевый, точно раздавленный персик, нос. Это — другой враг Исмаила. Он мнет занавешенным усами ротом каштановую жвачку и прямо дышит на Исмаила: — Надо отыгаться, Исмаил, садись!..

И вот Исмаил мешает кости на мраморной доске столика, пьет огненный кофе по-турецки, морщит брови. Кости щелкают по мрамору, кости свистят. Партия, другая, третья. Исмаил что-то шепчет, Исмаил держит счет рябым черноглазым фишкам, у него дрожат ноздри, он стискивает челюсти, он проигрался.

Исмаил быстро встает, кидает на стол двугривенный, протягивает партнеру руку, хочет уйти. Но похожий на раздавленный персик нос общительно сопит:

— Знаешь, Исмаил, Тэфик стал большим человеком. Он поступил в комиссию... ну, как это... по ликвидации кровной мести. Знаешь, что это? Теперь нельзя резать живот, понял?

Исмаил, как конь, косит глазом туда, где сидит Тэфик, выпрямляется, говорит:

— Он не большой человек, он большой ишак! Большой человек...

И он показывает крепко сжатым кулаком, как обращается с оружием настоящий большой человек. Его глаза мутнеют, точно охваченное холодом стекло, пояс как будто туже перетянул его стан, он гордо поднимает голову и, гарцуя, удаляется.

Решено!

Исмаил покинул кофейню, чтобы никогда не вернуться в нее. Он сыграл последнюю партию в домино и начал новую жизнь...

Наутро он был в горах. За его спиной вместо башлыка с золотой кисточкой висел бочонок, натуго обтянутый циновкой из чалы. Вокруг пояса было намотано полотенце, в нем лежал толстый граненый стакан.

Исмаил зашел далеко в ущелье, гораздо дальше, чем ходили турки. Он не хотел раньше времени попадаться им на глаза. Он отыскал в узкой расщелине камня буйный родник, нацедил доверху бочонок ледяной воды и побежал в город. Ему было приятно ощущать спиной холод бочонка. Он попробовал крикнуть, подражая туркам:

— Холё-д-ный, есть такой делё!

Это развеселило его, он побежал еще быстрее. И правда: чем плохо торговать холодной водой?

Базар в Сухум-Кале шумный, народ теснится на улицах, как в бане, крики торговцев мешаются с воплями ослов, печальные буйволы тупо прокладывают дорогу арбам своими раздутыми, как бочки, боками. От толкотни, от зеленого зноя, плывущего с моря, от солнца и криков люди мечутся с разинутыми ртами, и базар пахнет потом сильнее, чем вином и кожей.

В этой бане самый желанный человек — турок с бочонком холодной воды.

— Суук-су, холёдный! — кричит турок. Он бежит, неслышно переставляя ноги в мягких чувяках, смеется, на его зубах играют солнечные зайчики.

— Суук-су!

И вдруг, в самом пекле базара, где от людей подымается пар, как от вареной

кукурузы, где от торговца до торговца не дальше, чем в кукурузе от зерна до зерна, вдруг кто-то изо всей мочи заорал:

— Абхаз продает суук-су!

Тогда весь базар на секунду замер, потом мгновенно перевернулся, и все пошло вверх тормашками.

— Абхаз притащил на себе воду, как ишак!

— Абхаз возит воду!

— Что теперь делать туркам, когда абхазы сами бегают с водой по городу?

В кольцо этих криков, в кольцо людей, с любопытством глазевших па необыкновенного торговца водою, стоял Измаил.

В передние ряды ротозеев протискивались турки. Они смеялись, как всегда, показывая прекрасные зубы, коротким подергиванием плеч поправляли тяжелые, разукрашенные серебром и бубенцами бочки с водою, и нельзя было понять, нравится им история с абхазом или не нравится. А базар все вопил и толкался вокруг Измаила.

Надо было много мужества, чтобы перенести такое унижение. Но Измаил нашел силы улыбнуться и ласково предложил:

— Холёдный!

Тут известный базару купец-армянин, державший лавку стеганых одеял, прохрипел, утирая потный лоб и наматывая нитку с иглою вокруг уха:

— Давай пробовать твой абхазский лимонад!

Измаил торжественно вынул из-за пояса стакан. В бочку с водою была вделана каучуковая трубка, конец которой Измаил держал в руке. Он открыл зажим трубки, и прозрачная струя сильно ударилась в дно стакана. Он налил стакан не жалея, с верхом. Базар притих и сотней глаз смотрел, как одеяльщик глотал воду. На его ухе, точно сережка, болталась игла, он медленно запрокидывал волосатую потную голову назад, глаза его постепенно щурились, пока блаженно не закрылись совсем. Он делал крошечные глоточки, один за другим. Вытянув воду, не открывая глаз, он покачал головою и произнес в тишине:

— Прямо — лед!

Так решилась судьба Измаила.

— Давай еще стакан, — сказал армянин, — твоя вода — не то что у турок или у каких-нибудь татар!..

С этой минуты Измаил нацеживал стакан за стаканом и ему почти не приходилось кричать — суук-су. Пили все: продавцы фринго и кукурузы, духанщики и чистильщики сапог, торговцы жареными каштанами, игроки в нарды — каждому хотелось попробовать воды у абхаза.

Скоро бочка Измаила опустела, и он побежал в горы за свежей водой. В кармане у него позвякивали медяки, он напевал песню.

За полдень базар опустел, торговля пошла тише, и продавцы холодной воды передвинулись в город. По размягченному асфальту улиц они бежали навстречу друг другу, смеясь и без усталости выкрикивая свой гортанный призыв.

Измаилу везло и здесь. Его останавливали, хвалили воду, он смеялся в ответ, и в его смехе появилось что-то турецкое — беспричинное, неуловимое.

Незаметно для себя он очутился на набережной. Черные, разинутые пасти кофейен надвинулись на него, и он расслышал переливавшийся треск костяшек по мрамору. Звуки были так неожиданны, что он не сразу узнал их. Он остановился, турецкая улыбка исчезла с его лица, он вытянул шею, и голова опять стала похожа

на ястребиную.

Внезапно, за треском костей, он различил явственный шепот:

— Счастливый день, Исмаил, счастливый! Сегодня или никогда!

Он обернулся, но подле него никого не было. Он опять вслушался в шум кофейен.

Ему почудилось, что шепот крался оттуда:

— Счастливый день!

Исмаил облегченно встряхнулся и, кинувшись в кофейню, крикнул совсем не то, что хотел:

— Суук-су!..

Он снял со спины бочонок и поставил его у двери кофейни, на солнце.

Его глаза сами собою отыскивали противника: у окна, за пустым столиком, сидел

Тэфик. Исмаил видел, как Тэфик мотнул ему головой и показал на стул.

Через минуту изогнутые лодочками пальцы Тэфика быстро тасовали кости

домино на мраморе. Исмаил отсчитал фишки и расставил их перед собою

городком. Тэфик вышел, тихо щелкнув костью по столу. Исмаил считал очки,

затаив дыхание. Он ни разу не взглянул на противника, отвечал осторожно, долго обдумывал ходы и прикупал мало.

Тэфик насторожился, точно почуяв беду, и все крепче и судорожней ломал и

крутил пальцы. Вдруг Исмаил подпрыгнул на стуле, воинственно закричал и

перевернул свою последнюю фишку. Завсегдатаи кофейни повскакали со своих

мест. Тэфик стоял бледный. Не отрывая глаз от ломаной линии очкастых фишек, он силился улыбнуться.

— Выиграл! — кричал Исмаил. — Выиграл у Тэфика!

Люди столпились вокруг них, побросав кофе и неоконченные партии в нарды и домино.

— Проиграл! — тихо сказал Тэфик. — Тэфик проиграл!

Исмаил трясущимися руками смешал кости и вызывающе взглянул на Тэфика.

Они опять уселись, но народ уже не отходил от их стола.

И вот Исмаилу становится душно, ему кажется, что руки берут и выдвигают не те кости, какие он хочет, десять, двенадцать пар глаз следят за его движениями, он все чаще прикупает.

— Браво, Тэфик! — слышит он чье-то сопенье.

«Это, наверно, тот, с носом», — думает Исмаил и сбивается со счета.

Руки Тэфика скользят над столом какими-то птицами. Исмаил поднимает на него взгляд и видит, как он спокойно покусывает свои короткие усы.

— Всё, — говорит Тэфик.

— Что — всё? — недоумевает Исмаил.

— Проиграл, — отвечает Тэфик.

— Кто?

— Ты!

Исмаил смахивает со лба пот и смотрит на стол. У Тэфика нет ни одной фишки.

— Но первую партию проиграл ты, — угрожающе напоминает Исмаил.

— А вторую ты, — говорит Тэфик, — и третью ты, и четвертую...

Исмаил нацеживает сквозь стиснутые зубы полную грудь воздуха, от напряжения его перекашивает, но он заставляет себя сидеть.

Народ вокруг стола начинает посмеиваться. Исмаил проигрывал партию за

партией. Он, уже не глядя, видел кривую улыбочку Тэфика, он не мог оторваться от его рук.

— Давай рассчитаемся, Измаил, — предложил Тэфик.

Измаил высыпал на стол серебро и медь. От волнения он не мог считать, и Тэфик ловко перебрал монетки своими отвратительными хищными пальцами.

— Не хватает копеек, — сказал он.

— За мной, — мрачно прохрипел Измаил, вставая и протискиваясь сквозь толпу.

— Пстой, пстой! — закричал ему вдогонку Тэфик. — Про тебя говорят, что ты торгуешь суук-су? погоди, я попробую твой товар, будем квиты!

Измаил взвалил на спину бочонок, хотел уйти, но его обступили игроки, бездельники, целая толпа зевак, высыпавшая из кофейни.

— Налей-ка холодненькой, — попросил Тэфик.

Темный от крови, хлынувшей к лицу, Измаил безмолвно налил стакан воды и подал его Тэфику.

И тогда вот что произошло.

Тэфик неторопливо поднес стакан ко рту, набрал полный рот воды, потом вытаращил карие глаза на Измаила. Толпа ждала, что будет. Тэфик надул щеки, сделал шаг вперед. И в тот же миг из его рта с силой вырвалась тонкая прозрачная струя воды и ударила в лицо Измаила.

Измаил окаменел. Вода плеснула его по щекам, по носу, по лбу и весело покатила за воротник.

Тэфик плюнул в землю, еще ближе надвинулся на Измаила и громко сказал:

— Такой водой моются в бане, а не торгуют на улице!

Толпа разразилась хохотом.

— Он целый день грел свою бочку на солнце! — продолжал Тэфик.

Измаила бросило в дрожь. Весь город смотрел на его унижение! Он разглядел человека с оранжевым носом, как раздавленный персик, одеяльщика с базара, бывшего князя Шервашидзе в калошах, с зонтиком, с седыми царственными подусниками, как у пристава. Греки смотрели на Измаила, шевеля своими толстыми пальцами в перстнях, турки радостно показывали белые зубы.

Измаил поднял к небу руки, потряс ими и с пеной на губах прошипел:

— Пусть будет проклят весь твой род, пусть твоего сына заживо изложут черви и кости твоей матери пусть растащат шакалы! Клянусь, что Измаил примет смерть не раньше, чем трижды повернет в твоей поганой груди отточенный, как бритва, кинжал! Клянусь, что...

— А-а-а! — закричал Тэфик. — Ты грозишь мне отомстить? Даешь клятву при свидетелях? А закона против кровной мести не знаешь? Ну-ка, пойдем в комиссию!..

Тут турки ощерились еще радостней, и греки чаще зашевелили пальцами, и толпа захохотала, как дьявол.

Измаил кинулся бежать...

Он опомнился только за городом, в широкой долине. Пот лил с него ливнем. Он передохнул и пошел в горы. Бочонок все еще болтался за его спиной. На узкой тропе колючие кусты ежевики стали цепляться за циновку. Измаил вспомнил о бочонке, скинул его с плеч и, не раздумывая, бросил в ущелье.

Потом он забрался на вершину горы. Там он отыскал гладкий округлый камень, вытащил из-за пояса короткий кинжал в посеребренных ножнах и уселся в тени. Вынув кинжал, он попробовал его острие на палец, погладил ладонью камень, поплевал на него и начал точку.

Лицо его было свирепое, он часто оскаливал зубы и стонущим тихим голосом пел

песню о добром, бедном абхазе Измаиле и о злодее, чудовище, шакалином выродке Тэфике. Потом он вспомнил, как выиграл у Тэфика партию в домино, как дрожали у злодея руки, и ему стало легче. Он посмотрел вдаль.

К розовому морю скатывались игрушечные домики столицы. Пышная зелень садов заботливо прикрывала землю.

Измаил отдохнул, ветер высушил на нем обильный пот, его клонило в дрему. Он попробовал кинжал на язык, улыбнулся, лег на спину, стал глядеть в небо. Белое облачко проплывало над ним, он вгляделся, ему почудилось, что белые домики столицы убегают в розовое море. Он зажмурился...

Как белое облачко в небе — так Сухум-Кале во вселенной.

1925—1926 гг.

ЧЛЕН ДЕЛЕГАЦИИ

Кончался ноябрь. Парк с его слоновыми пальмами в три обхвата, с аллеями вашингтоний в кудрявых волосках на огромных пальчатых листьях, с палкообразными сухими кактусами, с зарослями бамбуков, в которых дышит влажная прохлада, — все эти чудеса из проснувшихся географических атласов еще стояли перед моими глазами, когда я ехал в автобусе по берегу Черного моря в Очамчири.

Перемежались табачные плантации с мандариновыми садами, обработанные, культурные участки сменялись нетронутыми горами. На холмах высились эвкалипты с гладкими, белыми, как мел, стволами. Лопнувшая кора на них скаталась в трубки, покачиваемые ветром, похожие на шелуху, и казалось, что деревья только что отболели корью. Перед домами, поставленными на сваи и окруженными стоячей водой, на сухих проталинах играли дети. Листва садов была как будто натерта маслом и припудрена пылью — такой обремененной она казалась, и в странной неподвижности деревья вдыхали благодатную свежесть моря.

По дороге, навстречу нам, то в одиночку, то караванами, попадались ишаки, груженные свежим табаком. Их сопровождали абхазцы в обычных своих башлыках, хитро накрученных на голову. Изредка женщины проезжали верхом на коне, останавливаясь, чтобы пропустить автобус, снисходительно оглядывая машину с высоты седла.

Перед достраивавшимся вокзалом железной дороги на пыльной площади распутывались грузовые автомобили. Буфет переполняла разнообразная публика, стекавшаяся на станцию с высоких гор и с побережной полосы.

Когда я устроился за столом, подкатил автобус. Первым ступил на площадь абхазец в лоснившейся черной бурке с плечами, как рога, поднятыми вверх, в башлыке сверкающей белизны. Бурка не шелохнулась на нем, скрывая его легкие шаги, и было похоже, что он переплывает площадь, стоя в лодке. Появившись в дверях буфета, он на мгновение заслонил собою вход и медленно повел головою, озирая столы. Все было занято. Чтобы развернуться, абхазец вошел в буфет боком, описал громадную окружность торчащими плечами бурки и удалился. Через четверть часа я вошел в купе вагона. С дивана поднялся абхазец.

— Не беспокойтесь, пожалуйста.

<http://apsnyteka.org/>

— Прошу вас, пожалуйста, — сказал он мягко.

Бурка, растопырившись, висела в углу. Коричневая черкеска туго обтягивала абхаза, патронташи на груди готовы были лопнуть, он снял и повесил к бурке кинжал в серебре и пояс.

Приглашая его сесть, я показал на место у окна. Он сделал такой же жест и сказал: — Вы — старший. По нашему обычаю, вам принадлежит первое место.

Он настаивал на этом с вежливым и непоколебимым спокойствием, и я должен был спросить, сколько ему лет. Он был немного моложе меня, и я уселся к окну.

— Я прямо с поля, не успел даже помыть ноги, — с улыбкой сказал абхазец. — Где здесь вода, не знаете?

Он говорил по-русски хорошо, с тем качким акцентом, по которому легко узнается кавказец. Едва двинулся поезд, он ушел в уборную и вернулся оттуда босой, с обувью под мышкой. Вытянув белые ноги в закатанных выше щикотолок узких штанах, он с удовольствием потер ступнями по ворсистому коврику и принялся заботливо свертывать сапоги с высокими голенищами из нежной темно-зеленой кожи.

— Вы далеко едете? — спросил он многозначительно и тихо.

— В Армению.

— Может быть, вы едете туда потому же, почему еду я? — спросил он еще тише.

— А почему вы едете?

— Я еду на праздник Советской Армении.

Он сказал это торжественно, и тогда доверительность его тона, его почти восторженный и сосредоточенный взгляд, его одежда, как на подбор складная, новая, — все приобрело особый смысл. Он разматал башлык. Его голова была очень хороша — в крупных кудрях, с седыми, гладко выстриженными висками, с коричневым лицом, в котором необычно было видеть одновременно и ласку и надменность.

— Туда, наверно, съедется народ со всего Союза, — сказал он. — А для меня это произошло неожиданно. Я работал в поле, резал табак. За мной прибежали, говорят, надо скорее идти в район, там ждут. Я пошел. Мне сказали, что я поеду от колхозников Абхазии приветствовать Армению. Я председатель колхоза в Лыхнах, слышали? В районе мы составили приветствие, и я побежал домой переодеваться. И потом насилу поспел в Гудауты, на автобус.

Он улыбнулся. Он был счастлив, что не опоздал на автобус, — это было видно, и ему было приятно, что я это вижу. Он вынул из патронташа на груди пустой патрон и достал из него скрученный, как папиросный мундштук, маленький листок бумаги.

— Мне сказали: смотри, не пропустили ли мы чего в приветствии, — тогда ты добавь.

Он бережно раскрутил бумажку, исписанную карандашом, и зажал ее в ладонях, чтобы разгладить. Поглядывая на нее, он продолжал разговаривать, и скоро я узнал его имя, его образование, историю его богатого колхоза и кое-что о табаке, об охоте с соколом на перепелов, об инжире, или винной ягоде, и о многом другом. Он говорил медленно, слово к слову, как будто самая простая мысль требовала от него проникновения.

Перед сном я вышел в коридор размяться, а когда опять заглянул в купе, абхазец держал перед собою листок бумаги и, зажмурившись, неторопливо шевелил губами...

Утром он стоял перед окном и с сочувствием подергивал головой. Насколько хватало глаза, всюду громоздились скалистые горы, сурово стряхнувшие со своих острых плеч всю растительность в провалы ущелий.

— Камень, камень. Как тут жить человеку? — твердил абхазец.

После расточительной природы его родного побережья бесплодие этих вершин и правда удивляло. Но в восклицаниях абхазца я заметил не столько изумление, сколько гордое и словно детское довольство. Строгие пространства раскрывались перед ним, как перед господином мира, которого могущество переносит из одного края земли в другой, и он любит своим сознанием, что все видимое подвластно ему. Впервые выехав из Абхазии в соседние земли, мой спутник чувствовал себя не гостем, а все тем же хозяином, каким был несколько часов назад на табачном поле своего колхоза.

— Меня тут ожидали, — сказал он мне на вокзале Тбилиси. — Я буду присоединен к грузинской делегации.

Он был еще торжественнее, чем накануне, и говорил с такою приподнятой таинственностью, точно доверял мне государственный секрет. У него блестели глаза, он стал как будто еще больше, его белый башлык и рогатые плечи бурки высоко проплывали над суетливыми толпами платформы. Мы расстались друзьями, взаимно обещая увидаться на празднике в столице Армении. И вот эта столица. Многоэтажные здания из розового туфа, в колоннадах, воскрешающих цветущую эпоху армянского стиля, подле плоских кровель древнеазиатских глиняных мазанок; железные каркасы и леса строящихся сооружений; озабоченные крикливые автомобили на широких улицах, и рядом с ними, в тесных щелях древних проулков, понурые ослики, задевающие своими вьюками встречных прохожих. Неукротимое тепло юга все еще насыщало город. Сотни гостей, приехавших на праздник, по южному обычаю, не уходили с улицы до поздней ночи, знакомясь с художниками, актерами, архитекторами — армянами, для которых эти живые улицы в эти теплые предзимние ночи — с детства привычная кровля.

Празднества начались с заседания в театре. Быстро сгущалась духота.

Непрерывно входили люди, словно состязавшиеся в пестроты своих одежд, уборов, украшений. Кавказ с его вкусом к краскам и причудам форм старался разместиться в стенах, которые ему были слишком тесны. Курды прошли на сцену по дощечкам, перекинутым через оркестр, в бахrome разноцветных платков, намотанных на голову, яркие, как тропические птицы. За ними потоком влились черно-белые широкоплечие дагестанцы. Пришли аджары, черкесы, сваны. И опять, как будто подымаясь над всеми, всплыл на сцену абхазец.

Он показался мне слепком с самого себя: ни одна морщинка не шевельнулась на его лице, ни одна прядь его косматой бурки не дрогнула. Он занял место в ряду других делегатов, его сверкающий башлык, завязанный по-праздничному пышно и замысловато, был виден из всех уголков театра. Он сидел неподвижно.

Когда открылось заседание, когда пролилось слепящее мигание прожекторов на сцену, и все поднялись, и музыку заглушили крики приветствий, я увидел, как улыбка постепенно изменяет лицо абхазца, как простодушие ребенка подавляет его надменные черты, и даже его большие крестьянские руки становятся похожими на детские, неловко, непривычно торопясь попасть в стремительный темп рукоплесканий.

Он сначала увлеченно следил за речами. Говорила Москва. Говорил Азербайджан.

Говорила Украина. После каждой речи абхазец, внимательно повернув ухо к председателю, вслушивался, кому предоставляется слово. Потом он опускал взгляд на колени и смотрел в свою записку. Он смотрел в нее недолго, его глаза спокойно прикрывались, губы вздрагивали, он доставал платок и вытирал вспотевшее лицо. Юпитеры безжалостно поливали сцену жаром, дыхание зала закупоривало ее, как бутылку, люди начали снимать с себя тяготившие уборы. Размотав башлык и поднявшись, чтобы скинуть бурку, абхазец увидел меня. Он закивал мне обрадованно, я пробрался к нему поближе, и он шепнул:

— Много моих слов уже сказали. Но ведь это все — не от Абхазии.

Я согласился с ним.

Когда кончили говорить от имени Грузии и слово предоставили Аджаристану, он обернулся ко мне, и я понял по его взгляду: «Сейчас». Он взялся за башлык, но тотчас отстранил его и старательно вытер платком лицо. Он одернул черкеску, поправил пояс, положил руку на кинжал. Оратор-аджарец кончал речь. Ему уже аплодировали. Поднявшись, председатель наклонился к микрофону. Вместе со своим знакомцем я взволнованно прислушался к его голосу. Он дал слово Чечне. Потом — Кубани. Потом Ингушетии.

Я сказал абхазцу:

— Напишите записку, чтобы вам предоставили слово.

— Зачем? — спокойно ответил он, подумав. — В президиуме знают, что я тут.

Ораторы сменяли друг друга, заседание близилось к концу, из-за духоты многие гости уходили со сцены, зал редел. Абхазец был неподвижен, одна рука — на кинжале, в другой — скатанный клубком мокрый платок.

Наконец, в гуле музыки, народ стал вытекать из театра на улицу. Я встретился с абхазцем в людской толпе. Он спросил — не устал ли я, и пожелал мне покойной ночи. Его голос был мягок, улыбка по-прежнему ласкова. Он говорил так, будто с ним ничего не произошло. Но мне показалось, что черты надменности стали в нем резче.

На другой день я столкнулся с ним на демонстрации. Он словно хотел избежать разговора со мной, но мы стояли лицом к лицу.

— Я считаю, что это правильно, — проговорил он рассудительно, — что мне не предоставили слова: я вхожу в делегацию Грузии, а ведь от Грузии оратор выступал. Тут народ, как мы с вами думали, со всего Союза.

В его любезной, так располагавшей к нему улыбке мелькнуло что-то рассеянное, разговор у нас не получился, и позже, встречаясь с абхазцем, я не мог отделаться от чувства, что ему неприятно, что я был близким свидетелем его возбуждения и разочарования в театре...

Как-то в кругу товарищей я рассказал о своей встрече с абхазцем.

— Вы понимаете, этот крестьянин, взятый с колхозного поля во время работы и посланный гостем в Армению, — государственный человек. Ведь он огорчился и страдал за свою Абхазию, а вовсе не за себя.

— Но позвольте, — перебили меня, — мы что-то не помним, чтобы на празднике кто-нибудь присутствовал из абхазцев.

— Как же! Такой большой, стройный, в белом башлыке, в бурке, такой красивый человек...

— Красивый человек? — переспросил меня один товарищ. — Да на мой вкус, все, кто там был, — красивые люди...

Мы переглянулись и замолчали.

1938 г.

ПИСЬМО А. М. ГОРЬКОМУ

Ленинград. 7.I.1936

Дорогой Алексей Максимович!

Третьего дня послал вам вторую (последнюю) книжку «Похищение Европы». Невероятно много сил отнял у меня этот роман, и результаты работы, очевидно, не соответствуют израсходованной энергии. Я был занят им пять лет; правда — около двух лет скушала болезнь, вообще понизившая мою работоспособность. Но так или иначе я довел дело до конца и чувствую себя сейчас так, словно перешел сомнительный мосточек через коварное ущелье. Работу я кончил в октябре и тогда же, на радости, отправился на юг, чего до сих пор не решался делать из-за легких. Почти месяц я прожил в Сухуме и успел увериться, что пребывать мне в таких местах не следует: с утра до ночи я должен был приспосабливаться к самым капризным сменам температуры, от жары до холода, к целой гамме влажностей, ко всевозможным оттенкам комбинаций из этих двух факторов, плюс ветер, плюс солнце, плюс бог знает что...

Я решил исполнить давно задуманный план поездки в Армению и двинулся на Эривань. К сухумским капризам термометра прибавились высоты перевалов, высота самой Эривани при умопомрачающей неустойчивости южной зимы. После этого путешествия ленинградская постоянная и равномерно-подлая слякоть мне показалась раем, — я действительно почувствовал себя превосходно...

Р. S. Вам из Сухума должны послать сборник абхазских сказок. Получили ли? Сказки есть великолепные. Но перевод настолько убог, что зло разбирает смерть как! А ведь в Сухуме можно было найти недурного редактора — есть там такой русский — Новодворский, вполне грамотный человек.

В. ШЕРШЕНЕВИЧ

* * *

Эй, худые иссохшие скалы
И прибой, что упрям и жесток,
В ночь в оврагах, как дети, шакалы,
Днем — медузы — из студня цветок.

Там, в зените, застывшая птица,
Выше воздуха, выше, чем взор...
О Сухум, о кавказская Ницца,
Прямо в море скатившийся с гор.

Ослепленно белеет по склонам
Через зной снеговая ступень...
Море шепчет соленым жаргоном
Про прибрежную, южную лень.

Словно медленный буйвол, по небу
Солнце едет, скрипя, на закат,
О Абхазия горная, требуй
В свою честь от поэтов баллад.

Влажный ветер, подующий с моря,
Он здоровье на крыльях несет.
О Сухум, строй твоих санаторий
Гонит кашель и туберкулез..

Изо дня в день шло единоборство:
С Юга — воздух, с России — болезнь.
О, Абхазия, — это упорство
Уложиться обязано в песнь.

Руки солнца ожогами снимут
По лохмотьям всю кожу с меня...
Опалительный, ласковый климат,
Долго будешь ты снится, маня.

Возле пены лежать без раздумий,
Солнце прямо в охапку ловить!
Как прекрасно в палящем Сухуме,
Здоровея и крепня, любить.

1925 г.

В. ШИШКОВ

ПИСЬМО А. М. ГОРЬКОМУ

Сухум, 17 ноября 1925 г.

Мы живем сейчас с Вами почти на одной параллели, и я решил побеспокоить Вас своим письмом.

У нас, в Сухуме, несмотря на зиму — теплынь, иногда жарко. Дня четыре тому назад мой термометр на солнце дал 47 °, а в общем — дневная температура градусов 20 С. Все зелено, цветы, словом жить можно. Сейчас море начинает охлаждаться — стоят теплые туманы. Я гляжу с горы в окно — туман редет, показываются очертания прибрежной полосы, фелюги и даже рыбацьи лодочки в

<http://apsnyteka.org/>

дали. Так постепенно проясняется и советская наша жизнь: из хаоса, тумана, постепенно рождаются радующие сердце факты нового строительства внутреннего и внешнего.

... Алексей Максимович, милый! А когда ж Вы приедете к нам? Хотя не надолго бы. Ведь мы все любим Вас очень!

ОТЕЦ МАКАРИЙ

I

Декабрь. Я сижу на берегу Черного моря и прислушиваюсь к ритмическому гулу его волн. Где-то, вероятно, возле Новороссийска, вырвался из-за гор яркий освежающий норд-ост, кинулся на море, взмесил необозримую морскую синь, а здесь, в тихом Сухуме, — лишь отзвук шторма. Но море все-таки гудит. Здесь тепло, здесь и в декабре лето: всюду цветут розы, созревают мандарины, набирают цвет древовидные камелии. Но моя мысль по каким-то неведомым путям переносится в любимую Сибирь, в тайгу. И вижу я: это не в море злятся волны, а гудит вершинами тайга, такая же безбрежная, такая же таинственная, как море...

В авторском примечании сказано, что рассказ («Отец Макарий приبلудный поп») впервые был опубликован в журнале «Сибирь», 1926, № 3. Он датирован автором: «Сухум. Декабрь, 1925 г.» (И. К.).

Д. ФУРМАНОВ

ГАГРЫ

Гагры это частичка Абхазской республики. Нам еще где-то в пути сероглазый и шустрый парнишка всучил о Гаграх малую книжонку, — читаем ее, знакомимся: ...Курорт Гагры обладает теплым, мягким морским климатом, средняя температура года 15° С, зимы — 8°. Курорт благоустроен, полное отсутствие пыли, инфекционных заболеваний и малярии, обилие солнца, масса озона, чистый морской и горный воздух, морское купанье с прекрасным пляжем... Экскурсии и прогулки: пешком, на лошадях и осликах в горы (альпийские пастбища), на горы Дзытра, Мамздышха, озеро Рица, на водопады, Бзыбское ущелье, историческую Пицунду и в дальнейшие окрестности Гагр, где расположены тысячелетние древние храмы и замки византийского периода... Охота на всякого рода зверей (медведи, кабаны, серны, дикие козы, дичь)... Всевозможные кафе, рог изобилия лучших кавказских вин... Потом говорится о прекрасных гостиницах, в том числе о «Доме отдыха», расположенном в бывшем дворце принца Ольденбургского, о кефире, о фруктах, о кухне «под наблюдением и руководством первоклассных кулинаров»; всего не перескажешь.

Мы ехали в Гагры полные надежд — тех смутных и милых надежд, что волнуют, когда подступаешь к новому месту.

Автопромторговый ковчег высадил нас на базарной площадке, там, где рядами теснятся одна на другую легкие досчатые лавчушки. На глаз прикинуть — никто, казалось бы, ничего и не покупает, — трется, толчется впустую народ, а шуму столько, что хватит на Смоленский рынок. Из товаров — выбор не ахти богат: груши, яблоки, длинные палочки, слепленные из орехов, скользкие рыжие финики, подернутые плесенью, копченые колбаски, хлебная часть, да вино по полкам... Встали посреди — ротозеем. Куда нам идти — не ведаем. Уцепились за первого встречного, вверили судьбу незнакомому дяде: видим, прахом пошла вся наша подготовка — гостиниц под теми названиями, что указаны в книжице, никто не знал, все толковали как-то по-иному.

— Ладно, дядя: веди, куда знаешь!

И он повел — сквозь старинные крепостные ворота, мимо каменной пустой часовенки, которой насчитывают полтыщи лет, мимо пионерского лагеря (как вздрогнуло радостно сердце!), повел мимо магазинчиков, где вино, вино и вино по витринам, — и довел: из длинного пустынного коридора нырнула к нам юркая фигурка номерщика, сгоняла фигурка нас этажом выше, потом обратно вниз: — Пожалуйста!

Жалуем: при нас же метелкой начали спешно выметать разный мусор, заходила пыль облаками.

— Да вы что же, черт подери, раньше не могли?

— Как угодно: можете так оставаться...

И метелку подмышку, хотел уйти.

Поскрипел я зубами, подошел к лиловому умывальнику, подергал рыжий кран — он мне ответно заскрипел ржавым зудом.

— Работает?

— Нет... в ведерке будем носить...

Смолчал я насчет ведерка — наклонился к размочаленной, ободранной кровати, дружелюбно пощипал матрац: глядь — встревоженные клопы сердито побежали в стороны.

— Эй, земляк, не трудись: мы уходим!

И захватив пожитки — вон.

Рядом нашлось чистое жилье: ну, что ж, первый блин всегда комом!

Гагры под самыми горами. Горы здесь тучные и черные от густых лесов. Горы здесь высочайшие и хранят от холодных, от гневных бурь селенье, только теплые тихие ветры дышат с моря.

Вечером по взморью фланирует много красивых, отлично одетых жеребчиков — это бездельники, каких очень много всегда по курортам. Наутро вы их увидите по кафе, у столиков, по садам, — они пьют вино, потом играют в нарды, в домино, слоняются от лавки к лавке, нехотя побалтывают, вяло отходят, снова подходят и так толкаются до тех пор, пока не умятятся где-нибудь для праздного и длительного разговора. Это не дачники, не курбольные, это просто куржеребчики.

Вы здесь и тени не сыщете от трудовой Абхазии — она, настоящая, где-то там, по табачным плантациям, у кукурузных полей, на лугах, где пасутся стада, по виноградникам, по мастерским.

Над Гаграми, на скале — прекрасен и грозен — высится замок, он был когда-то

собственностью принца Ольденбургского. Теперь там малярная станция, а наверху живут одиночки-жильцы. Чудесное здание вовсе не использовано, содержится в позорно грязном виде, никому до него нет дела. Как только спустился с лесенок замка — прямо в садик. В садике круглый серый фонтан, в фонтане плавают черные миноги, трутся о холодеющие черные бутылки вина. За столиками в саду всегда людно.

Сидели — гуторили, — тишь да гладь, воздух легкий, чист и пахуч. И вдруг застлался понизу густой, едучий дым; все всполошилось, — в чем дело?

Оказалось, на площади, в центре Гагр, свалены были навозные кучи, отвезти их подальше никто не хотел, тут же торжественно началось и сожжение. Через десять минут Гагры сплошь были в дыму — он набился не только по садам, он задушил все комнаты, стлался до самых гор.

То-то курортнички подышали, сердечные! Помнится, мы заявили протест по начальству, да вряд ли вышло что: ухмыльнулось начальство лукаво.

Есть Старые Гагры, а есть и Новые — до Новых недалеко, что-то верст пяток. Прежде тут ходила конка, путь остался и до сей поры. Конка теперь забедняла, не работает — в Новые Гагры гоняют извозцы. Умостились мы на бархатную, влоск просиженную пролетку, свесили ножки, — двое к двоим, в разные стороны, сомкнувшись плотно спинами, — покатили жарчайшей пылейнейшей дорогой; приехали в Новые Гагры, седые от пыли.

Там шум и суета — все движенье собрано у базара. Важно и чинно прохаживаются красноголовые милиционеры — отношение к ним отменно почтительное, да и сами они цену себе, видимо, знают: держатся с сочным достоинством.

Идем мы вдоль по говорливому базару — любуемся «картинкой с натуры»: стоит какой-то дядя на дороге, балакает с извозцом, а высоко на облучке и с высоты, через голову собеседника, отшлепывает возница здоровеннейшие, смачные плевки — тот хоть бы сморщился. На эту милую пару, кроме нас, никто, конечно, не обращал внимания.

В воздухе гам и звон от крика торговцев, от конских бубенцов, пробы кинжалов... Солнце, пыль, жара, человеческий гомон. Новые Гагры победней Старых, главный, жизненный нерв не здесь, а там.

И вспомнилась нам эта книжица, где так ладно да гладко рассказано все про Гагры. Вспомнился сероглазый и шустрый парнишка, как бежал он мимо и кликал привычным зычным голосишком:

— Вот они, Гагры, лучший курорт... Всего пятиалтынный... Возьми, товарищ!

1926 г.

АДЛЕР

Такая рань: только три. В комнате тишь. По стенкам и по полу татем крадутся бледные робкие руки рассвета. Мы освежили лица студеной водой и легонько, на цыпках, коридором проплыли к дверям, отомкнули бесшумно и вышли на холодный благоуханный воздух горного утра.

Ароматная густая и пряная отстоялась за ночь тишина.

Молчали легионы лягушек, открывав полуночные песни. Молчали птицы, омытые росным холодом. Молчали люди, скованные сном. Солнце дремало в синих лесах,

за горами. И мы молчим, словно словом боимся разрушить этот прозрачный покой. По влажной зеленой тропе, по потной дороге, по берегу грустной речки — идем к морю. И когда подошли — по спокойной зыби, как по лугу зеленому, дрожало радостью за ночь иззябшее солнце. На безлюдном песчаном берегу светло и пусто. Море чуть слышно глубоко вздыхает набухшей зелеными соками грудью.

Далек и строго прочерчен овал горизонта. Сиротливо в водной пустыне застыло на якоре одинокое серое судно.

Восходит солнце. Пунцовая дрожь кинулась в небо и, отраженная, опала в волны: море вспыхнуло алой рябью. По берегу моря на Хосту проложена ветка — ходит по ветке легкий открытый вагончик. Сегодня праздничный день, и народу на Хосту торопится много. Вагончик этот словно резиновый — то сжимается, то раздается, — весь секрет, как видно, в настроенье вожака. Сегодня вожатый весел — и народу набито в два раза против обычного. Ах, лучше бы не был ты весел, вожатый: негде сесть!

Дорога до Хосты — по берегу моря, в зелени, около гор. В Хосте, как слезешь, надо протоптать целую версту до станции — там остановка авто, идущих на Адлер, на Гагры, на тихие горы Красной Поляны.

Держим мы здесь и свою столовку-чайнушку для приезжающих. Казалось бы, что ж: только кланяться надо, спасибо сказать за такую заботу? Нет, вы лучше зайдите, нюхните да гляньте: холодная скользкая грязь и мрак словно в забытом, насквозь, до щелей прокопченном сарае.

— Чаю можно?

— Нет, через час.

— Хлеба можно?

— Нет, через час.

Друг за дружкой, очередь — в очередь, подходили приезжие, задавали буфетчику тот же вопрос, получали один ответ. И вспыхнул, как фейерверк, гнев: какого же черта к сроку нет?

Рядом, в двадцати шагах, чуточное частное заведение: чисто, приятно, светло. Там достали — и чай, и хлеб, и яйца! Мы от едкой обиды, от гневной бессильной злости, от стыда — готовы были в прах разнести гнусную чайнушку: э-эх, преступное ротозейство! Так-то долго не вырасти, долго не выкузьмить частную торговлю!

Облизавшись от вкусного «частного» завтрака и сплюнув зло на частную торговлю, побежали на пункт, где в гневном рычанье дрожало отходивше авто — он торопился на Адлер.

Рядом сидит, смугл и строг, юноша-горец. Юношу звать Айба. Переплавило солнце кровь у Айбы в потоки расплавленной бронзы. Вместо глаз природа Айбе подарила пару маслин из афонских садов. Мелкие дружные кольца кудрей на лоб бежали словно черные струи густых сосновых смол. На груди у Айбы увидал я кимовский знак. Я узнал, что раньше Айба жил в Сухуме, — теперь он живет в горах, — что отец у Айбы был муша (он разорвал себе сердце под кладью и умер в трюме), в Сухуме Айба обучился русской речи.

— Трудно здесь в горах, комсомолу, — сказал Айба. — Уж не говорить про обычаи дедов, про старый устой — сама природа мешает: попробуй ты на собрание куда-нибудь крыть через горы, эв-ва, концов не видать! Наши поселки один от другого, что туча от тучки, раскиданы врозь. Места эти трудные, темные, глухие. Кругом

по горам и тишь и мрак, а в той тишине чернеют наши гнезда. И нельзя нам оттого собраться вместе — работаем всяк по себе, на глаз. А где работа — среди кого? Как поглуше ущелья взять — там совсем дикари, не тронуты там вековые суеверья, там за малую обиду — пускают в ход кинжалы и ножи. Смотрят на нас не то что врагами, этого нет, но просто не могут понять как надо (темны, темны горные люди!), что мы такое — комсомол и партия, зачем и о чем собираемся мы говорить, какие наши цели... Объяснить? Нет, тут объяснять не надо, это почти бесполезно. Вот делом себя показать — это да! И это, пожалуй, единственная здесь дорога, пока народ так темен и дик...

Спокойно и строго глядели черные глаза Айбы. Не было в словах у него ни ребячьего задора, ни игры в таинственные рассказы про горные чудеса, не было и затверженной, мертвой схемки, которую где-то вычитал, где-то узнал случайно. Нет, Айба смотрел таким умным и понимающим взором, что ясно было: накрепко знает парень, что говорит!

— Вон посмотри, — и он обернулся легко назад, — дойди-ка до Хосты, посиди на собрание!

Мы обернулись за ним и увидели далеко под горой разбросанные домики Хосты. Дорога все время в горы и чертит такие тут кренделя, что какую-нибудь небольшую вершинку видишь и сяк и так, со всех сторон, словно вертишь ее, как шарик, у себя перед глазами.

Первые версты дорога тряска — Айба пояснил нам, что скоро станут править ее и здесь, как уже правят по разным иным местам. Но лишь только развернется чистое и ровное гагринское шоссе: очарованье! Без встрясок — легко и плавно шуршит авто тугими шинами, глотает аппетитно версту за верстой. Сумрачно-прекрасные, крепки богатырской силой — стоят кудрявые гигантские дубы; оловом отливают гладкие стволы чистого прочного бука; зеленит, смеется, шелестит со всех сторон, как девушка-хохотушка, бузина, на глазах у солнца, у моря обнимается, бесстыдная, с веселым гибким кизилом. Неподвижны и важны, словно затянутый в тонкий изящный костюм, остроглавые кипарисы; откуда-то с гор, может, вот с этих мелькающих дачных садов, доносятся чуткому обонянию ароматные нежные вздохи магнолий. Воздух насыщен то чуть уловимыми, то густыми и терпкими запахами трав и цветов. А тут еще — соленое крепкое дыхание моря; вон оно, море, глянь-ка: то и дело повертывается темно-зелеными шумящими полянами сквозь побережную стену кизиловых, бузиновых зарослей!

— Слушай, Айба: ты вот сказал, что не словом, а делом тут надо работать с горцами... Ну, а какие, к примеру, дела ты мог бы нам рассказать?

Айба ответил не сразу. Он осторожно в памяти отбирал такое, что надо сказать.

— Никаких особых дел и нет, — ответил он, подумав. Наши дела те самые, что с утра до ночи малыми заботками тревожат горца. Были такие поселки, где ставили на собраниях большущие вопросы — и на те собрания никто не приходил. А те, что были там, — спали. Большие вопросы надо, видно, по-большому и рассказывать. В нашем селенье мы — по-другому. Всего на поселке нас семь человек. А народу находит двести, а то и больше. Отчего? Да все потому, что говорим про такое, что каждому близко и знакомо: как ходить за скотом, как за кукурузой, говорим про табак, насчет посева, роста, и сборов, говорим про хлеб, про домашнее хозяйство, — на эти речи ползет народ, как муравей на мед. А тут, промеж этих речей, говорим про совхозы, про ученье, о кооперации — что к слову

выйдет. И зато нас горцы приходят слушать... Или вот был случай: засорилась травами, забила западью разной рядом с поселком река — малая речка. И никак не поймут, отчего так народ на болезни стал падок, отчего так много на поселок стало комарья-мошкар лететь. Обошли мы, ребята, речку, оглядели, объяснили, что надо очистить русло, вытащить, что там набилось, и пропадет комарье. Долго не верили, слушать не хотели, мы сами тогда в работу пошли, семь человек. И глядь, тишком — один подступил, другой подступил, пособлять стали; очистили начисто ловко речку. И увидели все, что правда наша была. С той поры что ни день — в комсомол за советом идут, даже хворать зачнут — и то к нам.

...Когда по горам ливни идут — сами знаете, какая беда: уносит скот, размывает поля, пропадают табачные плантации, посева кукурузы, — все погубит, что встретит, вода по пути.

В одну из таких бед попала горемыка-вдова с тремя ребятами: у нее дотла погибло за ночь хозяйство, все унесли волны. Несчастная женщина за ночь стала нищая, потеряла с горя разум, — стоял впереди страшный голодный год. Тогда взялись за дело комсомольцы: на сходе выпросили ей какую-то чуточную помощь на первый раз, а дальше, как время пришло, посеяли ей кукурузу. И, можете поверить, сами горцы плакали, когда видели нашу работу.

...Вот это и есть главные наши дела, — закончил Айба. — Они небольшие, дела эти, а нужные: через них мы того добились, что горцы в комсомол да в ячейку за советом ныне идут...

И мы чувствовали все, что Айба говорит про настоящее дело, что только этой дорогой можно там, в горах, — да, пожалуй, и везде — проложить путь от партии, от комсомола — в темную толщу.

Влево скользнула дорога: а это что ж, куда?

— Это на Гагры пошла... Там же и на Красную Поляну... Видишь, туда, к вершинам вьется...

Наша дорога прямо: осталось всего тут две версты. Скоро въезжаем в праздничный, шумный Адлер. По улицам пыль замирает сизыми тучами. По улицам песни и пьяненький гвалт: по случаю праздника весь городок под градусом. Улиц, собственно, тут немного, а вся гулянка сбилась на главной, на одной — той, что идет от базара к морю. Море, что магнит, сколько б ни шатался, ни шумел гуляка — все равно попадет на море, а раз на море попал — штаны долой, купаться. И выходит так, что весь город целый день купается посменно: к морю не разрывается ни на минуту плясовая вереница. Прошлись и мы, огляделись: со стен комсомольский клуб извещал о собрание; упоминалась какая-то труппа, какая-то пьеса; огромные афиши извещали, что в кино идет «Комбриг Иванов».

Обнявшись, грудно-крикливые и веселые, кучами, толкались на площади.

Женщин мало, почти вовсе нет: одиночки только у лавчонок, у кооператива, у домиков. Зашли в столовку, в другую — все подчистую поели гуляки, нет для нас ничего. Выпучив живот под черной масляной рубашкой, пьяный буфетчик скалил зубы, кричал:

— Мяса весь съел... Хлеба весь съел — хошь вина? Вина можна многа пить, вина еси...

Мы поспешно ушли от столиков, где в смрадной вони бледнели сквозь завесы табачного дыма испитые осклизлые лица завязятых питоков.

Потом приютил нас какой-то сердобольный грек, стал из чуточных чашечек

поить ароматным тяжелым турецким кофе: пригубь — и запей холодной водой, пригубь и снова... Пили и важничали — вовсе по-турецки.

Вдруг барабанный бой! Да это же идут пионеры! Отряд красношеих ребят действительно показался с угла и быстро колыхал на площадь: это детишки откуда-то из дома отдыха, к ним влилась и местная ребятня. И нам показалось, что пьяный гул по улице смолк, толпы тихо сдвинулись по бокам, раздались надвое, обнажили улицу быстро, легко подходившему отряду.

Какой восторг! Какой это был восторг! И какая вдруг перемена! И какой контраст с этой пьяной толпой! Отряд, словно победитель сквозь ряды своих пленников, прошел к морю сквозь беспокойные шпалеры сгрудившихся к лавкам гуляк.

И через пять минут, когда мы вышли на пляж, — сотни детских головенок чернели на море, плеск и звон и крик над пляжем стоял веселейший.

Дети, дети, знаете ли вы, какой дорогой ценою досталось вам это право: вместо гнилых и вонючих подвалов — прыгать летом вот тут, по солнечному пляжу, вместо луж, где смачно ворочаются жирные свиньи, — купаться в этом голубом и теплом море!

1926 г.

АФОН

Афон теперь по-туземному зовется Псырцха, но жители все еще кличут по старой памяти Псырцху Афоном. Звать — как ни зови — это только полдела; а живое настоящее дело в том, что нет больше в Афоне притона святошеского, а на месте притона — огромный цветущий совхоз.

Это уж да, это уж бесспорное дело!

Когда-то на эти места, к монастырским «святыням» со всех сторон и плыли, и шли, и съезжались богомольцы, несли с собою и малые и немалые дары, крепили могущество Афона. Жили в Афоне сотни монахов, кормились щедрым подаванием. Правду сказать — нижайшее монашество и работало вдосталь; сливки спивали только «святые верхи».

Так десятки лет цвел-расцветал Афон. Вырос из жертв богомольских белый красавец храм: с моря далеко маячит он взору, как белый голубь, запутанный в темных тенетах лесов. И так он построен искусно, что виден открыто и явственно разом со всех сторон — играет на солнце, как нежная дорогая игрушка, что взору на отдых вырезал мудрый строитель в дебрях глухой горы. Богомольцев сходились сотни, — они размещались внизу, у моря — там стоит осанистый белый корпус. И каждый пришелец мог жить и кормиться бесплатных четыре дня — на пятый ему говорили добром, на шестой приходил полицейский чин и встряхивал молельщику забывчивую память.

Те, которых кормили бесплатно, грошишки свои растрясывали иным путём: на свечи, лампадки, молебны, акафисты, на целование икон, на сборы-поборы монашеские.

И потом, когда уходили, им на память вручался адрес афонский — по этой горной тропе надо было и впредь не лениться слать свои гроши, чтоб воистину связь держать духовную со святым местом.

Главная сила Афона была не в грошах богомольческих — эти гроши лишь на ходу,

<http://apsnyteka.org/>

по привычке сдирались, было зазорно монаху с путника мзду не принять: так и докрасна кровью сытый паук навсегда за стыд для себя почтет живую оставить, нетронутой легкую мошку, дрожащую робко в липких его паутинах. Главная сила Афона была в щедрых дарах богачей-толстосумов, им после чадных ночей по «Стрельням» либо было бесследно пропасть, затеряться на краткий срок в бесшумных и кротких и ласковых тихостью жизни покоях Афона. Они приезжали сюда в покаянных слезах, они проводили здесь ночи и дни, как безвинные агнцы, которых во имя чьих-то чужих и черных грехов ведут на закланье: вставали во тьме, пред зарей, и покорные, трудные клали поклоны, потом монастырскую службу стояли с начала до конца — безмолвные, смиренные духом. И так отбывали господнюю барщину днями, неделями, а там, зарядившись, уезжали к столичным особнякам и, будто из клетей спущенные звери, яростно кидались утолить голодное терпенье.

Эти каяльщики были щедрой сумой, которая сытно питала ненасытную афонскую мошну.

И вот — вдруг все перевернулось: на месте святейшего притона буйно расцвел совхоз. Сотни рабочих дружно взялись за работу по маслинным садам, в виноградниках, в мастерских. У рабочих вырос свой местком, у месткома — большая веселая работа. В совхозе абхазские большевики, в совхозе ребята-комсомольцы, — их знают далеко в горах, к ним за нуждой идут, за советом, за помощью — горцы. В совхозе клуб, и вечерами посмотри, сколько сидит там народу, липнет к библиотеке или на открытой террасе, за большим столом, за газетами.

Афонский совхоз — культурный центр на широкую горную округу. В Афоне своя отличная мельница, у Афона своя электростанция; совхоз афонский как маленькое царство в советской абхазской стране. Монашью рать распустили по белу свету. Многие осели тут же, по ближним местам, занялись кто чем, иные, говорят, морем уехали на древний Афон, десятка три живет при совхозе, заняты делом, как и все, а сорок человек укрылись от мира в лесную чащу, на дикую Псху-реку, что где-то горами протекает за восемь десятков верст от Афона. Слышно, там они построили домишки и молятся, постятся в одиночестве, питаюсь скудным огородным добром и тем, что достанут в горных поселках, что разбросаны в побережьях Псхи.

Был вечер, когда мы приехали в Афон. На морском берегу длинный белый корпус — номера приезжающих (здесь-то и жили ходоки, приходившие в монастырь на богомолье). Подобрали вещички — вошли в номерной коридор. По коридору медленно и косолапо двигался монах — его можно было опознать издали по соломенной несуразной и широченнейшей шляпе, по кислому, постному выражению оскотенного лица. Подошел, встал боком, словно сердясь, и спросил, глядя в сторону, будто и не нам говорил, стене:

— Номер, што ли?

— Номер, отец...

Он скрипуче перевернулся на подошвах и пошел, не сказав ни слова; мы догадались, что надо итти вслед. Монах достал из глубокого кармана тяжелую связку ключей, приоткрыл дверь пустой комнатки, только что насвеже выбеленной, и молвил:

— Тут!

Мы переулыбнулись, глянули внутрь — там чернела голая железная кровать: ни

матраца на ней, ни белья, ни подушек, а в комнате ни стула, ни табуретки.

— Отец?

— Чего?

— А матрац-то где?

— Какой матрац?

— То есть как же это? Спать-то на чем будем?

— На кровати, — пояснил монах и невозмутительно почесал под шляпой грязную голову.

Но у нас, усталых с пути, нервы были не так покойны, как у этого святого привратника.

— Брось шутки, дядя, шутить! Даешь матрац!

— Жалуйтесь! — шикнул монашек смиренно. — Уполномоченному надо, а я что: нет и нет...

— Так номер тогда зачем сдавать?

— Жалуйтесь! — повторил он еще тише и заковылял косолапо назад по коридору. Гостиницей заведует «отец» Авенир; косолапого монаха зовут Полиевктом.

Авенир — высоченный дебелый мужчина, до седых волос сохранивший свежесть свою и красоту. Мы к нему.

— Слушайте, как же матрац?

— Жалуйтесь...

— Да что вы тут, черт вас знает: жалуйтесь да жалуйтесь...

— А так и есть, — молвил со змеиной кроткостью Авенир, — назвались курортом, напустили народу приезжего, а сготовить всего не сумели. На себя пенять надо — мы што?

Старик злорадствовал, но отпирался недолго: матрац нашли. Больше того. Когда мы друг дружку признали «де-факто» — нашлась и подушка и даже пара стульев: великое дело эта дипломатия!

Афон — молодой курорт, только в этом году оперяться стал. Житье в номерах — удобное, тихое и спокойное. Окна распахнуты прямо в море. Море целый день и целую ночь шумит неумным гулом, гонит в сон.

Все бы ладно, только с монахами в точку разом никак не попасть. Работают они словно бы и много, заняты накругло целый день, а все как-то нехотя, нудно это у них получается, легкости, радости нет в труде, словно и не дело делают, — мочало жуют.

— Слушай, — говорю я раз Полиевкту, — как бы мне это звать ладнее тебя: товарищем звать — обидеться, поди, отцом назвать — мне не с руки.

— Ни мне, ни тебе! — ответил монах. — Зови Полиевктом.

— А грубовато словно выходит? А?

— Ништо... Только «товарищем» звать не надо — какой я есть товарищ?

Я поглядел ему сочувственно в серое лицо и в самом деле понял, что звать монаха товарищем — что селезня волом.

— Так вот бы что, — говорю ему, — жил я тут четыре дня, мусору, пыли — ба.

Номер убрать бы пора...

— Не буду, — мрачно резанул Полиевкт.

— Как же, совсем не будешь?

— Совсем не буду, — оттяпнул монах. — Уедешь, тогда уберу.

— Да мне-то тогда на что?

— Ну-к что ж: вон веник в углу...

И он пальцем ткнул в угол коридора.

Впрочем, у нас с Полиевктом отношения были на ять — нас подружил лукавый случай. Стою я у двери его комнатки, заглянул в нутро, говорю:

— А хорошо, брат, в келье твоей, Полиевкт.

— Не больно хорошо, — криво усмехнулся он.

— А что?

— Икон много.

Он, видимо, ждал удара от слов моих, и то мое оскорбление доставило б монаху неизъяснимую боль и наслаждение: «Терзай, мол, мучь, а я вот — терплю!»

Но я сказал другое:

— Что ж иконы: коли веришь — держи, а я вот не верю — на што мне они, даром не надо.

Как лист на ветру, встрепенулся монах, радость пробила в глазах:

— Это ты хорошо сказал, — подхватил он громко мои слова. Помолчал, махнул рукой и, в дверь уходя, еще раз повторил: — Оч-чень ты хорошо сказал: на што они тебе?

С тех пор Полиевкт был со мною ласков и прост в обращении. Он мне кое-что рассказал и о старых годах Афона, он мне поведал о том, как опутался разум монаший в этой нежданной диковинной жизни.

— Вроде оно выходит, — говорил Полиевкт, — муравейник здесь разорен и на том месте сарай построен. Муравьи, что дым в облака — пропали. А десятка два жить тут осталось, в сарай сползли. Живут — не живут, и что им сарай пустой: сарай не муравейник. Так и мы — жизни той не воротишь, а в эту жизнь — чужие мы...

Много в миру чужого народу теперь живет. Съезжился он, изыбся от крепких морозов жизни, темной пеленой глаза ему заволкло, куда итти — не видит и не знает.

Ну, что же, так в мире испокон заведено: кто путь свой до предела изойдет — тому в беспутице туманной пропадать.

В Афоне народу мало. Тишина кругом — первобытная. Красота в горах — несравнимая, — такой красоты не встретишь нигде на берегу Черного моря. В Афоне, в Центре совхоза, на площади — шегутится торговля: тут кооперативные лавки, тут и базарчик, торгующий ходкой снедью. Возле базара, у моря — лавчушка ютится в бывшей часовне, и в просветах стен, где черно от древних икон, гордо и бодро зовут за собой слова про абхазскую волю, про радостный труд, призывы читать «Зарю Востока», а рядом — смешная густая афиша, ее мастерили сплеча — афиша зовет на праздник:

«Состоица буфэт... торгует лафка... Будит бальная дикломация»...

Видимо, как диктовал себе в мыслях писака-горец, как шевелил словами — так и врезал их в афишу, мало робея перед скучной грамматикой.

И вот подошло торжество. С гор собрался народ. В клубе шел горский спектакль. Резвились на воле в играх. Медлительные, важные абхазцы чинно прохаживались берегом, толпились на базарной площади, толкались по аллеям. Женщин мало — почти не видать — одеты в черное, словно в трауре. Абхазцы смуглы и стройны. Одеты в серые плотные рубашки, тонко, в рюмку стянуты ремнями, ремни повиты серебряным узором; штаны заправлены глухо в легкие сапожки, у других завиты в цветные обмотки. На головах искусно смотаны и за плечи ловко, легко перекинуты мохнатые серые башлыки. У пояса острый зоркий кинжал, за поясом черный злобный револьвер. Гулянье сжалось на узких зеленых прудах, у самого

берега моря; рассыпались малые кучки по склонам горы, в кипарисовых аллеях, заползли по крутому шоссе, по тропинкам туда, где стоит монастырь, где гигантские тянутся ввысь корпуса для наезжих больных — это бывшие кельи-норы монашьи и жилье высоких особ, монастырских чинов.

Праздники любят бутылки вина, южные праздники любят вино в бочонках. Северный пьяница хмелен стаканами, горец ведром только щекочет свой хмель: горцу вино, что крестьянину квас. И ныне, на празднестве, попито много, но хмель не берет, только в туманах пропали глаза. Негромкие кучки сидят по траве, под звон инструментов — и звонких и грустных, как горные речки, что путь пробивают в чащах — горцы поют любимые песни. И песни те столь же прекрасны и стройны, как этот зеленый покров на горах, как этот сиреневый неба простор, как сам монастырь, белогривый красавец, что сказочным скоком мчался в горах и вдруг во мгновение остыл в скаку и замер навеки под сонным бескрайним покоем. Тихо по склонам, тихо и в море — море сковал глубокий штиль.

Высохли хрустко на жарком морском берегу густые, зеленые мхи — их со дна во время прибоя гонит на берег волна.

Высохли алые, черно-смолевые, желтые, белые камешки пляжа — их не достанет море, когда успокоит его в летаргической зыби тяжелый штиль. Тишь кругом. И говор людской, и горные песни, и спящее море в песне баючной — тонко звенят умирающим рокотом. На серебряную нежную морскую грудь, на тулупы зеленых вечных лесов, по горам, по влажному низовью — мягко и плавно, как птица в гнездо, опускаются в звонах и шелестах вечерние сумерки.

На заре, морозным холодком, любо взбираться на Иверскую гору. Иверская вышка — владычица кругом, царит она над афонским простором.

Круг и труден путь — легок отдых на вершине. Иверскую вершину венчает древняя башня — седая старина от римских веков. Бродим мы в развалинах храма, щупаем, шарим замшелые стены, дышим далеким быльем, уходим памятью к тем временам, о которых остались одни вековые преданья. Вот и проталины серого камня — здесь крылись когда-то иконы, вот башня, где воины жили, подвал, где хранилось оружие, а вот — за стеклом — повалена груда костей. И над теми костями краткая запись:

Любовию просим вас —

Посмотрите вы на нас:

Мы были, как вы,

И вы, будете, как мы.

Эти надписи сделали, верно, монахи, этим словам недолог век. Но дышат глубочайшей стариной каменные плиты, гигантские камни осевших стен, колонны и вышки, откуда бессонный глаз схватывал зорко окрестности. В этой глуши семнадцать лет живет отшельник монах Сомон. Живет один — со своими молитвами, кормится овощью да изредка спускается с гор к греческим поселкам, добывает там кукурузу, печет из нее лепешки. Жили с ним раньше другие монахи, ушли — остался Сомон один. Когда приходят к развалинам крепости, к древнему храму путники, Сомон их водит по мертвым владеньям, повествует смиренно святые и безгрешные сказки. Потом на огне сготовит чай, накормит путников кукурузными лепешками. В свободные от молитв часы он ходит по

окрестным лесам, собирает ягоды, грибы. Во время походов встречался не раз с медведями, ланями, видел волков, диких коз, кабанов — встречи сходились счастливо, зверь уходил прочь.

— А как же, — говорим, — коли хворать приходилось: как одному тогда?

— Хворать? А я никогда не хворал: семнадцать годов тут живу и болезней не знаю. Разве что утром недужно — так к вечеру встал, в этом и вся болезнь. Тут воздух чистый и легкий — с чего мне хворать?

Сомону полсотни лет. Он крепок и свеж, как буковый кряж — видно, что веку хватит ему на целую сотню. Теперь затеял Сомон новое дело — рубит в лесу кизил, строгают тонкие палки, эти палки он продает проходящим путникам. На кизиловое дело Сомона толкнул горестный случай: на гору вдруг взобрались два ловкача, открыли там близ развалин пьяный притон, сами взялись водить проходящих по храму, в развалинах башни — и спяна городят бог знает что о древних римских веках.

Шинкарщики сбили Сомону работу, отняли последнюю мзду, что он добывал на чаю, на рассказнях вольных о древних веках, — так зачался для Сомона новый, кизиловый век.

Мы забрались на башенную вышку — там открывался бескрайний простор, взор терял горизонты.

Чернели, серели, синели горные хребты, за ними, невидимо взору, крылась хлебная Кубань; по берегу морскому млечными точками мерещат дальние города; в погожие дни, — рассказывал Сомон, — видны Сухум и Батум, из кружев зеленых чуть проступает бледная тень Трапезунда.

Леса и леса, кругом леса, склеились они по мохнатым горам в густую зеленую пену. Море, словно смолой залитое, черным и тяжелым грузом припало к земле. Не оценит глаз простора кругом: небо, море, горы и леса — крепко слились без концов и начал. Дремлет природа как в сказке богатырь, нижеет сквозь сон невнятную речь ровно и легко дышит крутой, высокой грудью.

1926 г.

И. НОВОДВОРСКИЙ

В СУХУМСКОМ КАФЕ

Среди больших и малых луж
Столов сверкает мрамор гладкий.
Кричит кофейщик — «мек ануш!»
Что в переводе значит — «сладкий».

Мелькает в воздухе поднос,
Звенит дымящаяся чашка.
Измазал в гуще острый нос
Какой-то грек, вздыхая тяжко.

На полке дремлет шоколад

Так соблазнительно и мирно.
Над ним цена «Рубль шестьдесят...»
— Нет, рубль шесть гривен — это жирно..!

Войдя в неистовый азарт,
Стуча в волненьи кулаками,
Два человека подле нард
Шипят все время индюками.

Чтоб уплатить, — гляжу в карман,
А там — унылые просторы.
Ложится на поля туман
И, разумеется, на горы...

Однообразен моря шум,
Однообразны дни и лица...
О, ослепительный Сухум,
Скажи, ты Ницца иль не Ницца?

1928 г.

ОСЕННЕЕ

Когда на небе мало туч,
Так хорошо сидеть в кофейне
И наблюдать, как лунный луч
Скользит все ярче и затейней.
Печенье фирмы «Моссельпром»
Под языком так сладко тает...
А море зыбким серебром
За эвкалиптами сверкает
И льется лунная волна
По листьям пальм и горных сосен,
Хоть тяжелой поступью слона
Сюда спешит злодейка осень...

Пока луна еще плывет
Круглей, чем желтый мячик сыра,
Но скоро-скоро дождь пойдет
И станет холодно и сыро...
Шепнут прощальные слова
Студенты всевозможных вузов
И охнут: «дороги дрова»
Все члены наших профсоюзов...
А осень мокнущих небес
Потянет голосом сирены:
— Алло, товарищ, Абхазлес,

Зачем на топливо вздул цены?
Подорожала сажень дров, —
Но... море плещется жемчужно,
И неба сводчатый покров
Пока твердит, что дров не нужно.
Тепло... Не думает никто
Взглянуть поглубже за прилавки,
Найти осеннее пальто
В просторах еркоопской лавки...
Сверкает море, как янтарь
И в небесах меж тучек — просинь...
Уже не заврался ль календарь,
Что наступает скоро осень?
Не будет осени — и стоп.
Сдержавши шар земной на месте,
Ее отменит Еркооп*,
Как говорят, с зимою вместе...

1929 г.

* *Еркооп — Единый рабочий кооператив.*

ОТПУСКНОЕ

Сверкает море, как бриллианты,
И нежит слух прибоя шум.
И едут, едут экскурсанты
На отдых в солнечный Сухум...

А пароход стоит солидно,
Как будто сам собою горд,
Не сомневаясь, очевидно,
Что вновь придут к нему на борт...

Еще не жарко. Струйки пота
Не обливают густо нас.
И лишь кассир из Совторгфлота
Потеет, кажется, сейчас.

Хвост у кассы
Очень стойкий
Все спешат
И просят койки.
Недовольство,
Даже драмы.
Наседают
Больше дамы.

Тяжко!

1928 г.

А. ПОМОРСКИЙ

БЗЫБЬ

Слушай гудение края!
Это сады зашумели.
Это знамена играют
Радостным вихрем камелий.
Выйди в теплынь голубую,
Встань над кипеньем Бзыби,—
Черный разубранный буйвол —
Словно могучая глыба.
В трудных Ткварчелах кочуя,
Буйвол еще не почувал,
Как поднимается в недрах
Черный разбуженный недруг.
Встанет он, жирный, костистый,
Стянет блестящие жилы,
И запрягут машинисты
Эту звериную силу.
Ведь по долинам инжирным
Нынче прошли инженеры,
Чтобы линейкой измерить
Эти гористые шири;
Чтобы стреножить и вздыбить
Воды встревоженной Бзыби.
Чтобы она Днепрострою
Младшею стала сестрою.

1928 г.

ПРАЗДНИК УРОЖАЯ

Поднимается солнце
На крону горы,
А море
Проснуться не хочет.
Печально глядят из-под синей чадры
Глаза
Очарованной ночи.

Но полдень
Поднимет горячий прибой,
От ветра
Проснутся мимозы.
И цитрусы солнцем полны
Над тобой,
И праздник встречают колхозы.

Ты видишь,
Как после упорных трудов,
Под лаской сухумского лета,
Качаются
Сочные
Солнца плоды
На тоненьких
Ниточках веток.

Мы вместе
С тобою, товарищ, идем.
Нам песни поют цикады.
И в сердце
Нахлынула
Светлым дождем
Большая, как море, радость.

Тугая волна
Раскачала сердца.
Бьет ветер,
Как крылья бакланов.
И новые песни
Поет абхерца,
Гортанные песни сванов!

Над золотом старых плетеных корзин
По древним обычьям Кавказа,
Я вижу задорные танцы грузин
И дерзкие скачки абхазов.
Летят верховые быстрее грозы,
Несутся
Дорогой открытой.
И вот раздает
Дорогие призы
Колхозник отважным джигитам.
И он говорит:
— Наша жизнь хороша.
Промчались
Холодные грозы!
И жизнь,

Словно утро морское, свежа
В свободных
Советских колхозах...

1934 г.

Н. АСЕЕВ

АБХАЗИЯ

Кавказ в стихах обхаживая,
гляжу в твои края,
Советская Абхазия,
Красавица моя.

Когда, гремя туннелями,
весь пар горам раздав,
совсем осатанелыми
слетают поезда,

и моря малахитового,
тяжелый и простой,
чуть гребни перекидывая,
откроется простор,

и входит в сердце дрожь его,
и — высоту обсеяв —
звезд живое крошево
осыплет Туапсе,

и поезд ступит бережно,
подобно босяку,
по краешку, по бережку,
под Сочи на Сухум, —

тогда глазам откроется,
врагу не отдана,
вся в зелени до пояса
зарытая страна.

Не древние развалины,
не плющ, не виадук, —
одно твое название
захватывает дух.

Зеркалит небо синее

тугую высоту,
азалии, глицинии,
магнолии — в цвету.

Обсвистана пернатыми
на разные лады,
обвешана в гранатные
кровавые плоды,

врагов опутав за ноги,
в ветрах затрепетав,
отважной партизанкою
глядишь из-за хребта.

С тобой, с такой красавицей,
стихам не захромать!
Стремглав они бросаются
в разрыв твоих громад.

Они, тобой расцвечены,
скользят по кручам троп —
твой, шрамами иссеченный,
губами тронуть лоб!

1933 г.

СТИХИ О СУХУМИ

Моря в рассыпчатом шуме,
в соке созревших плодов
вечнозеленый Сухуми
слаще иных городов.

Скрытому горною складкой,
зелень ему придала
сочность созрелости сладкой —
персик, хурма, шептала.

Улицы в горы глядятся,
сизая мгла разлита,
тучи на склоны садятся —
море меняет цвета.

Вся для дыханья и глаза...
Свернутый рогом башлык,
легкая поступь абхаза,
стройной мегрелянки лик,

Запах магнолий так плотен,
розы так влажно цветут —
сотнями бы ярких полотен
быть нарисованным тут!

Где вы, художники, где вы?
Где ваше ярости рать?
Кисти обмакивать в небо,
зелень со склонов снимать!

Здесь бы внимательной думе
выбрать сюжет для трудов...
Так по душе мне Сухуми —
город цветов и плодов.

1950 г.

МАЙСКИЙ ДОЖДЬ В СУХУМИ

Четвертые сутки уже
продолжается дождь, дождь...
За серой сеткой
не видно ни моря, ни мыса,
на горные дали
навален туман сплошь,
пронизана каплями
мощная тень кипариса.

Вот так начинался, должно быть,
всемирный потоп,
попрятались люди и звери
сушиться в каюты,
по берегу капли тяжелые
шлеп, шлеп...
Но это ведь — майский,
который дороже валюты!
Пускай бы он землю
до самых глубин оросил!
Еще над колхозами
небо раскинется синим,
где чай и табак
дополна набираются сил,
где каждая капля —
становится апельсином.

1950 г.

Ю. ИНГЕ

ОЧАМЧИРЕ

Гремела полночь песнею застольной
И осыпалась лепестками звезд,
И по морю шел парус треугольный
Фелюги, проверяющей форпост.

Цвели сады-сугроб пахучей ваты,
И блесток бертолетовая соль,
И маяка, как лед, зеленоватый,
Штормами обусловленный пароль.

Он рассекал нахлынувшую темень
И мановеньем поднятой руки
Вращал клинок огня, а в это время
В его лучах кружились светляки.

Они казались облаком пылинок,
Раздробленных и видимых едва,
И падали от света на суглинок,
Где пробивалась первая трава.

И как пилот, бросающийся в штопор,
Завидя вражеский упорный луч,
Глухая полночь ввинчивала тропы
В расселины непроходимых круч.

Там грохотал поток, свергаясь, буйный,
Родившийся в синеющих снегах.
Здесь шел огромный заскорузлый буйвол,
Столетие несущий на рогах.

Его глаза от ужаса ослепли,
Когда, сверкнув ацетиленом, вдруг
Примял осоки выгнутые стебли
Железный зверь, одетый в каучук.

Он проходил по неприступным склонам,
Шел через русло высохшей реки,
И перед бычьим взором ослепленным
Зеленые кружились светляки.

Столбы и версты шли походным маршем,
И утро поднималось над горой,
И вскрикивал погонщик: «Хайт-амарджа!»*
И запросто беседовал с зарей.

1937 г.

**Хайт-амарджа! — Вперёд! (абхаз.)*

А. СОФРОНОВ

НАД БЕРЕГОМ ЧЕРНОГО МОРЯ

Идти, как соловей свистать,
Листы зеленые листать,
Пятнадцать верст пройти, устать,
Присесть, над крутизной.
Смотреть, как в небе облака
Плывут, плывут издалека,
Как море плещет в берега
Зеленою волной.

Подняться вновь, и вновь, и вновь
Идти у желтых берегов,
И слышать хруст своих шагов,
И слышать волн прибой,
И слышать, как шумит самшит,
Как ручеек с горы бежит,
Как стрекоза в кустах звенит
Пронзительной струной.

Найти гремящий водопад,
Где капли бьют, как в камень град,
Где звук оттенками богат,
И, взяв крутой подъем,
Увидеть склоны синих гор,
И солнца золотой костер,
И уходящий на простор
Могучий волнолом.

Вот так идти, свистать и петь,
На кручи дикие смотреть,
Забыть любовь и не жалеть —
Твоя иль не твоя...
О, склоны гор в густых лесах,
О, виноградников краса,

Камней прибрежных полоса, —
Абхазия моя!

1939 г.

БУЙВОЛЫ

Натруженные за день на работе,
Они склоняют тяжкие рога
И длинною, тягучею зевотой
Над Бзыбью оглашают берега.

А мимо них с шипением и ревом
Грохочет Бзыбь лавиной ледяной,
Круша стволы могучих скользких бревен
И громоздя их на камнях стеной.

А, буйволы, суровые, как тени,
Упавшие с горы на берега,
На камни долго смотрят с удивлением,
Что так легко ворочает река.

1939 г.

С. КИРСАНОВ

РАСТЕНИЕ В ПОЛЕТЕ

Схожее внешне с цаплею,
с листьями сухими —
летит растение теплое,
свойственное Сухуми.

В Арктику из субтропиков
везет растение летчик,
бережно, в крошке пробковой,
чтоб не помять колючек.

Скоро и Харьков скроется,
тучи уйдут к Батуми,
но винт не уступит в скорости
самому самому.

Он донесется в скорости
к сетке широт паучьей,

где — на советском полюсе —
мы вырастим сад плавучий.

Лед порастет цветами,
снег заблестит теплицами,
все небылицы станут
светлыми да — былицами!

Я вижу уже заранее
под пальмами тушу тюленью.
Мы едем с мыса Желания
в долину Осуществленья.

1940 г.

И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ

ОХОТА НА КАВКАЗЕ

Я познакомился с ним на колхозном базаре. Он стоял посреди площади, оскалив свои белые зубы, гордо отставив ногу в дырявом и пыльном чувяке, высоко держа сухую, носатую, небрежно повязанную башлыком голову. Концы башлыка живописно свисали на его покатые плечи. Тоненький, оправленный серебром ремешок перетягивал талию. Одежда его была ветха и пыльна, а в дырках штанов, изодранных в лохмотья о лесные колючки, сквозило худое смуглое тело. Станными казались при всей бедности одежды охотника гордая его осанка, серебряный дорогой пояс.

На левом плече Нестора сидел ученый ястреб. Охотник гордо осматривал проходивших мимо людей, скалил чубы и улыбался. Ястреб на его плече сидел смирно, изредка встряхиваясь, и, точно на шарнире, поворачивал во все стороны свою клювастую плоскую голову, позванивая колокольчиками, привязанными к груди и ноге.

Все было чудесно и замечательно вокруг! Яркое и высокое солнце, синее море и лиловые над городком горы. Абхазец-колхозник недвижно восседал над корзинами с виноградом. Огромный буйвол, запряженный в арбу, стоял на дороге, положив на спину толстые рога, лениво жевал. Два мигрела-рабочих, загорелых и черных, сидели на корточках на земле, разговаривали и курили... Охотник Нестор пришел на базар продавать добытую дичь. Неделю назад, когда на побережье высыпали пролетные перепела, он с утра до вечера бродил с легкой палкой в руке, с обученным ястребенком, у которого на левой ноге был привязан маленький колокольчик. Он ходил не торопясь, пошевеливая в кустах палкой, и оттуда дождем вылетали ожиревшие, тяжелые перепелки. Нестор сбрасывал с руки ястребенка, и ястребенок стрелой падал на неповоротливую летевшую над травой птичку. По звону колокольчика Нестор отыскивал в кустах добычу, отнимал у ястреба перепелку и, свернув ей голову, подвешивал к своему серебряному пояску. Перепелиный легкий пух плыл за ним по теплему воздуху.

Познакомил меня с Нестором знакомый абхазец.

— Это — большой охотник, — сказал абхазец, — он много ходит, много знает, может ходить на охоту без собаки. Кукурузу сажать не любит, на охоту ходить любит. Ты пойди с ним, он тебе покажет.

Вечером мы вместе сидели в духане. Нестор долго отказывался от предложенного стакана вина. Мне нравилось его лицо, орлиный нос, сдержанная важность. Ястреб по-прежнему сидел на плече его. Соблюдая достоинство, он пил мало, говорил того меньше.

Полуночью, как было условлено, Нестор явился меня будить.

Мы вышли на охоту рано. Еще лежала на траве и деревьях седая роса, сильно и прямо пахли кипарисы. Сизая дымка висела над морем и над горами. Мы прошли садами по каменной поросшей травой тропинке. Нестор шел впереди. На его плече качался длинный бамбуковый шест. Другого оружия при нем не было. Он шел, легко ступая, высоко держа обмотанную башлыком черную голову. Нас, охотников с ружьями, было трое. Мы едва поспевали за быстроногим нашим проводником.

Мы шли садами и убранными полями с торчавшими из земли сухими стеблями кукурузы, колючими кустарниками, росшими по закрайкам полей, по местам, где ночью кормились зайцы. Нестор внимательно осматривал и, казалось, обнюхивал каждый куст. Заднезавший в долине шакал выскочил из-под наших ног и стрелой помчался в горы. Нестор пронзительно свистнул ему вслед. У густого, проросшего высокой травой куста провожатый наш остановился и поднял руку. Два раза он обошел куст, точно принюхиваясь, как идущая по следу собака. Потом поставил нас вокруг куста и снял с плеча длинную палку. Лицо его было торжественно. Мы остановились подле куста с приготовленными ружьями, ждали, — я смотрел в лицо Нестора и не мог удержаться от улыбки. Еще раз обойдя куст, он стал шуровать в траве палкой, совершенно так, как деревенские рыболовы шуруют под берегом, ловя рыбу и раков. Тотчас из куста на меня выскочил крупный заяц-русак и, положив на

спину уши, заковылял по чистому полю. Это было так нежданно, что я забыл выстрелить. Нестор свистнул, пощелкал языком и укоризненно покачал головой. Мы проходили все утро. Нестор внимательно осматривал каждый куст. Иногда он останавливался, поднимал руку, и мы привычно располагались вокруг указанного куста и приготавливали ружья. Мне была непостижима способность Нестора учуивать в кустах затаившихся зайцев. Я внимательно следил за всеми движениями его, стараясь раскрыть занимавший меня секрет Нестора охотничьего чутья.

В обед мы подошли к хатенке Нестора. Это была сбитая из тесу, обмазанная известью маленькая избушка. Трудно было представить, как в этой избушке помещается вся многоголовая Несторова семья. Два дерева с голыми сучьями стояли у «въезда» в Несторово поместье. Узластый стебель виноградной лозы с подсыхшими кистями черного винограда обвивал эти деревья и всю ободранную крышу хатенки. На развилине старого дерева были сложены кукурузные листья — заготовленный на зиму корм.

Мы восседали на земле вокруг горевшего под котлом огня, пили молодое красное вино, по обычаю, произносили приветственные речи. Хозяйка угощала нас мамалыгой,

Когда мы выпили по стакану, я решил расспросить Нестора о его замечательном

<http://apsnyteka.org/>

уменьше находить зайцев.

— Ты удивительный охотник, — сказал я Нестору, поднимая стакан. — Я много ходил на охоту и много встречал охотников. А еще ни разу не встречал такого, чтобы сам мог чують дичь и находить зайцев, как это делаешь ты. Я здесь человек новый и хочу все знать: скажи мне, пожалуйста, как узнаешь ты, под каким кустом лежит заяц?

Нестор покрутил усы, важно ответил:

— Ты русский охотник?

— Да, я русский охотник.

— Я охотник кавказский. Кавказский охотник и русский охотник — теперь братья. Слушай: есть ваш русский заяц и есть наш заяц, кавказский. Наш кавказский заяц ночь туды-суды ходит, потом идет спать и делает в кусту норку. Если есть в кусту одна норка — лежит один заяц, если две норки — два зайца. Кавказский охотник берет ружье, а другой пугает зайца. Так можно убить много зайцев...

Я сообразил не сразу, — так был прост охотничий секрет Нестора. Потом мне все стало понятно. Кусты на Кавказе частые и густые, в них всегда растет густая жесткая трава. Ложась на дневку, заяц, как крот, точится в сухую траву, а за ним остается заметный охотнику лаз. Если внимательно осматривать каждый куст, можно найти заячьи ходы и по расположению примятых травинок наверное знать, в котором кусте лежит заяц.

Незнакомому с такой охотой охотнику может показаться чудесным, как находит кавказский охотник «по чутью», зайцев. А все же и самому опытному охотнику не так просто находить в кустах заячьи ходы. Нужно примечать зорко, уметь хорошо читать живую и сложную книгу природы.

Мы сидели у него долго. Со свойственным кавказцам гостеприимством, он угощал нас, чем мог, и с гордостью показывал все свое семейное богатство. Потом он провожал нас до города. Я еще несколько раз виделся с ним и ходил на охоту, а в конце месяца мы расстались большими друзьями.

1940 г.

Н. УШАКОВ

ГАГРЫ

Ночь опускала синий полог свой,
в одно сливались воздух, горы, море,
а пленные
над всею синевою
белили
освещенный санаторий.

Лилось из окон в полутемноту
струны гавайской воркованье
или
вздых концертино.

Все ж
я песню ту
не позабыл,
с какой мы победили.

Я пел ее,
уж тем обязан ей,
что не пришлось мне
в колпаке бумажном
белишь над Рейном замок.

Все ясней
синь разгоралась сотнями огней,
хотя для темы
это и не важно.

1948 г.

Н. ТИХОНОВ

АБХАЗСКИЙ ПЕЙЗАЖ

Впадавшую в море увидел ее —
Гумисту, текущую плавно,
К ногам положила мне сердце свое
Из крепкого смуглого камня.

Другого не может и быть у реки,
Рожденной на каменном ложе
И с детства зажатой в такие тиски,
Что вспомнить без гнева не может.

А горы, что шли, громоздясь, над рекой, —
Громадою леса покрыты,
И сердце зеленой громады такой
Из лучшего было самшита.

А леса повыше, за Бзыбским хребтом,
Взобравшись на каменный ворох,
Стоят, с головою покрытые льдом,
Совсем бессердечные горы.

От края до края отсюда видны
Абхазские выси и доли,
И пенистый взмет черноморской волны,

И свет винограда веселый.

Сады и поля, и дороги струна...
Гляжу — не могу наглядеться, —
И все это вместе согрето сполна
Большим человеческим сердцем.

1948 г.

САНЧАРСКИЙ ПЕРЕВАЛ

Высоко в небе над Абхазией -
Санчарский перевал.
Там путник разве что с оказией
Случайно побывал.

Туда ведут лишь тропы узкие
Опасные в ночи,
По ним текут туманы тусклые
И горные ключи.

И он, ничем не примечательный,
Тот каменистый вал -
Стал местом битвы замечательной -
Санчарский перевал.

Здесь враг хотел пробиться в Грузию
Кратчайшей из дорог,
Огня и камня грозный узел он
Перерубить не мог.

Здесь пушки скатывались в пропасти,
Сорвав лавины ком,
Здесь альпинист делился доблестью
С бывалым моряком,

В крови, осколками израненный,
Размолотый, пустой...
Плывет сегодня синь небесная
Санчарской высотой.

Туда ведут лишь тропы узкие,
Опасные в ночи,
По ним текут туманы тусклые
И горные ключи.

И только крыльев тень орлиная,

Ложась на перевал,
Напомнит жителю долинному
О битве между скал.

1948 г.

СОСНЫ ПИЦУНДЫ

Пицундские сосны, я видел вас
Во всей первозданной красе,
Когда вы стояли, в полдневный час,
На пустой, песчаной косе.

И черный буйвол — древний убых —
Из моря прям и высок,
Словно Юпитер, из пен голубых,
Выходил на белый песок.

И солнце он нес на рогах, и мне
Казался мира отцом,
А белые лилии в тишине
Вокруг стояли кольцом.

И тишина звенела в ушах;
Казалось, место нашли,
Чтоб здесь человечья встречалась душа
С бессмертной душой земли.

А дни, как волны, теряют след,
За вестью уносят весть,
Не счесть вам реликтовых ваших лет,
И мне своих лет не счесть.

Что ж, сосны Пицунды, в далекий час
Шумела и наша весна,
И буйвол и лилии были у нас,
Была и своя тишина.

В стране же, что старостью мы зовем,
Живет со мной моря кусок,
Те дни, куда мы в сновиденьях идем,
То солнце, те сосны, песок...

1972 г.

БЕСЕДЫ В СТРАНЕ ДУШИ

<http://apsnyteka.org/>

Абхазию сами абхазцы называют «Апсны» — Страна Души. Тот, кто впервые собирается побывать в Абхазии, может приехать поездом, может с парохода увидеть разноцветный амфитеатр Сухуми, примчаться с неслыханной скоростью на самом комфортабельном самолете, но лучше всего в Абхазию приходить — и приходить с гор.

Идти надо не торопясь, день за днем. Узкие медвежьи тропы. Ветки вековых елей, покрытые темно-зеленым мхом. Лесные великаны, над которыми вместо неба черно-зеленый купол, тускло пропускающий солнечный свет.

Когда после дремучих, оглушающих безмолвием хвойных лесов северного склона, после снежных полей, серых гранитных морщинистых громад великого хребта вы ступите в ярко-зеленые абхазские пределы, вас не только поразит обилие зелени и влаги, но вы почувствуете рядом присутствие этой солнечной, вольной, гордой абхазской души, по имени которой названа страна.

Вы окажетесь в глубине могучих лесов, оживленных пением и криком птиц, переполненных шорохом, шумом ручьев, листвы, ослепляющей путника блеском солнечных пятен, скользящих в непролазной чаще.

Буки, клены, лавровишни, самшиты, липы, дубы, густо оплетенные лианами, хмелем, плющем, примут вас в свои гостеприимные владения. А когда кончатся лесные тропы, то, чем южнее вы будете спускаться по неуклонно бегущей вниз дороге, тем больше с каждым днем будет тепла, тем роскошнее будут становиться склоны долины, благоуханнее воздух.

В скромных жилищах, стоящих на высоких склонах в окружении патриархальных ореховых деревьев, над виноградниками, стенами кукурузы, табачными плантациями, в этих так называемых «пацхах», где перед домом на палках — лошадиные черепа, вы познакомитесь с мирным, трудолюбивым народом, со всем своеобразием абхазской жизни, никак не похожей на жизнь больших городов севера.

Вечером после ужина вы будете сидеть под семейным ореховым великаном и слушать абхазские песни, которые споет хозяин, пощипывая струны апхерцы — абхазской двуструнной скрипки.

Пет, надо приходить в Абхазию по тропам, и приходить с гор, через снег и лед, как будто вы спускаетесь с неба на землю.

Я не раз проделывал этот путь и не раз убеждался в том, что стоит только немного уклониться от обычной дороги в сторону, как всякий раз можно открыть новые замечательные уголки, настоящие заповедники радости и душевных красот. Какие-то ослепительные поляны, скопления причудливых скал, одинокие потоки, необыкновенные пещеры, развалины древней стены с башней, в которую вползли листы и образовали над пропастью висячий зеленый мост...

Наконец перед вашими глазами, словно призрак близкого моря, появится между деревьями первый блеск, мелькнувший и пропавший, как предвестник чего-то еще невиданного вами.

И вот оно, море, во всей неоглядности голубого туманного горизонта. Вы дышите свежестью и солью, волны разбиваются у ваших ног, белоснежная пена шипит, чайки срезают зеленые гребни, которые идут нескончаемой чередой, а далеко за вашей спиной в раскаленной голубизне, в дрожащей дымке висят в небе едва видные, но остро сверкающие снега старого Кавказа.

Морской ветер наполняет паруса воспоминаний. Какие только корабли не

бросали свои якоря у этих берегов, какие только человеческие судьбы не решались в городах, куда приплывали из Рима, из Афин, из Византии! Здесь, сойдя с корабля, шли по горным тропам со своими товарами купцы из Генуи и философы, изгнанные с берегов Босфора.

Бури времен и морские бури с одинаковой силой старались смыть прошлое, память о людях, живших когда-то в этих местах. В хорошую погоду в море просматриваются темные очертания стен, волны выбрасывают предметы далеких веков к ногам современных сухумцев. Сегодня аквалангисты смело бродят по морскому дну, наступая на плиты, обработанные мастерами древности...

Тридцать пять лет назад я впервые пришел с гор и Сухуми. Нет, он не был похож на сегодняшний, залитый электрическим светом, асфальтово-пальмовый, сверкающий зеркальными окнами, полный пестрых машин и людей в белых костюмах, приморский, новый, современный город.

После тишины и горных троп я окунулся в водоворот жаркой пестроты, был оглушен многозвучием Сухуми, как будто в городе была непрерывная ярмарка. Все гудело, звенело, ошеломяло своей новизной. Абхазцы, мингрельцы, русские, греки, турки, люди самых разных народов и племен толпились на берегу и на улицах, на пристанях и у лавок. Пароходные сирены старались перекричать людской базар. Шхуны, парусные лодки, ялики как бы приглашали немедленно броситься в пенящиеся валы, налетающие на набережную, и испытать судьбу, проникнув за далекие горизонты, в неведомые края.

Лязг якорных цепей, шум лавок, гортанные голоса, стук подков, звон стаканов, пронзительный вопль неожиданной пляски, крики грузчиков — все сливалось в какой-то гимн морю, неистовой жизни, азарту, городу.

В кофейнях играли в нарды, пили из крошечных чашек тяжелый густой напиток, курили кальян, как во времена султанов. Какие-то люди в пестрых лохмотьях, с независимым видом грелись на солнце, похожие и на морских пиратов и на статистов из экзотического фильма.

Легконогие, гибкие, до костей прожженные солнцем абхазцы окружали меня. В них жила дикая гордость вольности, они были, несмотря на бедность своего существования, жизнерадостны и внимательны к бедствиям соседа. Язык их был звучен и дышал драматичностью. Даже когда простой всадник, не слезая с лошади, вступал в разговор с обступившими его горожанами, нельзя было понять со стороны, обмен ли это любезностями или новостями, или шумная ссора, и сейчас пойдут в ход кинжалы или даже пистолеты.

Но всадник проезжал дальше, и народ расходился. Ничего не происходило.

На набережной было много гуляющих, и тут уже заметны были приезжие. Там же под пальмами прогуливались два старика-абхазца. Они шагали медленно, изредка перекидываясь короткими фразами. Их длинные миндалевидные глаза были полны безмятежного высокомерия. С таким же высокомерным изяществом они показывали свои совершенно одинаковые дымчато-голубого цвета черкески. На тончайшем сукне остро выделялись тяжелые посеребренные газыри. Легчайшего белого сукна башлыки с золотыми шнурами были щегольски обмотаны вокруг головы.

Ястребиные профили и руки стариков цвета старой слоновой кости были великолепны своей отрешенностью от окружающей их городской суеты.

Казалось, что они посланцы из какого-то другого мира. И хотя их руки картинно лежали на узких, прямых кинжалах, покоившихся в ножнах филигранной работы,

не верилось, что в этих тонких, прозрачных пальцах может засверкать старая сталь.

Мне сказали, что эти старики принадлежат к очень старинным известным фамилиям, но их гордость сегодня равна их безвластию. Это были владыки вчерашнего дня: им уже ничего не принадлежало в совершенно изменившемся мире. Но они делали вид, что не замечают других людей, что набережная принадлежит только им, и редко кого они приветствовали, притом таким легким, почти, неуловимым жестом, что со стороны казалось: они просто смахивают комара со щеки.

Неподалеку от старой крепости стоял и смотрел в море человек невысокого роста, с очень выразительным лицом, с гладкими седыми волосами, с крепкими белыми усами, спокойный, задумчивый, строгий.

Он был похож на ученого, размышляющего над сложной проблемой и вышедшего подышать вечерней прохладой из кабинета, заваленного книгами и рукописями. Если абхазцы в дымчато-голубых черкесках явно принадлежали прошлому, то этот, как бы выточенный из смуглого самшита, стройный человек с профилем морской птицы, с добрым глубоким взглядом, был вполне современен, хотя мог бы, улыбаясь, сказать, что этих старых гордецов с кинжалами он научил в свое время читать и писать, дав им первую абхазскую азбуку, и не только азбуку. Его называли Кириллом и Мефодием абхазского народа. Это был Дмитрий Гулиа, основоположник абхазской литературы...

Сколько я ни виделся и ни говорил потом с Дмитрием Гулиа, я всякий раз с наивным удивлением смотрел на него и никак не мог понять, откуда берет он столько энергии и силы, столько веры в жизнь, столько уверенности и мужества. Я уже знал о нем многое. Правда, тогда не было книги, подобной той, что написал теперь Георгий Гулиа, с большим талантом и не меньшим тактом рассказавший мучительную и удивительную жизнь своего отца — великого просветителя абхазского народа.

Всякий раз, когда я бывал в Абхазии и видел, как юный энтузиаст читает в роще молодым чинарам свои стихи, я думал: «А все-таки первым был Дмитрий Гулиа, и ты не пройдешь мимо его стихов, дорогой товарищ, когда станешь совсем взрослым».

При виде стариков, говоривших о старине, мне приходило на ум: «А ведь первую историю Абхазии написал старый поэт и ученый, живущий в Сухуми, и он же мог бы порассказать этим почтенным абхазским крестьянам о таких старых обычаях, пословицах и поговорках, легендах народа, что они почтительно удивились бы глубине его знаний».

В школу впервые бежали маленькие мальчики и девочки, и у них в сумках лежали азбука и учебники, написанные для них дедушкой Гулиа давно-давно...

А проходя мимо роскошного здания Сухумского театра, я всегда вспоминал Дмитрия Гулиа, бывшего первым директором абхазского передвижного, лихо разъезжавшего в свое время на арбах театра, на подмостки которого вышли первые артистки-абхазки, и это было тоже дело рук Гулиа — зачинателя драматургии Абхазии.

С годами раскрылась во всей широте жизнь этого неповторимого, благородного человека. Но все, что он сделал для родного народа, досталось ему с великим трудом. Обиды и гонения преследовали его со всей несправедливостью, на которую способна слепая и безумная злоба. Но он выстоял и не ожесточился. Его

вера в будущее спасла его от отчаяния, в которое неизбежно впал бы человек слабее его духом.

Дмитрий Гулиа поднял такие труды, какие под силу плечам великана, какого-нибудь горного дэва, и, думая о нем, я всегда проникался особым чувством уважения и восхищения, потому что сделанное им для своего маленького народа невероятно велико для одного человека. Я люблю, когда человек много берет на себя, не жалея сил, но такая щедрость ума и такая доброта характера — откуда они берутся? Как будто сам народ взял и создал по своему подобию выразителя своих чувств и чаяний.

Когда много прожил, воспоминания невольно становятся постоянными спутниками. Они, как закатное солнце, косыми теплыми лучами освещают краски вечера, и многое видится по-иному, то, что совсем не так выглядело в полдень или на рассвете.

И когда я размышлял о жизни Дмитрия Гулиа, всегда в памяти у меня всплывало одно абхазское воспоминание.

Однажды с компанией друзей, спустившись с гор в Абхазию, мы оказались за Латами, на повороте к знаменитому карнизу Багадской скалы. Там с высоты в сто двадцать метров открывается широкий вид на горы и на долину Кодора. Но мне хотелось пройти другой, неизвестной дорогой в Цебельду. Я отстал от компании. Со мной согласилась идти одна москвичка, добрая, легкая женщина, жена моего друга. Оставив компанию, которая хотела идти обычным путем, мы начали длинный, крутой спуск по такой дорожке, по которой привычно спускаться только горцам и козам.

Внизу в зеленой ложине было несколько домиков.

В одном из домиков нашлась маленькая девочка, плохо, но говорившая по-русски. Мы выяснили, что она когда-то с мамой, как она сказала, шла коротким путем в Цебельду, и она согласилась быть нашей проводницей.

Мы углубились в такую чашу колючих кустов и камней, что без проводника безнадежно бы в ней застряли, так как не было никакого просвета, и куда идти, определить было невозможно. Мы перебрались через ручей, поднялись по тропинке и долго шли неизвестно куда. Лес, окружавший нас, был не такой непроходимый, как чаща, которую мы миновали, но когда уже кончился лес и мы выходили к неизвестным кустам и полянам, мы обнаружили, что наша проводница бесследно исчезла. Как мы ни звали ее, как ни кричали; она не откликалась.

Она просто бросила нас, потому что, как мы впоследствии выяснили, она забыла дорогу и не хотела нам в этом сознаться, боясь, что мы будем ругать ее. Как-никак надо было идти, мы были предоставлены самим себе. Мы пошли весело вперед, так как нам больше ничего не оставалось. Сколько мы блуждали в кустах и на полянах, трудно сказать, но вдруг мы вышли в такое прекрасное место, что невольно остановились.

Мы были в широкой долине, по краям которой вставали скалы, многоэтажно покрытые высоким лесом. Долину пересекала широкая река. Направо в скале открывался огромный грот. Как потом мы узнали, разноцветные скалы над гротом называются «местом царицы пчел». Дальше по долине виднелись каменные навесы. Под нависшими плитами можно было отдыхать, разводить костер. Еще дальше из скалы шумно выливался поток подземной реки.

Вся долина зеленела и голубела, все в ней дышало миром и отдыхом, и в ней было

так хорошо, что мы сели на траву и залюбовались окружающей нас природой. В струях реки сверкали радужными всплесками форели, птицы пели на деревьях и в кустах. Неведомые цветы свешивались с пестрых скал. Зной полдневного часа умерялся потоком, мерно катившимся мимо нас, но, казалось, и поток никуда не спешил. В необыкновенной тишине слышно было только клокотание подземной реки, вырывающейся в долине из скалистых недр.

Это была долина Счастья, в которой можно было поселиться и жить, как жили здесь когда-то люди. Несомненно, они обитали в великолепном гроте, были первыми охотниками в лесах и первыми рыболовами на этой голубой реке.

Мы дышали теплыми ароматами долины и не могли надышаться: долетевшие до нас воздушные волны приносили нам все новые и новые запахи горных трав и цветов. Шелковая трава и горячий песок точно призывали отдохнуть здесь подольше. Действительно, если лечь навзничь и посмотреть в высокое синее небо, а потом медленно перевести взгляд на добрые, смеющиеся леса, на улыбающуюся реку, на теплые скалы, обступившие нас, то не сразу поймешь, что это не сновидение, а обыкновенный день в необыкновенной стране.

Я не помню, сколько мы так сидели, погруженные в сладостное очарование сказочного места. Но все же нам приходилось продолжать путь. Нам надо было перейти вброд реку и подняться по лесу на другом берегу, где, по-видимому, лежала дорога на Цебельду.

Мы сняли обувь и вошли в воду. Широкая вода все-таки стремилась так быстро, что в глазах рябило от ее сверкающего движения. Слева, довольно близко от нас, река падала в обрыв и оттуда доносился неровный гул водопада. Но здесь под нашими ногами светилось близкое дно, и облака отражались в воде, растекаясь призрачными жемчужными пятнами, и хотелось идти долго и медленно по этой сияющей реке.

Если Абхазия — Страна Души, то часть этой души, несомненно, жила в каждом куске голубой солнечной долины.

Мы перешли реку и стали подыматься в гору. Отыскав тропинку, мы остановились, чтобы посмотреть в последний раз на долину.

Так и остались в моей памяти солнечный день, тихая зеленая долина с жемчужной рекой, с исполинским гротом, в котором голубела большая лагуна, окруженная белыми камнями, поток, вырывающийся из горы, скалы с лесом, упирающимся в небо, и веселые стайки птиц, ныряющие в листве, как форели в изумрудной воде.

И мне кажется, что все творчество народного поэта Абхазии не могло бы быть таким солнечным и человечным, ели бы в нем самом, в его душе не была бы глубоко спрятана от жизненных бурь и невзгод долина Счастья, подобная той, что открылась нам однажды в горах Абхазии.

... Наши встречи с замечательным поэтом и ученым не были частыми, но беседы всегда были дружескими и искренними.

Одним осенним вечером я сидел у него в кабинете, в доме, который много мог бы рассказать о своем хозяине. В этих стенах Дмитрий Гулиа годами жил и работал, знал радость творческой победы и переживал горькие часы тревог и печали.

В этот дом приходили гости из зарубежных стран, советские поэты и писатели, простые крестьяне и ученые. Из окон дома виднелись знакомые, близкие горы Хат-Хуа, Гвад-Иху, Самата-Арху.

В этой комнате витали благословенные тени милых сердцу поэтов, которых

переводил Дмитрий Гулиа, друг и брат многих народов.

Здесь звучали стихи Пушкина и Лермонтова, строфы Шевченко, как свои, близкие друзья, вставляли образы Церетели, Чавчавадзе, высокие строфы Шота Руставели, стихи не дожившего до радостных дней своей горной страны Хетагурова.

Здесь не окрепшими еще голосами читали свои первые стихи молодые абхазские поэты. Сюда приходили и абхазские друзья-поэты и писатели новых поколений посоветоваться, поговорить о литературе, о жизни с патриархом абхазской поэзии.

Но в этот вечер, о котором я начал речь, в кабинете была только Елена Андреевна, верный помощник и спутник всей жизни старого поэта, сын — писатель Георгий Гулиа и дочь Таня.

Наш хозяин после непродолжительного разговора о разных событиях последнего времени начал рассказывать о себе.

Я и Мария Константиновна, много раз слышавшие, как поэт говорит о стихах и о людях, никогда еще не слышали такого необычайного рассказа. Незадолго перед тем я просил Дмитрия Гулиа как-нибудь, когда у него будет настроение, рассказать мне, что он захочет, из своей долгой, интересной жизни.

И вот сейчас он сидел перед нами, без пиджака, без галстука, как будто хотел подчеркнуть непринужденность домашней обстановки, полную свободу собеседников, не связанных никакими условностями.

Вероятно, он не раз, тем более в кругу своей семьи, вспоминал картины далеких дней своего детства и юности и, то, что он снова возвращается к ним, было для него, по-видимому, какой-то внутренней необходимостью.

Он был удивительным рассказчиком. Я редко слышал, чтобы кто-нибудь рассказывал свою жизнь так убедительно и просто.

Как на экране, я увидел маленькую, разоренную воинами страну, крестьян, которых силой сгоняют с родной земли. Это был рассказ абхазского Одиссея, много претерпевшего и много видевшего такого, что теперь казалось легендой, сказанием. Мы перенеслись в далекие годы.

В тихой, уютной комнате передо мной явился корабль. Вот уже на берегу турецкие аскеры. Маленький мальчик, прижимая к груди игрушечную фелюгу, держась за бабушкину руку, смотрит большими детскими глазами, как горит его родной дом, кругом крики, выстрелы, погром, люди, которых гонят на корабль. Море качается, как в колыбели, засыпающего от усталости ребенка.

Дмитрий Гулиа рассказывает об адской жизни на турецких берегах. Потом тяжелые дни нового плавания, когда утлая турецкая кочерма носится по волнам и пули русских пограничников свистят над нею. Ночь возвращения на родину, черные волны, в которые смотрит мальчик. Потом белая пена прибоя, деревья у самого берега. Первый ночлег на голой земле.

И так, шаг за шагом, мы видим, как идет жизнь, как растет тот ребенок, которому суждено стать просветителем Абхазии. Рассказчик говорит теперь без всякого напряжения, он нарочно замедляет рассказ, он смеется, и мы смеемся, выслушивая пропитанную горечью повесть о том, как три раза, как в сказке, отвозил его отец в Сухуми в школу и получал отказ. В лицах показывает Гулиа тех людей, с которыми говорил отец.

Все дальше и дальше ведет рассказ о жизни Гулиа. Я слушаю, дивясь этой ясной, невозможно сильной памяти. Он называет в старом Сухуми улицы, людей, отдельные дома; он помнит даже заводы: тогда были ледоделательный — за

Красным мостом, кирпичные — Абас-оглы, шипучих вин — Маскаришвили, Эрмиса.

И дальше, вслед за рассказчиком, мы видим его учителем, чиновником, ученым, поэтом. Мы переживаем его борьбу за абхазскую азбуку, за «Историю Абхазии», за право творчества.

Перед нами проходит жизнь человека, так связанного с жизнью народа, что мы, сидящие в кабинете, как античный хор, своей радостью или негодованием невольно сопровождаем рассказ.

Я смотрю на Елену Андреевну, я представляю ее в тот год, когда она стала молодой хозяйкой дома Гулиа. Он был учителем сухумских школ, он ввел ее в свою трудную и удивительную жизнь. И она не думала, будучи верной помощницей и матерью его детей, что их путь ведет в гору и что, когда они взойдут на вершину, откроется за тучами бед и лишений, за болью испытаний простор мира, и ее любимый, поэт, мыслитель, ученый, сможет сказать:

«Кажется, мы сделали все, что хотели сделать!».

И окажется, что это сделано не для себя, не для дома, а для народа, и об этом узнает целый белый свет. С чего начинался путь и чем кончился? Вот сидит и рассказывает о прошлом этот старый человек небольшого роста, без пиджака, то усмехаясь в свои короткие усы, то смеясь тихим смехом, то давая волю своему гневу.

Столько в этой одной жизни событий, борьбы, достижений, поисков, разочарований, опасностей, — их хватило бы и десяти человек. И сейчас, когда к концу подходит этот необыкновенный рассказ, я снова вспоминаю ту солнечную долину — у Багадской скалы. Душа Дмитрия Гулиа — такая солнечная долина и, тучи могут только проноситься над ней, но всегда будет она зеленеть и голубеть, потому что это долина Счастья и всякая злоба бесильна причинить ей боль и ущерб.

Наш хозяин устал от длинного, непрерывного рассказа. Иных событий он касался мимоходом, но видно было, что они нанесли ему глубокие раны. И, может быть, он хотел именно сегодня высказаться так душевно, чтобы облегчить тяжесть иных воспоминаний.

Я говорю поэту, что никогда не забуду этот вечер. Я хочу повидать места, связанные с его ранней юностью, побывать там, где стояла его колыбель.

Они, — Гулиа показывает на своих детей, — пусть покажут вам эти места, если вы хотите их увидеть. А там, где я родился, там ничего нет, только деревья стали большими.

Мы выходим с женой из дому, стены которого вместили так много. Море дышит, как спящий великан. В домах Сухуми всюду зажглись огни. Люди еще в летних платьях! — на улице тепло, хотя в Москве уже, наверное, летают белые пушинки...

После поездки к устью Кодора я пришел снова побеседовать с Дмитрием Гулиа.

— Мне рассказывали Таня и Жора, — сказал он, — как вы ездили на Кодор. Ну, что видели? Я давно там не был...

— Видели мы по дороге целые аллеи деревьев, на которые брошены виноградные лозы, и виноградные ветви свисают с самой вершины тополей. Как только достают их?

— Трудно доставать, конечно, но молодежь с длинными лестницами приходит, чтобы резать этот виноград. Иные говорят: это оттого, что лень было делать виноградники. Это не так. Земли не было, это старый обычай — закидывать лозы

на деревья.

— Видели еще мальчика с ястребом. Он сидел спокойно на руке. Мальчик с ним ходит ловить перепелов. Ястреб бьет без промаха. Говорит мальчик, что много может поймать. Такой вид охотничьего спорта, признаюсь, первый раз видели...

— Когда-то князья с соколами охотились, да больше нет князей, — сказал Дмитрий Гулиа, — а я встречал с ястребами абхазцев, но сейчас таких любителей тоже почти уже нет. Надо долго приучать — кто будет этим заниматься, все в работе, не до охоты.

— Посетили мы старое пепелище, где была усадьба Уруса Гулиа. Вспоминали ваш рассказ. Там, правда, ничего нет, кроме черепков, камней, а вот старые яблони выросли сильно, по ним только и можно узнать, где стояла усадьба. Еще вспомнили, что Максим Горький на берегу Кодора был участником одного происшествия, о котором написал рассказ «Рождение человека».

Очень хорошо, что на берегу, там где происходило действие этого рассказа, теперь стоит родильный дом имени Максима Горького *. И как раз, когда мы там были, привезли роженицу — черноволосую такую молодую женщину — одним абхазцем больше стало... В селении Киндг видели школу, где вы преподавали. И деревья, вами посаженные. А в селении Тамш — школу вашего имени. Приятно было это видеть! Человек должен память о себе добрую оставлять.

— Правду мне говорили, что вы по Абхазии и пешком странствовали. Не сейчас, конечно, когда моложе были? — говорит Гулиа.

— Приходилось и по горам и по лесам ходить. Кое-что видели.

— Что же вы искали?

— Мы искали новых впечатлений!

— Ну, у нас все места уже людьми давно исхожены...

— А мы нашли новую дорогу и в старом месте.

— Где же?

— Мы втроем — жена, одна наша знакомая и я — прошли пешком в 1928 году из Гудаут в Пицунду...

Наш хозяин засмеялся добродушно.

— Но это, пожалуй, скучно — идти по дороге в жаркий день. И народу много и пыль.

— Мы шли без дороги. Боюсь, что после нас тем путем никто и не ходил...

— Как так? Расскажите, я что-то о таком пути не слышал...

— Дело было простое и возникло из нашего тогдашнего неведения. Решили мы пройти, не удаляясь от моря, из Гудаут в Пицунду по берегу. Смотрим на карту — ничего особенного, ну, думаем, где к морю прижмет — пойдем по воде.

Добрались до Гудаут, переночевали в гостинице, рано утром по холодку, значит, пошли. Начали блуждать в каких-то болотах, в табачных плантациях. Канавы, ручьи, речки переходили. На нас выбегали абхазцы, думали, мы работу на плантациях ищем, соблазняли всячески: рабочих не хватало. Очень удивлялись, что к ним не идем. А мы в затрепанных одеяниях, мешки за плечами, палки в руках... Истинные бродяги, в пору нам кусок хлеба подавать.

Вышли на песчаный чудный пляж, таких на побережье очень мало, чтобы один песок был. Всюду галька, да крупная. Ну, понежились, пока шли по песку. Впереди река небольшая, вброд перешли, потом вторая; смотрю, мои спутницы входят в воду — вода до колена, потом выше, потом по грудь, потом до плеч. Вот так купанье! Перешли — мокрые с ног до головы. Хорошо, солнце жарит нестерпимо.

Скоро высохли.

Но мы идем все по берегу моря. А берег над нами начинает возвышаться, делается все круче. И камней в воде все больше. Но я вспомнил, что должно быть такое живописное местечко Мюссера, там, я читал, виллы и сады и всякое такое. Действительно, видно лес впереди на берегу, в долине: дуб, каштан, сосны. Ну, думаем, все в порядке.

У маленького домика почти на берегу моря стоит ванна, и к нам спешат здоровенные псы. А за ними товарищи в зеленых фуражках — пограничники. Интересуются, что мы тут делаем. Когда все выяснили, пригласили отдохнуть в свой домик, чаем напоили, хлеб с маслом у нас был свой. Потом пограничник вывел нас на берег и говорит:

— Значит, хотите морским путем в Пицунду пройти?

— Хотим, — говорим.

— Это, — говорит, — ваше, желание безотказно?

— Да уж отступать мы не намерены.

— Ну, тогда, — говорит, — раз так, то слушайте, мы туда ходим в особых больших сапогах, почти до пояса, а если волна, то и вовсе не ходим. Пройти, конечно, можно, раз вы по горам ходили, люди опытные. Но вот мой совет: там мысы пойдут, так вы перед каждым мысом отдыхайте...

Мы говорим:

— Как же так, не лучше ли отдыхать после каждого мыса?

— Нет, — говорит, — отдыхайте перед каждым мысом.

Отправились мы в дорогу. Я весь груз отобрал у своих спутниц, в свой мешок перегрузил. И гут началось. Отвесный берег подошел к самому морю. Голову закинешь — высоко в небе кусочки листвы, и оттуда сыплются камни, то маленькие, то довольно увесистые. Каждый мыс надо обходить по воде, потому что по скале нельзя: скала отвесная, не всюду пройдешь, а в воде такие скользкие камни, что по ним с трудом можно передвигаться. Вы руки на камень положите, и крабы бегут к вам со всех сторон.

Или вам перегораживает путь глухая стенка железнодорожного тоннеля с таким узким карнизом, что моя нога на нем не помещалась.

А то в самом мысу углубление, туда, бьет волна. Надо ждать, когда она отхлынет, быстро влезать в эту пещерку и стремительно, пока не подошла следующая волна, оттуда выбираться.

Наша спутница шла впереди меня по скальному карнизу и должна была обогнуть очередной мыс. Но она так стремительно отскочила от поворота скал, что чуть не сшибла меня в море. Над ней впереди я увидел нечто вроде коричневого старого войлока в воздухе. Я бросился вперед. Надо мной висел огромный бурый орел. В жизни я не видел так близко от себя разъяренного орла. У него так злобно горели глаза, что я пустил в него обломком скалы. Перед нами лежала туша дельфина, которую терзал этот стервятник. Он думал, что мы отнимем ее у него. Но мы перешагнули через нее и прошли дальше. Он, продолжая злобно клекотать, опять опустился на тушу, а мы продолжали головоломный путь.

Камни у подножия отвеса были конгломератом — даже сосновые шишки были впаяны в породу. Там много мы насмотрелись чудес.

В одном месте в углублении между скал была вбита целая шхуна. Надпись на корме — «Ураган». Я взобрался на скалу, посидел на борту шхуны, выкурил папиросу, и мы отправились дальше, спеша до темноты выбраться из этого хаоса

скал и волн, среди падающих сверху камней. Мы натолкнулись на разбитый небольшой мол, и тут волна накрыла меня с головой и потащила в море. Я, к счастью, упал, поскользнувшись, и сел в углубление мола, что меня спасло. Волна ушла, а я встал и вынул из кармана длинные водоросли.

Так, странствуя, мы все-таки в невозможном, правда, виде, пришли в Пицунду. Благо было темно: наших одежд никто рассмотреть не мог, да и Пицунда тогда не была, как теперь курортом, а в ней помещался Бзыбьстрой — там жили рабочие, техники.

Мы и выпросили себе комнату в одном домике и стали приводить себя в порядок. Потом пошли в местный ресторанчик, голодные, как собаки, и там ели все подряд, что нам в полумраке — лампа светила плохо — подавал какой-то турок. Но когда я как следует разглядел понравившиеся мне булки с маком, то оказалось, что это не мак, а зеленая плесень.

Нас спросили сидевшие в ресторанчике люди, откуда мы взялись такие красивые. Мы сказали, что пришли из Гудаут.

— По шоссе? — презрительно спросил какой-то грубоватый тип.

— Нет, — сказали мы бодро, — приморской дорогой!

— Этого не может быть, — сказали хором посетители, — там никто не ходит. Там нельзя пройти!

— А вот мы прошли, — сказали мы скромно, — и вам советуем!

— Вот это да! — воскликнул грубоватый тип. — Это вещь — пройти приморской дорогой из Гудаут в Пицунду! Это здорово!

Дмитрий Иосифович начал тихо смеяться.

— Вы меня простите, но я живо представляю, в каком виде вы были после такой увеселительной прогулки. Но вы меня заинтересовали. Был бы моложе, обязательно пошел бы этой приморской дорогой. Я много ходил в Абхазии и по горам и по долинам. Это было путешествие к людям. Я знаю людей всей страны — чем живут они, какая радость у кого, какое горе в доме. Песни я собирал, легенды. И не один был мечтателем. Вот я расскажу вам про моего хорошего друга — профессора Григолия. Мы говорили с ним часто о том, что такое Абхазия. Он доказывал, что это страна, которая должна быть вся превращена в здравницу для людей, и только не хватает в ней таких источников минеральных вод, которые являются залогом развития всех больших курортов Кавказа. Не может быть, рассуждал он, что у нас нет этих богатств. Почему на Северном Кавказе целая группа минеральных вод имеет всесоюзное значение, а у нас ничего нет? Они есть, эти воды, просто их не нашли. Я буду искать и найду их. Я докажу, что Абхазию можно разделить на три зоны, которые вместят сотни тысяч приезжих — больных и туристов. Верхняя зона — высокогорная, как в Швейцарии, — и лыжный спорт и сани, санатории, горный туризм. Средняя — для тех, кто любит лес, солнце, прогулки, в этой зоне тоже санатории, но другого назначения, третья зона — приморская, тут морские купания, гостиницы, водный спорт, общий отдых. Но сначала, сказал он, надо искать минеральные источники. И он пошел искать: подымался под самый хребет, где снег и лед, опускался по всем ущельям. Годами ходил на свои деньги, нанимал лошадей, все искал, потом при Советской власти он возглавлял много экспедиций. Мало есть троп в Абхазии, где бы не ступала его нога. Что же вы думаете? Нашел он минеральные источники, на Ауадхаре — выше озера Рица. Да и на озеро он вышел первый, спустился к нему из-под хребта и первый обследовал его берега. И теперь на Ауадхаре, он уверяет,

что обязательно со временем будет курорт большого значения. Там, он говорит, сам воздух целителен, а воды прямо сказочного действия. Их уже называют «источники молодости»...

Дмитрий Иосифович задумывается. Он молвит, пытливо смотрит на меня и снова продолжает:

— А ведь он прав, мой друг Григолия. Абхазию можно превратить в рай. На любом дереве будут перекинуты виноградные лозы, вся страна — сад, а в ней все фруктовые деревья мира, у моря будут отдыхать миллионы, по сколько для этого нужно положить труда! Как трудились, пока проложили хотя бы дорогу на ту же Рицу. Я помню, туда добирались пешком и верхом, повороты тропы считали, а от оврага Аллах-Аршира до Экира надо было одолеть шестьдесят поворотов. Шли туда и обратно шесть-семь дней. А вы слышали, что такое Рица? Озера там никакого не было. А там была поляна, и жил на ней абхазец Адзиба. Пошел он раз по делам в Калдахвары, а вернулся — ни дома, ни семьи. Гора обвалилась, запрудила речку, и стало озеро. Может быть, это легенда, — говорит он, лукаво улыбаясь, — но этот Адзиба женился на калдахварской девушке, и старики еще помнили его в селении Блабурхва, где он поселился и жил до глубокой старости. Я сам о нем слышал...

— Дмитрий Иосифович, — говорю я, — а можно ли, по-вашему, сделать Абхазию субтропической страной?

— В каком же это смысле, я не совсем вас понимаю?...

— Ну, как хотел ее превратить в ботанический сад старый колонизатор, принц Ольденбургский. Он ведь попробовал населить ее леса обезьянами и попугаями. В Гаграх он произвел даже опыты...

Дмитрий Иосифович машет на меня шутливо руками..

— Вы смеетесь, — говорит он, — попугаев этот принц действительно привез отовсюду, даже из Германии, от Гагенбека, и выпустил. Они несколько дней красовались на деревьях, а потом с гор прилетели ястребы и начали их истреблять на глазах населения, которое ничем не могло помочь бедным попугаям...

— Говорят, что среди них были говорящие, и кто как умел кричал, отбиваясь от хищников. Кто кричал: «Пошел вон, дурак!» Кто: «Караул!» Кто: «Добрый вечер!» Кричали что попало...

— Не знаю, только знаю, что разноцветные перья долго носились над Гаграми, и с тех пор принц уже не пробовал населить лес тропическими гостями.

— Но была еще история с обезьянами, — говорю я. — Ольденбургский выпустил трех обезьян в гагринские горы.

— Откуда вы знаете эту историю?

— Был большой знаток Кавказа, хранитель заповедников, сам заядлый охотник, ученый Евгений Львович Марков. Он в своих воспоминаниях говорит, что принц Ольденбургский позвал к себе гагринского коменданта и приказал, чтобы местные жители были поставлены в известность, что принц за вознаграждение будет приобретать у них шкуры редких зверей, птиц, разные старинные вещи, а также будет давать награды за сообщения о природных достопримечательностях, древних развалинах, целебных источниках.

Когда он решил выпустить в лес обезьян, он тоже приказал оповестить окрестное население, что такие-то, привезенные из Африки звери (следовало описание обезьян) не должны преследоваться охотниками, что они выпущены для

акклиматизации и размножения в горных лесах.

Комендант откланялся и ушел, но принц не знал, что комендант — запойный пьяница и что в этот вечер у него начался новый запой и он, конечно, никого не известил об отпущенных на волю обезьянах. А через несколько времени пришел известнейший охотник — житель Калдахвар — и с самыми изысканными выражениями преданности обратился к принцу. Он сказал, что всю жизнь охотится и никогда не видел таких чудес, какие он принес в дар принцу. С этими словами он вытряс к ногам принца трех убитых им обезьян...

И когда принц задохнулся от ярости, он пояснил: «Три дня гонялся, пока догнал!» Принца чуть не хватил припадок, едва его привели в себя. Охотник удалился в глубоком недоумении, обиженный до глубины души, и обезьяны с тех пор уже не выпускались сумасшедшим принцем.

— На что были тогда Абхазии обезьяны! — грустно сказал Дмитрий Иосифович. — Они и сейчас в наших горах не нужны, хотя их сейчас сколько угодно у нас в обезьяннике в Сухуми, но они хоть пользу у нас приносят. Мне говорил человек, который ездил ловить их в Эфиопию, что тамошние крестьяне охотно помогали ему ловить обезьян и, когда уже клетки были полны ими, пришли и громко, радостно спросили: «Когда их бить будем?» Наш охотник объяснил им, что он ловил их, чтобы живыми привезти домой. Тогда крестьяне закричали еще громче, что он злой человек и хочет злого своим землякам. Оказывается, обезьяны так много причиняют вреда эфиопам, что те считают их злейшими врагами и радуются их уничтожению. Поэтому они не поняли, зачем вместо того, чтобы насладиться гибелью врагов человека, он хочет, чтобы они на его родине так же вредили полям и садам, как она вредят в Эфиопии. А тогда, когда был принц Ольденбургский и царь, обезьяны не жили в лесах, они ходили в мундирах и при саблях и вредили народу хуже, чем простые резусы или павианы. Но и этих обезьян сегодня тоже нет уже...

Я тоже думаю, как мой друг Григолия, что Абхазия еще не достигла своего полного развития. Она полна богатств, которые все могут быть и должны быть поставлены на службу людям...

Стоят удивительно ясные дни. Воздух необыкновенной чистоты и прозрачности. С горы над Сухуми, как нарисованные на далеком синем экране, белеют свежим снегом Трапезундские горы. Около устья маленькой Беслетки в море кувыркаются совсем близко от берега дельфины, они ходят колесом, их блестящие черные тела отчетливо видны в прозрачной воде.

Бабочки целыми стайками низко летают над волнами прибоя, и можно проследить, как грустно кончается их полет. Пенный гребень вздымается над ними, и они исчезают в кипящей волне. Новые стайки воздушных созданий продолжают ту же смертельную игру.

С высоты горы над Беслетским ущельем далеко видно море. На поляне, весь залитый солнцем, дрожащий золотой тополь. Он дрожит какой-то осмысленной дрожью, он похож на гибкую индийскую танцовщицу, увешанную золотыми тонкими украшениями, танцующую со скрытой страстью, дрожащую всем телом, не сходя с места... Как восторженный зритель, стоит дерево, похожее на разноцветное пламя.

Дары осени — большие краснощекие яблоки — щедро насыпаны вокруг старой яблони. Эти яблоки лежат давно. Их никто не подбирает. Они падают с тугих веток на мягкую, густую траву и лежат в ней, как будто красуются своим

румянцем в полном одиночестве.

Эти яблони — остатки заброшенных садов. Когда-то здесь жили немцы-колонисты, исчезнувшие в годы войны. Годы войны...

Таня Гулиа хмурится и говорит тихо:

— Папа не может забыть Володю... И мама и мы все не можем! Мы столько ждали и надеялись... мы и сейчас ждем...

Володя, младший сын Дмитрия Гулиа, был инженером-автодорожником. Он ушел в армию перед началом войны. И потом были только письма, несколько писем, и больше ничего. Печаль о нем живет неслышно в семье, о ней не говорят при людях, но она глубоко в сердце старого Гулиа.

Я вспоминаю вечер в Сухуми. Не знаю, почему он был тревожный. То ли потому, что только что отшумела гроза, тьма опустилась на город. В этой тьме по большому пустырю в городе, по кустам мелькали там и сям огоньки. Люди искали перепелов. Забитые дождем, они, усталые и мокрые, падали в траву, в кусты, прямо на улицы, на кровли.

В дом Гулиа принесли четырех перепелок, и Таня унесла их и положила на пол в пустой комнате. Серые комочки вздрагивали и прижимались друг к другу.

В этот вечер как-то случайно гости заговорили о войне, но потом прекратили этот разговор и стали поднимать тосты. Тосты были длинные, выступавшие хотели показать искусство красивых приветствий, сложного словословия, все охотно шли им навстречу, и кувшины с вином казались неисчерпаемыми.

Вдруг, когда наступило некоторое затишье, раздался еще один тост. Поднялся Дмитрий Иосифович и, посмотрев на всех добрым взглядом сказал сильным, молодым

голосом:

— За тот вечер, когда мы соберемся здесь, за возвращение Володи! — И он шагнул вперед и чокнулся с посмотревшей на него влажными глазами Еленой Андреевной.

... Была уже ночь. Ветер с моря крутил занавеску на моем окне. Где-то далеко кричала ночная птица, но, может быть, это мне только казалось, потому что в эту октябрьскую ночь я мог слышать и топот коня и выстрел во мраке... Я читал роман Дмитрия Гулиа «Камачич», и автор уводил меня из тихой комнаты в гостинице в горы, меня обступали тяжелодумные люди с первобытными чувствами, женщины с горячими глазами и грустной улыбкой, всплывали какие-то видения старины, заклинания звучали в ушах, как будто говорившая их стояла за моей спиной. Передо мной была даже не книга, а грубый, шершавый подстрочник, сквозь который я пробирался, как сквозь колючий кустарник, я чувствовал, что этот кустарник колет меня, рвет на мне рубашку.

Да, это была история абхазской женщины, которой суждено пройти тяжелый, мученический путь. Мне казалось, что автор гипнотизирует меня, передавая мне свои ощущения, он так зримо ведет меня сквозь боль и мрак прошлой жизни абхазского народа, что я уже никогда не забуду того, что узнал долгой осенней ночью.

Я дочитал рукопись. Мне будет трудно уснуть. Вокруг меня начал бродить старый демон гор, который приносит бессонницу и грусть. Я выхожу на балкон.

Я уже не слышу крика ночной птицы. Все тихо. Пароход у мола с освещенными

окнами. Внизу, под моим балконом, открытая дверь. Там бильярдная. Азартные игроки все не могут оставить игры. Слышно, как стучат шары. Прошел, напевая, какой-то веселый человек. Блестя черным боком, прошелестела машина. Свет из моей комнаты падает на лакированную листву, на которой блестят буквы, похожие на абхазскую азбуку. И снова я вижу черные волны, над которыми завивается белыми жгутами пена, и мальчика, бредущего по воде к берегу. Проходят годы, и вырастет другой мальчик, которого зовут Володя, он уходит в темноту военной ночи, но не вернется из нее, не увидит рассвета и родного берега. Черные волны покроют его с головой.

Может быть, и в доме на старой сухумской улице светится окно, и седой поэт думает о будущем, о душе своего народа, о его непростой судьбе. И еще он думает сквозь наплавы усталости, что будет вечер.

Конный праздник на берегу моря. Лиловые, как облака, горы вдалеке, изумрудное поле состязаний, красные изогнутые конструкции железнодорожного моста, встающие из-за толпы всадников в синем и черном. Мы отвыкли уже видеть столько скачущих красивых коней сразу, столько разлетающихся грив, столько всадников, наслаждающихся быстрым движением, своим удалством, криками восхищенных зрителей. Два дня продолжается смотр спортивных колхозных сил. Джигитовка сменяется буйным карьером, рубкой лозы и глины, простые скачки — барьерными. Среди старинных конных игр мне особенно понравилась «чаган-бурти», нечто вроде конного поло.

После праздника я прихожу к Дмитрию Иосифовичу. Наша новая беседа начинается с темы спорта. Я рассказываю ему о виденных мной скачках и играх, и он явно доволен моим рассказом. Я говорю:

— Это хорошо, что еще не разучились скакать на лошадях, но для абхазских колхозов этого мало. У вас колхозы — это маленькие вселенные. Они начинаются от горных вершин и кончаются у моря. Все климаты, все пейзажи, все возможности спорта. От альпинизма до водяных лыж. Ведь в колхозах ваша молодежь может круглый год заниматься любыми видами спорта. Коньки и лыжи, легкая атлетика, борьба, конный спорт, футбол (в колхозе в Гали хотят строить свой стадион), гребля, плавание, яхты, каноэ на горных речках.

Поэт выслушал меня внимательно, и моя речь в пользу колхозного спорта произвела на него впечатление. Он говорит:

— Это все так. Все можно сделать для того, чтобы юноши и девушки росли крепкими и сильными. Но увы! Все меньше всадников, все больше машин. Возьмите наши древние легенды — сколько богатырей, какая сила и храбрость! Даже античные писатели, которые видели Эльбрус с моря от Сухуми, признали, что Прометей был прикован к вершине на Кавказе. Прометей — ведь это наш Абласкир, свой человек, абхазец. Но теперь другие времена. Молодых людей влечет техника, они хотят летать, и летать высоко. Это их право. Их отцы слишком долго ходили по земле. Дети хотят испытать свои крылья.

Он говорит дальше без всякого перехода:

— О сегодняшнем Кавказе еще мало написано. Старые писатели и поэты писали больше. Как Шевченко писал о Кавказе, какой великий поэт! А вы знаете, я был па могиле Шевченко в Каневе, поговорил с ним сердцем, как с богатырем поэзии народной. Какой голос, какая мощь в «Завещании» в строке: «Кайдани порвите!» И разорвали кайдани, но много еще других цепей надо порвать, которые внутренне держат человека, сковывают его чувства, ограничивают его

возможности. Человека надо освободить от пут прошлого, от суеверия, от эгоизма, от вековых дурных навыков, от многого. Это не так просто...

— Дмитрий Иосифович, я читал «Камачич» и «Призраки». Я считаю их сильнейшими произведениями, которые еще не оценены как следует. Это очень важные книги, особенно для молодых поколений, не знающих прошлого. Скажите, вы это лучше меня знаете, крепки еще старые обычаи, живы еще суеверия?

— Не могу отрицать, есть, — говорит он, — да вы, наверно, сами наблюдали кое-где в Абхазии, особенно в глухих местах.

— В Ажарах, знаете, был свидетелем такого случая. Ночью мы были разбужены стрельбой. Что такое? Нападение, месть. Что же выяснилось утром: один молодой человек по уговору с девушкой приехал ночью, взял ее на седло и давай мотать по лесу. В ее семье все прекрасно знали, что она уедет с ним, что нет надобности изображать похищение с погоней, которой не было. Зачем он гонялся по лесу — непонятно. Ободрал девушку о деревья, перещарапал. Мало того, ее брат каждую ночь приезжает к дому, где живут молодые, и стреляет им в стену. Выстрелит несколько раз — и тоже спокойно едет восвояси...

— Это из области комического, — говорит Дмитрий Гулиа серьезно, — но, к сожалению, еще живы факты драматического порядка. И дурное обращение с женщиной, и кровничество, и неправильное отношение к жизни еще встречаются у нас, да и не только у нас. У нас раньше колдуньи крали душу, но теперь колдуньи отодвинуты в сторону, но душу у молодежи могут красть другие нечистые силы. Против них надо бороться, особенно за душу молодежи. Абхазский народ — древней культуры. Еще летописец Нестор говорит об «абезах», абхазцах, приходивших в Киев участвовать в построении церкви святой Софии при князе Владимире. Абхазский народ, среди которого я вырос, благороден сердцем, мужествен, прост в выражении сильных чувств и отвечает добром на добро, он не утратил своих прошлых доблестей. О его новых делах должны рассказать и расскажут писатели, поэты, драматурги, их уже много в Абхазии, они набирают силы. Я сделал что мог...

Он посмотрел в окно на горы, по которым ползли низкие облака.

— Когда-то я был один, как это странно! Такая судьба! Иногда судьба мне кажется медведем...

— Медведем, — спросил я, — почему медведем?

— А вот послушайте. Один старый охотник сел в засаду ночью на медведя на той тропе, по которой тот приходил ломать кукурузу. Охотник положил ружье себе на колени да и задремал. Вдруг спросонья чувствует он, что кто-то его взял, поднял и понес. Смотрит, а это медведь подкрался неслышно, облапил да и куда-то несет. Охотник не дышит, не шевелится. Было это недалеко от моря. А там была большая песчаная яма, и в эту яму медведь и бросил охотника. Но тот упал на выступ и лежит, голоса не подает. Медведь сломал его ружье и бросил в яму. Оно шлепнулось в воду на дне ямы. Медведь прислушался. Стал кидать камни, ветки. Кинет — и слушает. Охотник прижался к стенке и молчит как мертвый. Надоело медведю кидать, решил, что кончил врага, и пошел в лес косолапый. А охотник, как рассвело, вылез и, к своему удивлению, увидел, что жив и здоров, и даже может радоваться солнцу, что над морем встает... Вот мне кажется, что судьба не раз бросала меня, как тот медведь охотника, в яму, но, пошвыряв в меня всем, чем попало, удалялась, а я благословлял жизнь и приветствовал светило нового

дня!..

В апреле 1949 года на правительственной даче около Сухуми был торжественный ужин в честь семидесятилетия Дмитрия Иосифовича Гулиа.

Было шумно, радостно, светло. Вдруг вследствие какой-то неожиданной аварии погас свет. В наступившем внезапно мраке гости затихли, и тогда кто-то начал громко читать стихи. Стихи прекрасно звучали в тишине, и читавший закончил их, когда снова вспыхнул свет, и дружеский вечер опять стал шумным и широким.

Тогда присутствовавший на вечере Виссарион Саянов сказал мне: «Смотри, это символично. Стихи Дмитрия Гулиа звучали в темноте ночи царизма, окутывавшей всю Российскую империю, и продолжают звучать сегодня — при ярком свете социалистического дня! Я сейчас скажу про это и провозглашу тост!» И он сказал хорошо тост и от всех нас обнял нашего старого друга.

1963 г.

** Сейчас больница носит имя «Рождение человека».*

О СТИХАХ ИВАНА ТАРБЫ

Абхазия — благословенный край. По-абхазски он называется Апсны, что значит «Страна Души». И душа эта необыкновенная. В Абхазии с древних тысячелетий человека окружает огромный, богатый мир всевозможных красот: морские волны набегают на берега, которые были известны еще легендарным аргонавтам, горы снежными шапками окружают ущелья и долины, полные запахов первобытных лесов и роскошных лугов. Сегодня Абхазия край тропического богатства, белых санаториев,

бесконечных плантаций чая, табака, цветов, цитрусовых. Но рядом с мандаринами, тунгом и лавром высится гигант нового века Ткварчели, угольный центр добычи ткварчельского угля, центр горнодобывающей и энергетической промышленности.

Всюду в Абхазии вы увидите передовую технику в действии, будь это на чайных плантациях, на ферментационных заводах, где производится отбор табачного листа, или в шахтах, оснащенных лучшей горнопроходной техникой.

Абхазия, начинаясь от моря, кончается на вершинах ледяных кавказских исполинов, привлекая несметное число туристов и горных исследователей. Но она полна еще иным богатством, оправдывая свое имя — «Страна Души». Она полна народными песнями, сказаниями, преданиями, сказками и стихами.

Как высочайшая вершина абхазской поэзии высится творчество основоположника абхазской литературы — неповторимого Дмитрия Гулиа. В советское время мы видели пышный расцвет его многосложного творчества. И дальше мы найдем целый перечень прекрасных имен, украшавших абхазскую поэзию.

В Абхазии сегодня много поэтов разных возрастов. Мы с известным удовлетворением берем стихи абхазского поэта и общественного деятеля Ивана Тарбы, объединенные в книгу, которая названа «Избранное». Это стихи многих

<http://apsnyteka.org/>

лет, дающие ясное представление о поэзии этого хорошо знакомого нам поэта, который имеет уже семь поэтических сборников, вышедших в Москве... И об этой поэтической, пленительной Абхазии его стихи — о дружбе, о поэзии, о любви. Это стихи глубокого, внутреннего чувства, голос сердца, раздумья о жизни, о сегодняшнем дне, о вечных явлениях человеческого существования, о народных обычаях, радостях и тревогах — о дружбе народов, о вековом обычае гостеприимства и вместе с тем народном достоинстве, о гордости и мужестве. Вот поэт видит Тбилиси, всходит на священную гору Мтацминду... Свои для него и Киев и Ереван, и он, странствуя по Советскому Союзу, гордо говорит: здравствуй, Сибирь, где строители греются у «молодежного костра», где люди Алтая как родные братья.

Это все потому, что всюду люди свободного труда — герои и мастера, и потому, что «и над шахтами Ткварчели звезды вспыхнули во мгле». В широком большом мире живет поэт. Он сам сын своего века, прошедший с народом победоносный путь преобразования родной земли под знаменем великой партии Ленина. Потому так естественно его ощущение единого пространства.

И поэтому, посещая музей, он по-своему оценивает времена, и для него, как для поэта, боевая каска его современника, участника Великой Отечественной войны, победителя фашизма, выше шлема воина древних времен, и он повесил бы каску выше кольчуги и шлема древности.

Поэт любит жизнь в ее движении...

Влюбленный, бродит он ночью по горным тропам, ступая по мокрым сучьям и камням...

Все живет в этом поэтическом потоке, непрерывно стремящемся вперед. И образ Маяковского, шагающего в горах и читающего стихи, близок старому горцу. Маяковский — человек революции, а Иван Тарба с рождения связан с ней. В честь боевого побратима, путиловского парня, поэта нарекли Ваней, и он вырос и счастлив, шагая в строю. Путь этот многообразный, давший разные поэтические переживания, от личных, любовных, связанных с непростыми ощущениями... до впечатлений от посещения дальних стран, где в дружеской Корее, под ивами Пхеньяна, поэт читает стихи по-абхазски...

Эта смесь поэтических переживаний характерна для Ивана Тарбы, в характере которого живет безмерность мира и чувств, говорящих о печалях и простых радостях обыкновенного человека, смотрящего в калейдоскоп мира, где личное и общественное социально связано общей судьбой...

И он, верный абхазской народной поэзии, мотивам фольклора, создает песни, в которых мы слышим голос здоровых, нравственно чистых людей, простых тружеников, со всем традиционным укладом их быта, слышим голоса радости и печали. Это свадебная песня, застольная, песня о рождении дочери, колыбельная, песня в честь огня, в честь гостя, песня о собственной жене, песня вдовы и целый ряд других песен, которые сопровождают жизнь человека от колыбели до последнего дня.

В этих песнях, как и в песне пахаря, в песне в честь хлеба, в песне мельника и кузнеца, как и в песне рыболова, в песне о соколиной охоте, звучит тот же гимн существованию, оправданному трудом и честностью чистого сердца...

Такова пестрая, жизнерадостная эта поэзия. Читая стихи Ивана Тарбы, видишь большое нравственное здоровье и природную мощь человека, который отвечает всем существом на призыв окружающей его богатой природы, на призыв

современников, строящих дорогу к высотам будущего для всего человечества на земле...

Иван Тарба пишет и прозу. Его книги о быте горных абхазских сел интересны и обладают своеобразными литературными достоинствами, но его стихи составляют в современной поэзии особую главу, в которой темперамент поэта, его собственная интонация, его лирическая сила, отбор тем говорят сами за себя. Внутренняя сила его стихов, простота и убедительность, народность, верность традициям абхазской классической поэзии — все это говорит за то, что еще много творческой энергии в запасе нашего мастера и мы, несомненно, увидим новые достижения этого талантливой художника социалистической Абхазии.

1976 г.

А. ЧИВИЛИХИН

ГОРНАЯ РЕЧКА

Я глянул вниз. Блестя, на дне ущелья
Змеился речки узкий пояс.
Тысячелетья, будто с ясной целью —
Плечо горы рассечь наискосок, —
Трудилась речка. Дело шло не спору,
Но, медленно точась среди камней,
За веком век пилила речка гору
Серебряною пилочкой своей.
Одним упорством в давнем поединке
Была она, чуть видная, сильна —
Преграду размывала по песчинке,
И вот смотри, что сделала она!
Стоит гора, унижена в гордыне,
Как будто бы рассечена мечом.
Красе ущелья мы дивимся ныне,
А речка, будто вовсе не при чем, —
Течет себе, так кончив спор с горою,
Как не могли б ни порох, ни тротил.
Так труженик не верит сам порою,
Что он за век свой горы своротил.
Ущелью дали имя. Словно в сказке,
В полдневный час оно открылось нам.
Скажи мне, друг, как будет по-абхазски
Настойчивость? Я речке имя дам.

1951 г.

К. СИМОНОВ

ВЫРУБЛЕННОЕ ИЗ КАМНЯ

В Москве, в Гослитиздате, на русском языке вышла в этом году превосходная, глубоко поэтическая книга — абхазский народный эпос «Приключения нарта Сасрыквы и его девяноста девяти братьев».

Книгу открывает предисловие одного из исследователей и собирателей нартского эпоса — абхазского ученого Ш. Инал-ипа. Радует, что это предисловие написано не только со знанием дела, но и с живой увлекательностью — добрые качества, которых еще так часто не хватает иным и ученым, и умным предисловиям. Так же, как и замечательный древний азербайджанский эпос «Кероглу», нартский эпос — проза, от времени до времени перемежающаяся стихами. Прозу на русский язык перевел писатель Георгий Гулиа, стихи — поэт Семен Липкин. Я не знаю, к моему сожалению, абхазского языка и не могу судить о работе переводчиков, сравнивая тексты с точки зрения точности перевода, но с уверенностью могу сказать, что в русском переводе, по-русски — это хорошая проза, и хорошие стихи.

Однако сказать только это мало. Мне кажется, что в этой прозе и стихах о суровом богатыре Сасрыкве, которого мать не родила, а вырубил из камня и закалила в огне, чувствуется подлинный голос народных преданий, голос суровой и многотрудной истории маленького по численности, но сильного духом, гордого и независимого народа. Книга дышит воздухом Абхазии, ее гор, ущелий и долин. В книге есть и горький дым очагов, и прозрачный холод горных ключей, и звуки осыпающегося под копытами коней и падающего в бездонность ущелий камня. Мать вырубил богатыря Сасрыкву из камня, и это как бы с самого начала определяет характер главного героя богатырских сказаний. Но, если можно так выразиться, в книге вообще есть такое чувство вырубленности из камня всего того, о чем в ней повествуется. Герои абхазского эпоса не вылеплены из гипса, не вырезаны из дерева и не изваяны из мрамора. Они именно вырублены из того камня, которым их окружила природа Абхазии. И эта угловатая цельность присутствует во всех проявлениях их натуры — и в широте, и в самопожертвовании, и в храбрости, и в жестокости, и в гостеприимстве, и в неспособности забывать ни добра, ни зла.

Я не хочу пересказывать содержания книги. Для того, чтобы получить о ней представление, надо просто прочесть ее — иного способа пока не придумано. Я хочу только дать представление о характере книги, как мне кажется, связанном с исторически сложившимся характером народа. Я не смею выдавать себя за знатока абхазской истории, но я много лет подряд подолгу жил в Абхазии, и у меня есть чувство, что я немножко знаю людей этой страны и поэтому в какой-то, пусть в небольшой, степени способен ощущать меру духовной близости тех или иных черт древнего народного эпоса к тем или иным чертам натуры и характеров людей, с которыми я встречался, людей, живущих сейчас, сегодня, в современной Советской Абхазии. Это тем более так, потому что этот древний эпос был донесен до самых последних десятилетий устно и, несмотря на всю силу традиций, в нем все-таки что-то отмирало, и что-то появлялось, если не в самих сюжетах, то во всяком случае в характере и тоне их изложения.

<http://apsnyteka.org/>

Социализм сближает народы, и мы вправе говорить о перешагивающих через национальные перегородки, складывающихся на наших глазах, сближающихся и уже начинающих становиться традиционными общими чертами советского человека. Мне доводилось читать литературные статьи, в которых этот процесс порой начинал выглядеть слишком простым, легким и быстрым. На самом деле этот процесс сложный, длительный и, добавлю, полный хотя и преодолимых, но противоречий. И сложный, и длительный, он и не может быть иным, потому что он добровольный, не насильственный, постепенно в разных обстоятельствах и с разной мерой силы осознаваемый как внутренне необходимый. Но по этому же самому при своей медленности — это процесс необратимый и глубоко прогрессивный с точки зрения национальных интересов каждого из народов, участвующих в этом общем процессе.

Когда мы говорим о постепенном рождении общих черт характера советского человека, идущего к коммунизму, этот процесс мне кажется общей копилкой (сознаю, что, наверное, можно подыскать и другое, лучшее слово), в которую каждая национальная традиция несет все лучшее, все самое дорогое, общечеловечески ценное в ней, расставаясь с обветшалым, отжившим, вызванным в свое время к жизни теми или иными тяжелыми историческими условиями и постоянно отмирающим вместе с исчезновением этих условий. Глубокое уважение к своим национальным традициям не имеет ничего общего с обожествлением их. В традициях каждого народа (как русский человек, упомяну, что и в традициях русского) существуют отживающие черты, вовсе не заслуживающие канонизации, и проявление этих черт в складывавшихся на протяжении веков национальных характерах тоже отживает, если только не стараться их искусственно канонизировать. А впрочем, добавлю, что эта канонизация — исторически бесполезное занятие: жизнь, коммунистическое развитие общества все равно в каждом таком случае рано или поздно возьмут свое.

Возвращаясь к той книге, о которой я пишу, мне хочется подчеркнуть, что эта книга не является препарированной, осовремененной переработкой эпоса. Это не есть и полный научный свод всех сказаний. Это, если можно так выразиться, избранное. Но в этом избранном есть все не только душевно близкое нам, но и душевно далекое, чуждое. В чертах характеров героев есть черты грубые, бесчеловечные, среди их поступков есть не только благородные, но и хитрые, мстительные, свирепые. В книге изображены черты быта не только привлекательные по своей чистоте и строгости, но и нетерпимые, неприемлемые для нашего современного сознания. И не надо закрывать глаза на то, что какие-то живучие частицы этих черт еще существуют в жизни.

Но главное в национальном характере то, что он кладет в копилку, о которой я говорил, мужество, стойкость, верность в дружбе и непримиримость к проявлениям душевной слабости — все это с большой и привлекательной силой живет на страницах этой старой и в то же время молодой книги. И в этом и состоит ее главное обаяние.

Сказания о нартах сложились в сокровищницах народного творчества целого ряда народов Северного Кавказа. Они есть у осетин, у адыгейцев, у кабардинцев, есть и у других народов. Некоторые из них, например осетинские нарты, мне доводилось читать, о некоторых других я знаю только понаслышке, и тут еще остается впереди та радость встречи, которую я испытал, читая абхазские нарты.

Читая эту книгу, невольно думаешь о том, какое богатство истории и какое своеобразие культуры стоит за плечами у каждого народа. Сорок лет назад, мальчиком, знакомясь с мифами древнего мира, я читал впервые в жизни великий миф о Прометее. И вот уже немолодым человеком, открывая страницы только что вышедшего в свет абхазского эпоса, я снова встречаюсь с Прометеем, потому что у абхазского народа тоже есть свой Прометей, которого зовут Сасрыква и который тоже совершает великий подвиг добывания огня для своего народа. И эта легенда по своей красоте, силе и многозначительности, по высоте своего человеческого духа ничем не уступает той, другой, читанной в детстве и давным-давно ставшей во всем мире неотъемлемой частью душевного богатства всякого сколько-нибудь прикоснувшегося к образованию человека.

И когда я думаю об этом, мне хочется возразить против той привычной терминологии, которую мы, не желая сказать ничего худого или обидного, так часто и так привычно употребляем — «большой народ», «маленький народ». Больших народов и маленьких народов нет, есть пароды многочисленные и малочисленные. И это обстоятельство снова и снова подчеркивается каждым шагом вперед, который делает в развитии человечества наша коммунистическая культура не на словах, а на деле борющаяся за истинное равноправие всех народов.

1962 г.

ЖИВЕТ В СВОЕЙ ЛЮБВИ К НАРОДУ И ЗЕМЛЕ...

Прошло четыре года, и я снова в Абхазии, и мне хочется приписать еще несколько страничек к тому, что тогда, четыре года назад, в апреле 1960 года, я писал из далекого Ташкента, узнав там о смерти Дмитрия Иосифовича Гулиа.

Я живу на самом берегу моря, в селе Гульрипш, совсем недалеко от маленькой белой каменной дачи, построенной в последние годы жизни Дмитрия Иосифовича. Он приезжал сюда, когда она строилась, а потом, в разные времена года жил в ней, сидел в погожие дни на той маленькой веранде, мимо которой я хожу по два раза на дню на почту и с почты.

В этом году зима здесь была небывало жестокая, померзли и эвкалипты, и мимозы. Зеленая живая ограда вокруг беленькой дачки поредела, расступилась. Я иду мимо и вижу за деревьями гостеприимное широкое крыльцо и низкую балюстрадку веранды, и мне все так и кажется, что сейчас я увижу там, на знакомом месте, в знакомом деревянном жестком кресле старого человека, сидящего лицом к морю.

Этому повторяющемуся ожиданию нисколько не мешает то, что этого человека нет на свете уже четыре года и я хорошо знаю об этом.

Видимо, просто этого человека очень уж не хватает на этой земле многим людям, в том числе и мне, полюбившему эту землю через этого человека.

Дар привлекать сердца к себе — это еще не самый высокий человеческий дар.

Гораздо выше — дар привлекать сердца людей не к себе, а к тому, что ты любишь, к тому, во имя чего ты живешь.

Дмитрий Иосифович Гулиа в высшей степени обладал этим даром, и сейчас, через несколько лет после его смерти, для меня это еще очевиднее, чем было при его

<http://apsnyteka.org/>

жизни. Идут годы, и законы памяти делают свое дело. Неотвратимо удаляются, стираются черты лица ушедшего, все труднее оживают в ушах неповторимые интонации его голоса, исчезают то те, то другие подробности живого общения с ушедшим: подробности, которые, как тебе еще недавно казалось, никогда не исчезнут.

Все это так. А вместе с тем вдруг оказывается, что любовь, вселенная в твою душу ушедшим человеком, любовь к тому, что он любил сам и ради чего жил, — не ослабевает в тебе с годами. Ибо то, что он любил, — это люди, это земля, это природа, все это живо и бессмертно. И страстная любовь старого человека к тому, окружавшему его миру, любовь, в которую он властно втягивал всех, кто соприкасался с ним, эта любовь жива. И в этой любви жив он сам. Прежде всего жив именно в ней, в этой любви.

Мы часто говорим, что ушедший писатель живет в своих книгах. Это, конечно, верно. Но это далеко не полное выражение всей истины. Ушедший писатель живет в своей любви к народу и земле, и книги его — это, все-таки, лишь часть этой любви, хотя и самая большая по своему значению. Но есть у нее и другие части — цепь человеческих поступков, совершенных в разные годы и постепенно в разные годы и постепенно сложившихся в биографию, проявления характера, постепенно сложившиеся в неповторимый облик. Наконец, другие люди, в которых он своими книгами, словами, поступками вложил в течение долгой жизни что-то свое, оставшееся в них и после его смерти — это люди тоже как бы часть ушедшего от нас человека — он живет и в них тоже.

Мне иногда вдруг кажется, что я вижу Дмитрия Иосифовича Гулиа не только, когда я иду мимо этого беленького домика, на веранде которого он сидел, глядя на море. Мне иногда кажется, что я вижу его, когда я говорю с его земляками — с учителями, колхозниками, писателями. Он жил и умер, как неотъемлемая частица своего народа. И в то же время в духовном облике многих людей его народа встречаешься с чем-то таким, что кажется тебе частицей этого ушедшего человека, частицей его взглядов, принципов, характера.

Очевидно, такое ощущение может возникнуть лишь тогда, когда человек не только жил среди народа и с народом, но и на протяжении своей большой и долгой жизни оказывал влияние на духовную жизнь народа, силою своего духа участвовал во всех переменах, совершившихся в этой жизни.

Год назад мне довелось присутствовать в Сухуми на открытии памятника Дмитрию Иосифовичу Гулиа, поставленного над его могилой в самом центре Сухуми. Это хороший памятник, стоящий на хорошем, людном месте — на перекрестке, среди зелени, а главное, среди вечно идущих мимо него людей. Я смотрю на этот памятник и радуюсь тому, что он поставлен здесь. Радуюсь сходству вырубленных в граните добрых и вместе с тем строгих черт с теми живыми

чертами человеческого лица, которые я так хорошо знал.

И в то же самое время радуюсь, что этот памятник поставлен, и я с гордостью думаю, что Дмитрий Иосифович Гулиа был одним из тех людей, сила памяти о которых в наименьшей степени зависит от поставленных им памятников.

Если человеку при жизни придавали большее значение, чем он заслуживал своими делами, — ни гранит, ни бронза не в состоянии надолго преувеличить его заслуги в глазах людей. В таких случаях они только мнимые памятники. Мнимые и недолговечные, несмотря на всю крепость камня и металла.

Но если дела человеческие не умирают и не собираются умирать, тогда посмертный памятник ему служит для нас еще одним, хотя и далеко не главным, напоминанием о его живых делах.

С этим чувством я стоял в многотысячной толпе в день открытия памятника Дмитрию Гулиа. С этим чувством стоял около него и сегодня: хорошо, когда человек намного больше своего памятника!

1964 г., Гульрипш.

О ПОЭЗИИ БАГРАТА ШИНКУБЫ

Думается, я не преувеличу, сказав, что нет у нас в стране абхазца, который не знал бы стихов автора этой книги; не понимал бы их и не приводил при случае, — в беседе или во время застолья, — вошедшие в житейский обиход строки.

Уже два или три поколения абхазцев впервые встречаются со стихами Баграта Шинкубы еще на ученической скамье, в начальных классах школы на уроках родного языка.

Но есть в Абхазии люди, никогда не читавшие стихов Баграта Шинкубы, а только услышавшие и запомнившие их из чужих уст, успев к тому времени перешагнуть на седьмой, восьмой и девятый десяток...

Абхазия страна долгожителей и одновременно страна поэтов. Стихи и песни сопутствуют здесь человеку всю его жизнь. И столетние абхазские крестьяне, встретившие революцию уже немолодыми людьми, опоздав обучиться грамоте, тем не менее держат в памяти и стихи своего ровесника, основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулиа, и стихи таких молодых, по сравнению с ним, еще даже не шестидесятилетних людей, как Баграт Шинкуба, и стихи совсем молодых людей, годящихся им во внуки, в правнуки, продолжающих сегодня создавать поэзию на своем родном языке.

Со слуха запомнив, а потом отобрав то, что им понравилось, старики как бы составляют в памяти свои собственные, изустные антологии абхазской поэзии, выражая при этом ту устойчивую определенность вкусов, которая связана с традициями земли и народа, с традициями обычаев и нравственных устоев. Поэтическому вкусу стариков, в котором проявляется существенная сторона души народной, чужда поэзия невнятная и неопределенная, поэзия получувств и полустрастей. Они любят стихи, где любовь — это любовь, где ненависть — это ненависть, где если уж горе, то такое, от которого чернеют. А если уж шутка, то такая, чтоб обжигала, как аджика, как та абхазская соль пополам с толченым красным перцем и пряными травами, без которой в Абхазии не садятся за стол и не едят ничего — ни мяса, ни сыра, ни хлеба.

Так вот, поэзию Баграта Шинкубы — за то, что в ней любовь — это любовь, ненависть — ненависть, горе — горе, а шутка — шутка, — любят в Абхазии и маленькие, образованные школьники, частенько к пятому классу, кроме своего родного языка, знающие еще и русский или грузинский или оба сразу, и необразованные, в школьном смысле этого слова, но умудренные долгою школою жизни, древние, по нашим понятиям, и не такие уж древние, по абхазским понятиям, старики.

Я, говоря о поэзии, завел речь о стариках не только потому, что абхазское

долголетие связано с воздухом гор и образом жизни людей, но еще и потому, что в стране долгожителей — одна из самых молодых литератур. В этой стране столетние старики старше первого букваря, а восьмидесятилетние старше первых строчек стихов Дмитрия Гулиа, впервые оттиснутых в типографиях.

Есть тут какой-то удивительно важный секрет, в этом сочетании прочности традиций, уважения к возрасту и молодости литературы. Живая, богатая талантами, не чуждающаяся ни новых литературных форм, ни новых языковых понятий, ни новых житейских проблем — она в то же время то видимыми, то невидимыми нитями накрепко связана со старой и неменяющейся песней, многоголосой, возникающей в горах, за трапезой, за крестьянским столом; с песней или, точнее, с песнями, которые знают и поют все.

И многоголосье это не только многоголосье разных тембров, это многоголосье разных поколений, — молодых и старых голосов, незримо связанных не только общей песнею, но и стоящим за нею общим чувством родины.

Я забыл начать с того, с чего, наверное, следовало начать, что Баграт Шинкуба уже давно, целое десятилетие, носит высокое звание народного поэта Абхазии. Но ведь самая главная высота этого звания как раз и состоит в том, что стихи поэта знают и дети и старики. А в данном случае — так оно и есть. И я уже сказал об этом.

Эта книга вобрала в себя стихи Баграта Шинкубы из многих его книг, выходивших в разные годы на абхазском языке. Самые ранние из стихов, включенные в «Избранное», датированы 1933 годом, а самые поздние — семидесятыми годами. Между тем и другим лежит сорок лет и жизнь!

Двадцать пять лет из этих сорока я, почти ежегодно, по несколько месяцев живу и работаю в Абхазии и с достаточной долей уверенности могу сказать, что имею представление о путях развития абхазской литературы за эти годы. И о рождении в ней все новых и новых талантов, и о том, все возраставшем на протяжении этих лет, значении, которое имеет эта литература в жизни абхазского народа, и о том, все более широком, выходе ее на суд всесоюзного читателя, в переводах на русский, грузинский, преимущественно на эти два, но не только на них, а и на другие языки нашей страны.

Автор этой книги принадлежит к числу тех моих товарищей по профессии — абхазских литераторов, которых я знаю на протяжении четверти века. Срок достаточно долгий для того, чтобы составить вполне определенное мнение не только о стихах поэта, но и о его личности. Тем более что в конце-то концов у всякого серьезного поэта лучшие из его стихов как раз и есть сгущенное до предела, выражение того самого главного, что составляет его человеческую сущность.

Баграт Шинкуба поэт серьезный, глубоко думающий в своих стихах и поэмах о днях нынешних и днях минувших; об исторических переменах в судьбе своего малого числом, но сильного духом народа, который всегда был удивительно самобытно талантлив, но с особой нравственной силой доказал это после того, как Великая Октябрьская революция открыла ему пути к русской, грузинской и мировой литературе. Пути, пять с лишним десятилетий тому назад начинавшиеся с азов, с букварей, с первых тоненьких книжек на родном языке.

Баграт Шинкуба по возрасту ровесник Октября. В моей памяти стоит военное время, когда, провожая в последний путь ровесников Октября, мы прощались с совсем еще молодыми людьми, едва успевшими написать свои первые стихи,

только начинавшими жить и любить...

Сейчас слова «ровесник Октября» мы относим к людям, которым под шестьдесят. За их плечами большая, многотрудная жизнь. Целая эпоха, и какая эпоха! Однако мне хотелось бы добавить, что когда мы говорим о ровеснике Октября, о поэте такого народа как абхазский, народа, у которого именно после Октября возникла собственная литература, собственный театр, собственное изобразительное искусство, собственная историческая наука, — то тут время как бы дополнительно спрессовывается. И у абхазца, которому еще нет шестидесяти, иногда, наверное, возникает чувство, что он вместе со своим народом прожил не несколько десятилетий, а несколько веков. Никогда еще, в досоциалистическое время, ни с каким народом не происходили столь стремительные перемены в его культурном развитии.

Мне думается, что этого нельзя выпускать из виду, когда мы читаем книги таких поэтов, как Баграт Шинкуба. В этих книгах отражена и вся стремительность перемен, и вся вера в будущее, и вся сила воспоминаний о прошлом, таком недавнем, словно оно неотрывно стоит за плечами.

Да так оно и есть! Потому что путь от босоногого мальчика из горной абхазской полуграмотной деревни до поэта, написавшего первый в своей литературе роман в стихах, до одного из образованнейших людей своего народа, историка и филолога — это не чей-то умозрительно сконструированный путь, а свой, собственный. И вся стремительность перемен, происходивших в народной жизни, — это часть собственной биографии.

Народная опаска, как бы при этом стремительном движении не растерять того, что действительно было дорого в прошлом и осталось дорогим и сейчас, тех обычаев и нравственных правил, которые и в новое время не должны опасть, как старая кора, — это опаска трезвая, предусмотрительность не излишняя.

Стремление сохранить и пронести неповрежденными в новое время все лучшее и благороднейшее в старых народных традициях, все драгоценное в уроках народной истории, свойственно поэтам, и вообще художникам в широком смысле этого слова. И особенно сыновьям тех народов, чье движение из узких национальных, патриархальных рамок к широким горизонтам мировой культуры было столь стремительным — как это произошло в Абхазии.

Черта, о которой я сказал — память к историческим и нравственным традициям народа, стремление двигаться вперед, ничего не растеряв из того, что действительно дорого, в высшей степени присуща стихам Баграта Шинкубы. Он не раз возвращался к этой теме в своих стихах, но, пожалуй, короче и точнее всего высказался в маленьком восьмистрочии, написанном в 1965 году.

Горит очаг, и пламя вьется,
Подбросить дров — не проворонь!
Из рода в род передается
Неугасающий огонь.

Хочу, чтоб все беречь умели
Огонь, пришедший из веков,
Чей отсвет лег на колыбели
И на седины стариков.

За стихами всякого подлинного поэта обычно с достаточной явственностью встает его жизнь. Иногда встает почти как биография со всеми ее подробностями, а иногда только как некий конспект этой биографии, как суть.

За стихами Баграта Шинкубы читается жизнь, прожитая и в неразрывной связи со своим родным народом, в гуще его кровных интересов, его страстей и дум, — и в трудные годы духовных испытаний, и в радостные годы духовных завоеваний. Хотелось бы заметить, сличая даты написания многих стихов Баграта Шинкубы и даты переводов и появления их на русском языке, что частенько одно от другого отделяют довольно долгие сроки. И дело тут не в том, что нерасторопны переводчики или издательства, — хотя чего не бывает, бывает и так! Однако мне думается, что в принципе не следует спешить с переводами стихов — русского ли поэта, абхазского ли или какого-нибудь иного — на другие языки. И во всяком случае, не переводить их раньше, чем они станут устойчивым фактом родной поэзии для широкого круга читателей, читающих эти стихи на своем первоначальном, если можно так выразиться, языке.

Конечно, нет правил без исключений, но, в принципе, думается, что лишь войдя в обиход читателя своей родной литературы стихи, в естественной последовательности, могут начинать жить второй жизнью, будучи переведены другими поэтами на другие языки.

В сущности, если задуматься, любая наша книга стихов, переводимая на другой язык, и может и должна быть книгой «Избранного». А для того, чтобы избрать то, что хоть немного отстоялось во времени и в сознании читателя, нужно как раз время! Не всегда слишком долгое, но все-таки время.

Повторяю, могут быть и бывают исключения. И все же нельзя забывать об этом правиле, справедливость которого обращена лицом к читателю поэзии и имеет в виду прежде всего его интересы.

Баграт Шинкуба принадлежит к тому уважаемому мною большинству поэтов, которые не склонны проявлять в этом смысле не украшающую истинной поэзии торопливость. Для него прочное проникновение того или другого его стихотворения в поэтический обиход читателя, читающего их на родном языке, предшествует последующей мысли о том, что, быть может, эти стихи окажутся фактом поэзии и на другом языке, в переводе с абхазского.

Несколько лет назад Шинкуба написал стихотворение, которое называется «Перед памятником Д. Гулиа». В этом стихотворении поэт представляет себе своего старшего собрата не памятником, а вдруг вновь оказавшимся на земле живым человеком.

Зачем ты вернулся к нам на землю? Чего ты захотел? — спрашивает поэт.

И, отвергая все другие предположения о том, зачем он вернулся на землю, Дмитрий Гулиа говорит о самом главном, ради чего он жил на свете:

— Нет, — ответил седой поэт, —
Захотелось увидеть свет.
Ради высшего чуда на свете.
Тише! Слышите, невдалеке
На родном своем языке
Книгу читают дети!..

Я не мог не задуматься над этими словами, вложенными им в уста Дмитрия

<http://apsnyteka.org/>

Гулиа. Ибо эти слова — его собственный символ веры в поэзию.

Баграт Шинкуба не обижен ни переводчиками, ни критикой. Над переводами его стихов на русский и грузинский языки работали прекрасные поэты. Его роман в стихах — «Песня о скале», — сначала переведенный на русский язык, привлек затем внимание украинских кинематографистов и превратился на экране в романтический фильм-поэму. Явление достаточно редкое и знаменательное. Разумеется, для Баграта Шинкубы, как для поэта, важно и радостно появление «Избранного» на русском языке. Но для меня, пишущего предисловие к его «Избранному», очень важно знать об авторе — что его не сделали бы счастливыми никакие переводы на другие языки, если бы раньше, до этого, его стихов не читали дети на своем родном — абхазском.

Все самое существенное, что я мог сказать об этой книге и ее авторе, сказано. Мне остается повторить, что ее переводили многие и разные русские поэты. И раз они — поэты, то естественно, что они, переводя, прибавили к тому видению мира, которое было у автора, свое собственное видение и собственное чувство. Каждый свое — без этого они не были бы поэтами!

1976 г.

Д. ГОЛУБКОВ

ТКВАРЧЕЛИ

Ни пляжи,
Ни многоэтажье
Ошеломляющих ущелий
Так об Абхазии не скажут,
Как город горняков — Ткварчели.

Гнездовье дерзкое людское,
Окутанное тучей дыма,
Парит над морем,
Над скалою,
Вонзаясь в высь неотвратимо.

Отсюда,
С плеч горы матерой,
Луг кажется не больше блюда.
Под землю уходя, шахтеры
Здесь над землею остаются.
И облака плывут, как рыбы,
И дремлет скал косматых стая,
И антрацита блещут глыбы,
Глазам абхазов подражая.

Паря среди вершин орлиных,

Стоит, куря густое зелье,
Всё низкое навек отринув,
Чумазый труженик —Ткварчели.

1962 г.

* * *

Наверно, все деревни в мире
Похожи в дни поры осенней...
Я по дороге к Очамчире
Забрел в абхазское селенье.
Как будто в Подмосковьё нашем
Омет расселся в поле грузно,
Плетень, как лентами, украшен
Ботвою желтой кукурузной;
И тот же запах разнотравья,
И дым листвы горящей вкусен,
И, повелительно картавя,
Надменно выступают гуси;
И перепревшею соломой
Припорошенное остожье —
Все близко мне и все знакомо,
На наше, русское, похоже.
Как будто где-то близ Рязани
Иль на Черниговщине где-то
Старухи с древними глазами
Во вдовье, в черное одеты.
И узкобедрая девчонка,
Осанистая, как царевна,
По-волжски ласково и звонко
Поет о чем-то задушевном.
И только море мне в новинку
Да снеговых хребтов громады,
Да тур, изображенный синькой
На грубых глыбинах ограды.
Да разве что загар смуглее,
Чернее блеск косы девичьей
Да солнце малость горячее —
Пожалуй, вот и все различье.
Здесь крепки каменные стены,
И человеческий век здесь долог,
И урожаю знают цену
В спокойных, мудрых этих селах...
Овины и плетни косые,
И тракторов скороговорка,
И парни, как у нас, в России

Пропахли потом и махоркой.

1963 г.

Н. КРАСНОВ

АБХАЗИЯ

Как зовут — не сказала,
А спросить — позабыл.
Вся пропахшая морем,
Вся в бронзе загара.
Постояли вдвоем
На мосту, у перил,
Где в разгуле весеннем
Гремит Жоэквара.

Может, Эсма-ханум,
А быть может, Заира,
Шаризан или Дида —
Здесь много прекрасных имен.
Может,
Самая лучшая девушка мира.
Цветом
Белым и розовым
След заметен.

Я отправился в поиск.
Цветочные сыпались бури.
Здесь, куда ни пойдешь, —
Все сады, все сады и сады.
От горы Леселидзе и дальше
До самой Ингури,
От Колхиды до Рицы,
До синих долин Теберды.
И везде, где искал я

Тебя, кареглазая,
В городах и долинах,
На шумных морских берегах,
Выходила навстречу мне
Майская ваша Абхазия,
«Здравствуй, друг!» —
Говорили мне люди в горах.
Как свидетель всему,
Был Кавказ над моею дорогой.

Может, ты зажигала огни,
Когда было темно.
По колхозам меня
Хванчкарой угощали из рога —
Может, руки твои
Приготовили это вино.

На плантациях чая,
В садах,
На покосах
Я твой голос ловил
Среди всех голосов.
Где играют дельфины
И кричат альбатросы,
Ты пригрезилась мне
У рыбацких костров.

Так во всем
Я тебя узнавал неизменно,
Твой узор угадал
В золотистом гербе.
Седовласый и мудрый
Поэт из Сакена
Сердцем юноши
Песни слагал о тебе.

Был ли счастлив я?
Был!
И от самого сердца спасибо
Всем дорогам,
И Черному морю,
И звездам во мгле,
И седому Кодору,
И сестре его — радостной Бзыби,
За привет и за ласку
Спасибо абхазской земле!

Где бы ни был,
Я помню о празднично-яркой,
Весенней,
О счастливой стране твоей
В горном прекрасном краю,
Где от города к городу
И от селенья к селенью
Я пронес
Свое лучшее слово —
Люблю!

1964 г.

Е. ЕВТУШЕНКО

МОРЕ

"Москва — Сухуми"
мчался через горы.
Уже о море
были разговоры.
Уже в купе соседнем практиканты
оставили
и шахматы
и карты.

Курортники толпились в коридоре,
смотрели в окна:
"Вскоре будет море!"
Одни,
схватив товарищей за плечи,
свои припоминали
с морем встречи.
А для меня
в музеях и квартирах
оно висело в рамках под стеклом.
Его я видел только на картинах
и только лишь по книгам знал о нем.

И вновь соседей трогал я рукою,
и был в своих вопросах
я упрям:
"Скажите, - скоро?..
А оно — какое?"
"Да погоди,
сейчас увидишь сам..."
И вот — рывок,
и поезд — на просторе,
и сразу в мире нету ничего:
исчезло все вокруг -
и только море,
затихло все,
и только шум его...
Вдруг вспомнил я:
со мною так же было.
Да, это же вот чувство,
но сильнее,

когда любовь уже звала,
знобила,
а я по книгам только знал о ней.

Любовь за невниманье упрекая,
я приставал с расспросами к друзьям:
"Скажите, — скоро?...
А она — какая?"
"Да погоди,
еще узнаешь сам..."

И так же, как сейчас,
в минуты эти,
когда от моря стало так сине,
исчезло все -
и лишь она на свете,
затихло все -
и лишь слова ее...

1952 г.

ПОД КОЖЕЙ СТАТУИ СВОБОДЫ

(Отрывок из поэмы)

Абхазский крестьянин Пилия был примерно ровесником оберштурмбанфюрера СС Рауфа, но между ними была существенная разница: Рауф всю жизнь давил людей, а Пилия — виноград.

— Виноград не любит, когда его давят прессом, — говорил Пилия, рассматривая на свет граненый стакан с самым лучшим вином мира — настоящей деревенской «изабеллой», дымчато-розовой, как закат при хорошей погоде. — Виноград любит босые ступни. Они не перетирают косточек, и поэтому вино такое мягкое. За нежность виноград платит нежностью. Иаажып!..*

Со мной был кубинский поэт Эберто Падилья.

Эберто первый раз попал в абхазский дом, и для него все было внове: и копченые турьи ребра, которые надо было обмакивать в жгучий коричневый ткемали с плававшей в нем крошеной зеленью, и шлепнутая прямо на дощатый стол дымящаяся мамалыга с кусками сулугуни, уже начавшего плакать в ней чистыми детскими слезами, и скользившие за нашими спинами безмолвные, как тени, женщины в черном, и гортанные песни мужчин, и особенно мудрость тамады — старика Пилия.

— А что, если я у него спрошу кое-что? — наклонился ко мне Эберто. — Это не будет бестактно?

— Давай, — улыбнулся я.

Я хорошо знал абхазских крестьян и потому не сомневался в старике Пилии.

Эберто поправил очки и сказал:

— Я хочу спросить у вас о самом главном, что меня мучает: существует ли полная

<http://apsnyteka.org/>

справедливость, и если существует, то как за нее бороться?

Старик Пилия ответил так:

— Хорошо, если это тебя мучает, гость с далекого острова, где, как я слышал хотят бороться за справедливость. Конечно, даже горы молоды для того, чтобы ответить на этот вопрос, а я моложе гор. Но все-таки скажу то, что думаю. Единственная справедливость, которая существует, — это борьба за справедливость.

Ты спрашиваешь, как за нее надо бороться, гость с далекого острова?

За справедливость не всегда надо бороться со слишком открытой грудью — потому что тогда сделают хуже и тебе, и справедливости. За справедливость надо бороться с умом, но не слишком хитро, потому что тогда твоя борьба за справедливость может превратиться только в борьбу за твое собственное существование.

Так сказал Пилия, абхазский виноградарь.

— Ты хочешь записать это? — спросил я у Эберто.

— Зачем? — ответил он. — Я и так запомню это на всю жизнь.

И я запомнил это тоже, и тоже навсегда.

1970 г.

С. ВАСИЛЬЕВ

ЧЕРТЫ ОТКРЫТОГО ЛИЦА

Памяти Д. И. Гулиа

Воспоминания мои
идут не далее семьи,
где гостем я сидел, бывало.
Конечно, это очень мало...

И промельк робкого резца
прибавит что-нибудь едва ли
к чертам открытого лица,
каким его друзья знавали.

И все же я хочу сказать,
что встречи с ним похожи были
на сущей сказки благодать
со всеми признаками были.

Он так лелеял и любил
Свою Абхазию родную,
как будто впрок отцом ей был
и не искал судьбу иную.

И эта жгучая любовь
огнем душевного накала
не только свой родимый кров,
а весь Кавказ обогревала.

И словно радуга-дуга
одним своим концом крылатым
бросала луч издалека
в мои российские пенаты.

Он зорек был, ширококрыл,
в нем ликовала дружбы сила,
дух бескорыстия царил
и зорька мудрости светила.

1965 г.

ЕВГ. ДОЛМАТОВСКИЙ

ПОСЛЕДНИЕ СТИХИ ДМИТРИЯ ГУЛИА

В юности в литературном институте был у меня друг, молодой абхазский поэт Леварса Квициния. В начале тридцатых годов поэт из Абхазии был словно пришельцем с иной планеты. Напомню обстановку: грузинская поэзия еще не открыта Пастернаком... Страна еще не слышала о Джамбуле... Работа над антологией азербайджанской поэзии будет завершена Луговским лет через пять... По-настоящему из литератур Кавказа и Закавказья в России была известна — благодаря Брюсову — лишь армянская.

Мы, молодые поэты, с удивлением и восторгом раскрывали и осваивали все новые области и края на карте поэзии нашей молодой громадной страны. Леварса Квициния по-новому открыл нам Абхазию. Сухум (тогда еще не Сухуми) возник уже не как курортное местечко где-то недалеко от Гагры, а как очаг самостоятельной и очень увлекательной культуры. Рассказы Леварсы начинались и кончались упоминанием о Дмитрие Гулиа. Молодой абхазец так много рассказывал о главном писателе Абхазии, основоположнике абхазской литературы, что мне стало казаться, что я давно знаком с создателем абхазской письменности, мастером всех жанров, храбрым и добрым человеком — Дмитрием Гулиа.

Леварса Квициния погиб на фронте. Имя его теперь начертано золотом на мраморе при входе в здание литературного института. А с Дмитрием Гулиа я познакомился много позже, в послевоенные времена. В Сухуме состоялось писательское совещание. Союз писателей СССР послал свою делегацию в составе Галины Николаевой, Наири Зарьяна и меня. Товарищей по той поездке нет уже в живых, эта очень затрудняет мой рассказ — я как бы должен не только от своего, но и от их имени говорить.

Мы познакомились с Иваном Тарбой, Багратам Шинкуба, семьей писателей Ивана

Папаскири, совсем молодыми Ломиа и Ласуриа. Надо заметить, что между писателями разных республик и языков у нас в стране быстро и как-то сами собой возникают близкие, добрые и откровенные отношения. Это чисто советская черта, что называется — черта нового. Полагаю, что основа этих отношений — единство главных взглядов и устремлений, освобожденное от мелкого и несущественного, что может возникнуть в одной литературной среде «своей» организации.

Так оно получилось и в тот раз в Абхазии.

Дмитрий Гулиа не смог явиться в дом партпроса, где проходило совещание. Он пригласил московскую делегацию к себе. Жил он тогда на главной улице, самой шумной в тихом Сухуми.

Мы полагали, что увидим дряхлого старика, но к радости своей, ошиблись. Был Гулиа подвижен, быстр с острым взглядом из-под седых бровей. Абхазские писатели называли его патриархом, но никакой торжественности и благостности в нем мы не заметили. Заметили мы, правда, что мастер сосредоточен и печален. Мы потом узнали, что для Дмитрия Гулиа те дни были и верно не из веселых. Напомню, что в первые послевоенные годы далеко не все понимали, что значит Гулиа для советской литературы вообще, для абхазской — в частности. Дмитрий Гулиа принимал нас в тяжелую для себя пору, но словно нас оберегал — каждым своим словом и жестом — от какой-нибудь обиды или несправедливости.

Узнав, что Галина Николаева — медик, старый Гулиа стал рассказывать о народной медицине, о травах этих мест и о целебных водах. Мы узнали от него тогда об источниках Ауадхары, расположенных за озером Рица, в горах.

Ауадхарская вода стала известна много позже. У поэта и мастера был свой разговор для каждого гостя, однако небезынтересный для других гостей. С Наири Зарьяном он говорил о репатриации армян, тогда только начинавшейся.

Вспомнил, что у абхазов сходная судьба — бури эпох выплеснули за грань родины большую часть народа.

Со мной Дмитрий Иосифович говорил о Леварсе Квицинии, моем институтском товарище, наизусть читал его строфы.

Мы пришли в эту семью в полдень, к обеду, засиделись до глубокой ночи, а потом хозяин предложил соорудить «новый стол». Многоопытный Наири Зарьян подмигнул мне — будем благодарить и отказываться, но хозяин перехитрил его: «Если Наири не хочет новый стол, оставим все как есть, вы пойдете в гостиницу, немного отдохнете, а утром мы продолжим»...

Пришлось так и поступить.

Более чем через десять лет я побывал у Дмитрия Гулиа — во второй, да и в последний раз. Мастер жил уже не в городе, в поселке на берегу моря, в небольшом, но крепко сложенном и, как мне казалось, удобном доме. Дом только что был закончен постройкой, как выражаются строители, территория еще не была спланирована.

Жертвой этой новостройки стал я. Дело было осенью, темнело рано, в сумерках я рухнул возле самого дома в глубокую яму, выкопанную, наверное, для посадки дерева. Нет, скорее, это был фрагмент будущего погребя. После дождика стены ямы оказались скользкими, я барахтался и не мог выбраться, вынужден был испустить какой-то жалкий крик, вызвавший из дома дочь поэта. Меня выволокли, и я явился, перед орлиные очи патриарха абхазской литературы вымазанным глиной и, наверное, достаточно смешной.

Но Дмитрий Гулиа очень близко к сердцу принял эту историю, над которой достаточно было бы посмеяться. Еще бы, шедший к нему гость попал в яму на пороге дома. Сколько было извинений, сетований, ахов и охов!

Меня чистили и отмывали, так что беседа наша началась совсем поздно.

Бушевало море, удары волн доносились в белую комнату на даче Гулиа. Мастер казался очень старым — да он и был таким, встреча наша вторая и последняя, состоялась в 1959 году. Его сын Георгий предупредил меня, что отец очень слаб, долгие гости утомляют его.

Но патриарх абхазской литературы не давал гостям уйти, хотя почти и не участвовал в беседе. Он только бросал суровый взгляд на сына, когда тот вежливыми намеками пытался выпроводить гостей.

Было уже совсем поздно, когда Дмитрий Гулиа тихим и глухим голосом, словно выходящим из горного ущелья, сказал:

— Я дал вам выговориться, теперь дайте мне прочитать вам стихи.

Это был миг чудесного превращения: белые-белые волосы, пергаментные руки, плед на коленях — все исчезло — орлиным клёкотом звучали слова. Я почувствовал — словно нахожусь под током. Тут же Георгий стал набрасывать подстрочник, мы записали транскрипцию, и в ту же ночь я перевел это стихотворение. Вот оно:

Пускай все люди говорят — ты стар,
Колени слабые, и сгорбленным ты стал,
Ну, а в глаза те люди заглянули
И убедились, как зрачки сверкнули,
Когда смотрел ты на вершины скал?
Все говорят, дружище, про года.
А сердце слышали они твое?
Нет или да?
Конечно, нет!
Горит огонь нетленный,
Ты проникаешь мыслью дерзновенной,
Как острою ракетой, — вглубь вселенной,
Где и твоя звезда горит, твоя звезда!
Пусть люди говорят,
Что стар ты стал,
Но с юных лет ум свой, как кинжал,
Оттачивал.
И потому он прочен,
Не знает устали ни днем, ни ночью, —
Доныне молод, закален, отточен
Упрямый, нержавеющей металл.
Дружище, ты не стар,
Совсем не стар!
Лишь только не давай, чтоб сердца жар
Угас,
Ни мысли не давай покою,
Ни сердцу, ни себе.
Тревогою такую

Ты сохранишь весны бесценный дар.
Дружище, ты не стар, совсем не стар!

На следующий день я принес Дмитрию Гулиа перевод. Чтобы проверить его звучание, мы читали в унисон — он по-абхазски, я — по-русски.
Это было последнее стихотворение, написанное Дмитрием Гулиа.
Молодые, завидуйте!

1963 г.

Н. ГРИБАЧЕВ

ТКВАРЧЕЛИ

Дорога подвесная
Уходит в облака.
Иных забот не зная,
Беснуется река.

Да, как с аэродрома,
Взлетает со скалы,
Под тучами бездомно
Качаются орлы.

Да, через чащу леса
Шагаю напрямик,
Медведь без интереса
Глядит на грузовик.

А мы летим все выше,
Туда, к снегам вершин,
Асфальт натерт и вышит
Сплошным узором шин.

Тесней края ущелий,
Заливистый гудок,
И вот уже Ткварчели,
Шахтерский городок!

Дома рядком, как соты,
Постройки рудника
В заоблачных высотах,
У шапки ледника.

Он встал на перевалы,
Чтоб кончить давний спор,

Сдвигайтесь с места, скалы!
Откройте, недра гор!..

И смолкли водопады,
И дальний гул затих,
И облачное стадо
Прошло у ног моих.

И солнце с углем рядом
Вниз, где сады и зной,
Съезжало по канатам
Дороги подвесной.

1965 г.

И. БАУКОВ

РИЦА

Красив Кавказ!
Прекрасна Рица
Своей лучистой синевой.
Она еще не раз приснится
Мне в тихом доме под Москвой.

Седые каменные горы
Тебя веками берегли,
Чтобы сюда людские взоры
Никак прокинуть не могли.

У них, у каменных, нет сердца —
Нависли над тобой грядой,
Чтобы самим в тебя глядеться,
Чтоб скрасить древний возраст свой.

А может быть, все было проще,
Как утверждают старики,
Одна из гор свалилась ночью
В протоку маленькой реки,

Что олененком тонконогим
Бежала к морю, на простор,
Вся юная, вся недотрога,
Смеясь, петляла между гор,

Дразнила песнями мальчишек,

Лилась в кувшины с высоты,
Сбивала с пихт зеленых шишки,
Поила горные цветы.

И, наконец, угомонилась,
обиду в сердце затаив,—
И неба синь переселилась
В лучистые глаза твои.

И ты лежишь в ущелье тесном
С тяжелой думою на дне
И, как украденная песня,
Волнуешь нынче сердце мне.

1966 г.

А. ДЕМЕНТЬЕВ

АБХАЗИЯ В МОЕМ СЕРДЦЕ...

Абхазия пришла ко мне из чудесных стихов Баграта Шинкуба и Ивана Тарбы. Я помногу раз перечитывал полюбившиеся мне строки, в которых волнение билось, как волны Черного моря о сухумский берег, и где мысли были так же чисты и возвышенны, как белые вершины абхазских гор. Никогда до этого не видел я моря, никогда не был в Абхазии, но однажды открыв книгу Дмитрия Гулия, открыл невидимую дорогу к самому сердцу абхазского народа и навсегда полюбил его.

А потом, занимаясь в Литературном институте, я подружился с Алексеем Ласуриа и Кумфом Ломиа, и Абхазия стала мне еще ближе. Слушая удивительные по силе чувств стихи моих новых друзей, я думал о том, что Абхазия — это страна открытых и добрых людей, талантливых и скромных тружеников, неутомимых и жадных до работы. Так говорили стихи. И это же подтвердила вся недолгая, но яркая жизнь большого абхазского писателя Алексея Ласуриа.

Но прошло немало лет, прежде чем мне посчастливилось побывать в Абхазии. Все было так, как я и представлял себе: много солнца, синевы, света и неповторимой красоты. Красота всюду — от изумрудного прибоя до белоснежных гор, от гладкой линии шоссейной дороги до ровных чайных кустов. И самое удивительное, что ко всему этому невозможно привыкнуть, сколько бы ты ни прожил там.

И — да здравствуют люди! И молодые, горячие и ловкие в работе, и умудренные опытом старики, но все одинаково добрые и даже чуть наивные в своей бесхитростности и искренности. В одном селе нас пригласили в гости. Мне сказали, что нашему худощавому, по-молодому стройному хозяину уже изрядно за восемьдесят. Трудно было поверить в это. Говорят, на Кавказе живут подолгу из-за чистого горного воздуха и виноградного вина. Но глядя на то, как работал этот восьмидесятилетний человек в поле и в саду, я еще раз убедился, что только радостный и свободный труд добавляет людям годы. От него — и богатство в

доме, и уверенность, и здоровье... И, конечно, хорошее настроение, когда забывается даже возраст.

Писать об Абхазии радостно и трудно. Радостно потому, что это — страна твоего сердца. Трудно потому, что о сложном и неповторимом не скажешь сразу. Иногда для этого не хватает целой жизни...

1967 г.

Л. ТАТЬЯНИЧЕВА

МЫС ПИЦУНДА

Обжигая ноги босы
Жаром солнечной земли,
Непокорливые сосны
Сами к морю подошли.
Бурь морских
Не убоялись.
Что им пенная гряда!
Пошептались и остались
С синим морем навсегда.
Не приученная с детства
К дикой, взбалмошной волне,
В это гордое соседство
Я поверила вполне.
Не из сказок,
А из былей
Знаю я, что неспроста
Красота стремится
К силе,
Силу манит
Красота.

1970 г.

А. КУДРЕЙКО

СУХУМСКИЙ СНЕГ

Назло календарю здесь лето пировало:
Над фиолетом моря алело пламя канн!
Подсматривала осень из-за хребтов устало,
но вихрь над побережьем свой не взвивал аркан.

И длилось, длилось, длилось блаженное безделье
и с позднею любовью обманывало нас.
Кружилась метель над подмосковной елью,
здесь солнце и луна с пальм не сводили глаз.

И верная дрожь, и смутный шорох сада
в Сухуми шли за нами как будто по пятам,
казалось, ничего на свете и не надо!
Последнее тепло торжествовало там.

Но с каждым днем все ниже стекали с гор белила,
Но с каждым днем все суше шушукалась листва.
И ночью вдруг всклубилось, вскипело, повалило
на юге вьюга взбила подушки рождества.

И ношу еле держат магнолии сегодня,
и пальм мохнато-белых поникли веера,
и катера с утра на пирс не стелят сходни,
покачиваясь сиром, где ждали нас вчера.

Как изморозью — пряди, нас, холодом обдало,
за искрометным летом настала враз зима!
Сидим в сыром приюте, и медного шандала
Колеблет пламя тихо заброшенность сама.

1973 г.

В. БОКОВ

* * *

I

Какое там море?
Какая там нынче погода?
А море уснуло ,
А волны пришли из похода.
А море лишь изредка
Очень печально вздыхает.
Не надо шуметь!
Отойдите!
Оно отдыхает!

Лежит, как младенец,
Качается в каменной зыбке.
Настолько устало,

что нет даже сил для улыбки.

— Эй, кто там бренчит на гитаре,
Тоску семиструнную нянчит?
Пускай замолчит
И щипковую спутницу спрячет!
Пусть море поспит!
Не будите его пустяками!...
Над Гаграми ночь
В небе звезды плывут косяками.

II

Море это? Или электричка?
Или в стену бьет рогами лось?
Насчитал я ночью ровно триста
звезд, что тихо на небе зажглись.

Южные сверчки купили сверла
И сверлят ночную темноту
Небо Млечный Путь свой распростерло.
Обручем стянуло высоту.

Горы, Гагры спят. И у калитки,
У палатки, где я пил вино,
Шепчутся два старых эвкалипта.
А о чем? Узнать нам не дано.

III

Морюшко камешки
Перемывает,
Занятость прачечной
Перенимает.

— Как ты работаешь?
Сдельно? Аккордно?
— Я не за деньги! —
Ответило гордо, —

Что мне зарплата,
Гроши человечьи?
Ведомость моря
Не месяц, а вечность.

Вечность за деньги
Не продается,
Вечность, она

От природы дается!

IV

— Море! Я не щепка!
Зачем меня кидать? —
А море отвечает:
— А мне и не видать!

В соленом изумруде,
Воды моей морской
Едва заметны люди,
Чуть слышен род людской.

Прошу прощенья, сударь,
Но не могу ласкать, —
Показываю удаль
И свой морской масштаб!

Ударило волною,
Разбилось о цемент,
На плачущую чайку
Сказало: — Сантимент!

Водоворот, буруны
Зеленые бугры,
Немолкнущие руны,
Великий час гульбы.

1975 г.

АБХАЗИЯ

Я знаю, ты добрая очень. Абхазия!
Ты щедро поделишься с нами последним.
Спасибо за то, что ты нам не отказываешь
Ни в море, ни в солнце, ни в отдыхе летнем.

Гляди! Твои гости смеются и радуются,
Отважно в далекую даль заплывают.
Леса твои смело на скалы карабкаются
И землю от зноя собой прикрывают.

А Черное море легко и атласно
Лежит и синее у каждой калитки,
И дышит — и это дыханье прекрасно
Для нас и для дружной семьи эвкалиптов.

В ущельях шумит вековое собрание
Воды, необузданно рвущейся к морю,
А выше, в горах, снеговое сверканье
И Рлица, с восточной своей красотой.

Абхазия! Ты и морская, и горная,
В долинах гудят и работают пчелы.
Ты — мать-героиня, ты — девушка гордая,
И очень люблю я твой профиль точеный!

1975 г.

НОВОАФОНСКАЯ ПЕЩЕРА

Вианору Пачулиа

Великий каменщик — природа
Воздвигла каменный дворец.
Веками горную породу
Тесал талантливый творец.

Все девять чудотворных залов
Задуманы на свой манер,
Судьба в одну их цепь связала,
Создав один сквозной карьер.

Там сталагмитовые свечи
Насквозь, как сердолик, видны.
Друг другу опершись на плечи,
Там дремлют стражи у стены.

В холодном, неподвижном мраке
Немые твари прижились.
Пред мыслью этой стыну в страхе,
Бросаю взгляд то вверх, то вниз.

Под мрачной и холодной крышей,
Под вечно мертвым потолком
Живут ночные птицы-мыши,
Резвясь в полете кувырком.

Меня охватывает ужас,
И вместе с тем знобит восторг.
Я говорю: — Гляди-ка, Муза,
Во тьме поэзия растет!

1975 г.

Р. АРТАМОНОВ

СУХУМИ

Шамилю Акусба

Я помню войну не по книжкам:
Столица, нетопленный класс...
Учился со мною мальчишка,
Однажды выдавший Кавказ.
Он глянет, бывало, с упреком
И спорит, прищурясь хитро,
Что там, на Кавказе далеком,
Есть город, где вечно тепло.
О, как был тот город нам дорог
В холодном военном году...
Я понял теперь, что за город
Имел наш товарищ в виду.
Москва, ты не будешь в обиде —
Навеки в моей ты судьбе, —
Когда я Сухуми увидел,
На миг я забыл о тебе.
Здесь пальмы прямые, как гвозди,
Над нами ночами цветут.
Растут виноградники тут
И звезд несосчитанных грозди
Здесь солнце пылает, а море
Без края лежит и конца,
Но с солнцем и с морем поспорят
Тут души людей и сердца.
Здесь сразу крепчаешь, отведав
Вина виноградную кровь,
Во всем тут обычай дедов
И внуков прекрасная новь.
... Приятелю школьному вторя,
Всем тем, кто не верит, назло
Твержу я: у синего моря
Есть город, где вечно тепло...

1977 г.

В. СОКОЛОВ

ПИЦУНДА

Простая добытая строчка
Упавшая на берегу,
Терзала меня в одиночку:
Ищу, а найти не могу.

Глазастые камни моргали
На вытянутом берегу.
Дельфины уже помогали,
А я все найти не могу.

Искал и искал эту строчку
И в море, и на берегу.
Но время поставило точку.—
Я жить без тебя не могу.

1979 г.

Р. КАЗАКОВА

* * *

Абхазские слова во мне живут —
из звуков, нам о сути слов не лгущих.
В них — шум прибоя, водопадов гуд,
и щебет птиц, и щелканье лягушек,
свист ветра, зов, и звон его, и зык
в горах, где чисто светят снега пятна...
И, как природы радостный язык,
мне все понятно в них, хоть непонятно.
И я, как в дом, в морской простор вхожу,
и в горы поднимаюсь без опаски,
и окликаю все, чем дорожу,
клеочущие и терпко, по-абхазски.

1981 г.

Я. КОЗЛОВСКИЙ

НА ПЛЯЖЕ

Над лежбищем гитаробедрых

<http://apsnyteka.org/>

Купальщиц, сбросивших наряд,
Она несет в железных ведрах
По пляжу черный виноград.
И купленную изабеллой
Блаженно увлажняя рты,
Они готовы век здесь целый
Лежать, не пряча наготы.
А эта стройная абхазка
Вся в черном с головы до пят,
Им не пример, им не указка,
Пусть продает свой виноград.
Не смог ни ангел бы, ни аспид
Заставить зрячею порой
Ее раздеться здесь, где распят
Их на берегу заезжий рой.
Они домой вернутся скоро
И побелеют их тела,
А соплеменница Кодора
Всегда, как золото, смугла.

1981 г.

С. СМЕРНОВ

ЗЕМЛЯ АПСНЫ

Абхазия. Какая это красавица земля! Какая это щедрость тепла и света, цветенья и созреваенья, морского простора и царственного блеска снежных вершин, ясности неба и красоты пейзажей! И всюду присутствие человека, строителя и пахаря, животновода и виноградаря, садовника и табаководы, винодела, пчеловеда, рыбака... Тут солнце не скупится на животворное тепло, море ластится к суше, угловатые подковы гор бдительно охраняют плодородные долины от холодных северных веяний, птицы разнообразным хором голосов славят окрестные места, птицам вторят быстробегущие горные потоки и чистые, как хрусталь, родники. Воистину благодатный край.

Я несколько раз посещал Абхазию. Она всегда представала передо мной в новом облике — всегда прекрасная, гостеприимная и манящая. Спасибо тебе, Абхазия, за то, что ты такая удивительная, примагничивающая сердца и взоры, равная по красе лишь себе самой, не повторяющая обликом никакого другого края и тем самым — самобытная, единственная в своем роде. Ты для гостя находишь место отдыха, не скупясь на дружеское рукопожатие, добрую улыбку. Твое гостеприимство лишено парадности, оно глубинно, высоко и естественно, как дыхание моря и гор.

Что касается лично меня, то я влюбился в землю Апсны с первого взгляда.

Еще в довоенном 1940 году мы, группа студентов-выпускников Литературного института имени А. М. Горького, отправились в многомесячный пеший поход по

<http://apsnyteka.org/>

путям странствий молодого Алексея Пешкова, будущего великого писателя Максима Горького. Нам захотелось узнать свою родину наяву, померить ее просторы своими шагами, а потом написать обо всем увиденном, услышанном и пережитом от первого лица. Путь начался от бывшего Нижнего Новгорода на Волге, нынешнего Горького. Мы прошли Волгу, Дон, Украину, от Одессы до Крыма, из Керчи переправились на кавказский берег, нас бурей унесло до Туапсе, и там было принято решение не возвращаться в Краснодар, куда заходил в своем бродяжем странствии молодой Алексей Пешков, а держать путь-дорогу по берегу Черного моря, на Сухуми и Тбилиси.

Легко одетые, шагали мы по земле и радовались тому, что осень, шагавшая за нами по пятам, отставала от нас и оставалась за Керченским проливом в Крыму. Как очарованные странники, любовались мы окрестными красотами, а они разворачивались одна другой краше, солнце Закавказья добавляло нам загара, море смывало нашу усталость. Краткие привалы в самых живописных местах — и снова в путь, среди садов и виноградников, сквозь непролазные стены лесных просторов с диковинными деревьями, названия которых были нам неведомы. Смотри, любуйся да заноси в походный блокнот путевые впечатления, а там, глядишь, и пригодятся они для твоих будущих стихотворных строк и строф. Каменистый путь всегда приводил нас к гостеприимному ночлегу, и казалось, что нет на нашей прекрасной земле более гостеприимных хозяев, чем абхазцы... Мне особенно памятна встреча с реликтовыми соснами Пицунды. Подумать только — ты делаешь привал под лапчатыми ветвями деревьев, с какой-то необычно крупной и длинной хвоей, а рядом Черное море. Оно шумит, и в тон ему тоже шумит, на свой лад, хвойное море этих загадочных деревьев самых древних на побережье, пришедших в сегодняшний день из доисторических времен. О чем шумят на солнечном осеннем ветру эти сосны? Как понять их таинственный язык?.. Скорее всего, они ведут разговор о вечности — с морем и сушей, с небом и солнцем. Вот она Поэзия наяву, Поэзия в натуральную величину, как тогда высказался я. Реликтовые сосны Пицунды для меня — веха молодости — негасимая веха...

Никогда не забудется та стокрасочная осень и дни нашего визита в Сухуми. Город белого камня и вечной зелени. Слоновьи ноги пальм и крылатые опахала пальмовых крон, торжественность колоннообразных кипарисов, кусты роз, цветы, всюду цветы, еще не опаленные холодом. А может быть здесь вообще не бывает губительных холодов?

А как доброжелательно привечали нас абхазцы. Шутка ли, молодые литераторы вот уже несколько месяцев подряд идут по путям молодого Максима Горького, не просто идут по его следам, а могут быть, и теряют путь-дорогу к началу своей творческой судьбы. Сколько встреч, сколько бесед, сколько записей в походных блокнотах! Спасибо тебе, столица Абхазии, за окрыляющий прием. До свидания, до будущих встреч, мы верим, что они состоятся, иначе и быть не может!..

А мыслимо ли забыть свидание с рекой Кодором? Ведь где-то здесь на берегу этой стремительной горной реки, мчащейся в лоно Черного моря, молодой Алексей Пешков нежданно-негаданно исполнил непредвиденную роль акушера... Где ты, родившийся здесь человек? Ведь тебе теперь, в 1940 году, всего-навсего пятьдесят лет от роду, а твое место рождения — земля Аpsны, берег быстротекущей реки по имени Кодор...

Между моим первым и вторым визитом в Абхазию — огромный перевал —

<http://apsnyteka.org/>

Великая Отечественная война. Погибли все мои довоенные дневники и записи, но есть не подвластная никаким разрушительным силам память. И самое дорогое, самое значительное сохраняется в ней, в нашей памяти. Спустя годы после Великой Отечественной я, в составе делегации московских писателей, приехал в Сухуми на празднование восьмидесятилетия со дня рождения патриарха абхазской и советской поэзии Дмитрия Гулиа. Еще в поезде сочинили мы поздравительное стихотворение — «Что такое 80 лет», расписались под ним, а потом торжественно вручили его юбиляру. Нас поразила Гулиа своей статностью, радушием и в то же время каким-то особенным, орлиным, что ли, горским, достоинством, которое дается огромной жизнью, душевным огнем и конечно же, высокими итогами творческого труда, ставшего достоянием всего советского народа. Мы чествовали юбиляра в самом вместительном общественном зале абхазской столицы, чествовали на дому, кроме того, вся наша делегация присутствовала на официальном приеме и ужине в честь поэта. И мы любовались им, восьмидесятилетним старейшиной нашей поэзии. Все сердца и мысли были обращены к нему. Перед нами был не старец, а именно старейшина. Ему воздавался почет согласно такому высокому званию. Он председательствовал, окруженный поэтами, родичами и самыми почетными земляками. Казалось, что вокруг него собралась единая интернациональная семья. Это был доподлинный праздник Поэзии. Все улыбались друг другу и все вместе адресовали свои улыбки поэтическому патриарху Дмитрию Гулиа. Казалось, что он не подвластен гнету лет и десятилетий, что жить и творить ему до скончания нынешнего века и, на радость людям, перейти в следующий век и здравствовать в нем, как поэт и старейшина поэтов. Всем известно, что Абхазия — земля самых редкостных долгожителей...

И наконец, мое третье свидание с Абхазией. Осень 1979 года. По творческой путевке еду на юг. Еду в Абхазию, а еще точнее — в Пицунду, где ждет меня Черное море и заповедная роща реликтовых сосен на его берегу. Я стремлюсь к этим соснам, словно в рощу собственной молодости, туда — в 1940-й предвоенный год. Поезд всю дорогу мчался сквозь осень и как бы старался убежать от нее, а в Гагру прибыл ранним утром, еще затемно. Расторопный абхазец-таксист усаживает меня в машину и марш вперед, навстречу рассвету. На фоне заревого неба силуэты домов и деревьев. И вдруг впереди стеной — синее-синее море. «Здравствуй, Черное море! — воскликнул я не вслух, а всем своим существом. — Здравствуй, мое и наше, Черное море! Ведь ты же — родина моя! Ведь я же родился на твоём берегу, в благодатном городе Ялте. Ах, жаль, что ты, мое море, такое неохватное, а руки мои так малы, а то выскочил бы я сейчас из машины и по-сыновьи обнял тебя, мое чистое, Черное море!».

Машина с необычайной по московским нормам скоростью примчала меня к широкоплечему дому-дворцу, чье многоэтажное пламенело от раннеутренней зари. Я вошел в здание, и первым, кто встретил меня в вестибюле, был длинноусый и мудроглазый Дмитрий Гулиа. Он смотрел с огромного портрета и всем своим видом выражал памятное мне «Добро пожаловать!»...

Не горы бьют
беспромашными пулями.
Не море светит,
Ширясь и маня.

Нет, —
Патриарх поэтов —
Дмитрий Гулиа,
Как мудрость мира,
Смотрит на меня...

Как беспощадно, как быстро мчится время. Как все меняется. Если в прошлый визит я был гостем у самого поэта, то теперь стал гостем Дома творчества имени Дмитрия Гулиа. Сколько чувств, сколько раздумий нахлынуло сразу...

На высоком этаже, обращенном одновременно к морю и полукружью гор, обрел я в этом именном поэтическом доме просторную комнату и с первого же утра встретил с балкона восход солнца. Оно огненно появилось из-за гор и пошло сиять во всю свою животворную мощь. А вокруг даже осенью, — несметная кипень птичьих голосов, блеск росной зелени, свечение затуманенных озер с движущимися точками водоплавающей дичи, голубизна небес и чуть колеблющаяся синь Черного моря, которое, как мне кажется, ошибочно именуют Черным, — оно заслуживает более красочного, более светлого имени...

«Слушай, море, — обратился я к нему, словно к живому существу, — я приехал сюда не в роли праздношатающегося, не в роли этакого завсегдатая твоих умопомрачительных пляжей и даже не в качестве старательного экскурсанта по достопримечательным местам здешней прекрасной земли. Нет, у меня цель — сидеть и работать, ходить и работать рядом с тобой, дышать твоим врачующим дыханием и опять-таки работать!». И море, как мне почудилось, одобрило, просияло в ответ. «Понимаешь, — откровенно признался я своему морю, как сообщнику, — тебе уже давно известно, что мною написана целая книга стихов — «Таврида — родина моя». Но ты простираешься шире Тавриды и за ее пределами остаешься моим неделимым отчимовым и материнским морем, и теперь здесь, на гостеприимной земле Аpsны, я хочу тебе признаться в любви...

Именно здесь мне пришла задумка написать букет лирических стихов под общим названием «Один на один». Может быть, это будет всего несколько лирических зарисовок, может быть, они составят целую группу вещей, а быть может, сгруппируются в отдельную новую книгу, посвященную тебе, мое дорогое Черноморье. Один на один с морем, один на один с землей Аpsны, обнимающей мое Черное море, один на один с собственными раздумьями о жизни, о возрасте. Нет, над таким замыслом следует поработать...

И я начисто отмежевался от ленивого времяпровождения на пляжном лежбище, от праздного разгуливания по живописным окрестностям, от интересных коллективных экскурсий, старательно запланированных для приезжающих сюда гостей, отказался даже от посещения чуть ли не ежевечерних киносеансов и, видимо, потерял, много ценного из-за такого решения. Но мы остались с морем и землей Аpsны один на один и стали работать, и нам, как мне кажется, радующе работалось. Море с удивительным постоянством перелопачивало необозримые залежи прибрежной гальки, оно грохотало волновыми накатами, а потом умиротворенно нежилось под ясным солнцем, манило вслед за парусами, теплоходами и чайками неведь куда. Оно было заодно с землей Аpsны, с небом и солнцем, с луной и звездами, с мигалкой маяка, с неподвижными огнями побережья и невесомым полетом наших космических звездочек, взмывших в мирную высь с ладони Байконура. Оно, мое Черное море, во всем было в обнимку

<http://apsnyteka.org/>

со мной лично, и я, благодарный гость, работал с веселым упорством и постоянством, над своими лирическими миниатюрами под облюбованным общим названием — «Один на один». Работа спорилась.

А в заключение еще немаловажная деталь. Мне, по состоянию теперешнего здоровья, противопоказаны сладости. Но как удержаться от того, чтобы не отведать полногрудых гроздей местного винограда, полных сока, и аромата даров сада, как пройти мимо целебного абхазского мёда, когда на своем этаже я сквозь могучий гул моря как бы слышал кропотливое гудение каждой пчелы, мыслимо ли отказаться от веселящей хмелинки абхазского вина или от бодрящего настоя здешнего чая. Весь этот букет щедрости Апсны восхищал меня, и я в минуты отдыха отдавал ему разрешаемую возрастом дань. И — опять за работу. Спасибо тебе, Абхазия, за бескорыстное соавторство...

1981 г.

КОММЕНТАРИИ

ЗАЙЦЕВСКИЙ Ефим Петрович (нач. XIX в. — 1860 г.) — поэт-моряк. Участвовал в русско-турецкой войне 1828—1829 гг. (стихотворение «Абазия» было впервые опубликовано в «Полярной звезде» в 1825 г., печатается по сборнику «Русские писатели о Грузии». Издательство «Заря Востока», Тбилиси, 1948, т. 1.

БЕСТУЖЕВ-МАРЛИНСКИЙ Александр Александрович (1797 — 1837) — известный русский писатель, друг А. С. Пушкина, активный член «Северного общества» декабристов. За участие в выступлении 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади был посажен в Петропавловскую крепость, затем сослан в Якутск. В 1829 г. по своей просьбе он был переведен рядовым в действующие полки Отдельного Кавказского корпуса. С 1835 года начинается военная служба А. Бестужева на Черноморском побережье. В разное время жил он в Сухуме, Гагре, Пицунде, бывал в Цебельде, был близок с абхазским ученым-этнографом С. Т. Званба. Письма А. А. Бестужева-Марлинского печатаются по книге Г. А. Дзидзария «Декабристы в Абхазии», «Алашара», 1970.

КАМЕНСКИЙ Павел Павлович (1812—1870) — писатель школы Бестужева-Марлинского. Учился в Петербургском университете, не закончил его, был сослан на Кавказ и служил юнкером. Повести Каменского из жизни народов Кавказа были очень популярны. Лучшие из них: «Искатель сильных ощущений», «Письма Энского», «Конец мира», «Яков Моло». В разборе их Белинский вполне верно указал, что действующие в них лица — призраки, а не живые создания. Повесть П. П. Каменского «Келиш-бей» долгое годы считалась принадлежащей перу А. А. Бестужева-Марлинского. Настоящее авторство было установлено чл.-кор. АН ГССР Г. А. Дзидзария, Впервые повесть была опубликована в «Литературном прибавлении» к «Русскому инвалиду» в январе 1837 года.

НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО Василий Иванович (1844—1936) — русский писатель, старший брат театрального деятеля и писателя Владимира Ивановича

<http://apsnyteka.org/>

Немировича-Данченко. Родился в Тифлисе в семье офицера, детство провел на Кавказе, много ездил по России.

В 1880 году вышел сборник писателя «В гостях», в который вошли очерки «Абхазское поморье», «Пицунда», «На берегу». Впечатления, полученные в Абхазии, нашли отражение в повести «Соколиные гнезда» (1889 г.).

ЧЕХОВ Антон Павлович (1860—1904). На Кавказ приезжал несколько раз. Большое впечатление произвела на него природа этого края. Действия одного крупного произведения писателя происходят в Абхазии («Дуэль»). Письмо А. Чехова неустановленному лицу печатается по тексту из полного собрания сочинений и писем в 30 томах. Письма, том второй. Издательство «Наука», Москва, 1975. В путеводителе по Кавказу И. Г. Москвича (1911 г.) приведена запись Чехова, сделанная в день пребывания в Новом Афоне в книге посетителей монастыря: «Люди, покоряющие Кавказ любовью и просветительным подвигом, достойны большей чести, чем та, которую мы можем воздать им на словах». (Цит. по Полному собранию сочинений и писем А. П. Чехова в 30 томах. Издательство «Наука», Москва, 1975).

МОРДОВЦЕВ Даниил Лукич (1830—1905) — русский и украинский писатель, историк. В 1850—70-е гг. сотрудничал в демократической печати. Он написал немало повестей и романов из истории России XVII—XIX вв. Им написаны ряд произведений из истории народных движений. Роман в 3-х частях «Прометеево потомство. Из истории последних дней независимости Абхазии», отдельным изданием вышел в 1897 г. Санкт-Петербург.

ГАТЦУК В. Биографические данные о нем скудны и разноречивы. «Абраскил» печатается по тексту из журнала «Юная Россия», 1907, № 2.

ТОЛСТОЙ Алексей Николаевич (1882—1945) — русский советский писатель, общественный деятель, автор трилогии «Хождение по мукам» и исторического романа «Петр I».

Весной 1911 года А. Толстой побывал в Абхазии. Его рассказ «Эшер» создан под непосредственным впечатлением от посещения Абхазии. Впервые этот рассказ под названием «Проклятие» был опубликован в Петербургской газете «Речь» 14 мая 1911 г. В данном сборнике текст печатается по изданию: Алексей Толстой. Повести и рассказы в двух, томах. «Художественная литература». М., 1972, том I.

ГОРЬКИЙ Алексей Максимович (1868—1936). Три раза приезжал писатель в Абхазию: 1892, 1903, 1929 гг.

С первым пребыванием в Абхазии связаны два рассказа Горького: «Рождение человека» и «Калинин», которые были написаны в 1912 году и вошли в цикл произведений — «По Руси». В основу рассказов положены эпизоды и впечатления из жизни М. Горького, относящиеся к 1892 г.

Рассказы «Калинин» и «Рождение человека» печатаются по изданию: М. Горький. Собр. соч., том 8. М., 1961.

Письмо к 3. Мориной, начинающему литератору, печатается по книге Х. С. Бгажба «Этюды и исследования», издательство «Алашара». Сухуми, 1974.

ПАУСТОВСКИЙ Константин Георгиевич (1892—1968) — русский советский писатель. Мастер лирической прозы. Впервые в Абхазию К. Паустовский приехал в 1922 году. Здесь он некоторое время жил и работал. Все было необычно для него в этом крае: абхазцы казались загадочными, природа — экзотической. «Почти у всех абхазцев были профили, достойные, чтобы их отлить из бронзы». Корреспонденция «Из горного дома» впервые была опубликована в 1922 г. Печатается по тексту из журнала «Новый мир», 1970, № 4. Очерк «Где нашли золотое руно (Абхазия)» был опубликован в книге «На суше и на море». Впервые был напечатан во втором сборнике путешествий и приключений, вышедший в 1928 г. Печатается по изданию: К. Паустовский. Рассказы. Очерки и публицистика. Статьи и выступления по вопросам литературы и искусства, «Художественная литература». Москва, 1972 г. К. Паустовский, живя в Абхазии, интересовался жизнью людей, историческим прошлым. Все эти наблюдения он использовал в таких произведениях, как «Романтики», «Блισταющие облака», «Бросок на юг». Текст повести «Бросок на юг» печатается по изданию: К. Паустовский. Собрание сочинений в 8 томах. «Художественная литература». М., 1968.

СТРАЖЕВ Виктор Иванович (1879—1950) — поэт-символист.

С 1916 по 1927 г. жил в Абхазии. Занимался научно-педагогической деятельностью. С первых дней установления Советской власти в крае (1921) становится ответственным работником Паркомпроса ССР Абхазии. Большая дружба связывала поэта с С. Чанба, А. Чочуа, Г. Барачем, С. Басария, М. Иващенко. В 1923 году он издал в Сухуме сборник стихов «Горсть», посвященный абхазскому народу, и перевел с абхазского поэму С. Чанба «Дева гор». Интереснейшие открытия Стражевым сделаны в области археологии Абхазии. Им впервые были выявлены дольменные и колхидско-кобанская культура. Стихи поэта печатаются по текстам из сборника «Горсть», Сухум, 1923. Тексты «Московские письма», «Сухумская антология» печатаются по публикациям в газете «Советская Абхазия», 1927, № 181 и 184, впервые обнаруженные и любезно предоставленные нам ученым С. 3. Лакоба.

КАМЕНСКИЙ Василий Васильевич (1884—1961) — русский советский поэт. Начинал как актер у В. Мейерхольда. Был одним из первых русских летчиков. Начал печататься в 1904 году. Вместе с Д. Бурлюком, В. Маяковским, В. Хлебниковым, Е. Туро, А. Крученых возглавил модернистскую группу литературного течения «кубо-футуризм». В. Каменский воспевал вольницу Стеньки Разина, посвятив народному герою крестьянских восстаний роман, поэму, пьесу. Впервые поэт побывал в Абхазии в 1920 году, где принял активное участие совместно с режиссером Е. Евреиновым, художником Шервашидзе-Чачба, актрисой Н. Бутковской и поэтом В. Стражевым в постановке ряда пьес и театральных вечеров. В. Каменский неоднократно приезжал в Абхазию в 20-х годах.

Тесные связи поэт поддерживал с Нестором Лакоба, Самсоном Чанба, Андреем Чочуа. В 1933 году Абхазия, как и вся страна, широко отметила 25-летний юбилей творческой работы поэта. В знак благодарности Каменский отозвался поэмой «Абхазия». Приезжал сюда поэт будучи тяжело больным и в 1946 году. А с 1952 по 1956 гг. он постоянно жил в Сухуме, состоял членом Абхазской писательской

организации.

ПАВЛЕНКО Петр Андреевич (1899—1951) — русский писатель.

В 20-х годах вел партийную работу в Закавказье, работал в редакциях газет «Красный воин», «Заря Востока» (Тифлис). Будучи корреспондентом газеты «Заря Востока» П. Павленко посвятил Абхазии ряд статей. В очерке «Край больших возможностей», опубликованном в этой газете в 1923 г., писатель обнаруживает глубокое знание жизни этого края.

Очерк «Гагры» был опубликован в газете «Заря Востока» в 1924 году. Печатается по тексту из газеты.

ФЕДИН Константин Александрович (1892—1977) — русский советский писатель.

Первая поездка К. Федина в Абхазию состоялась в 1924 г. Впечатления от этой поездки легли в основу двух рассказов «Бочки» (1925) и «Суук-су» (1926).

Второй раз Федин приехал в Абхазию через 11 лет — в 1935 г. За прошедшие годы новое заметно вошло в жизнь абхазских людей. Встреча Федина с абхазским колхозником, человеком новой психологии, получила отражение в рассказе «Член делегации», который впервые был опубликован в журнале «30 дней», № 12, М., 1939.

Позже все три рассказа были объединены в цикл «Абхазские рассказы». Эти рассказы переведены на немецкий, чешский, румынский языки. Письма К. Федина М. Горькому печатаются по изданию: Конст. Федин. Горький среди нас. Советский писатель, М., 1968.

Абхазские рассказы печатаются по изданию: Конст. Федин. Собр. соч. в 9 томах, «Художественная литература». М., 1959, том I.

ШЕРШЕНЕВИЧ Вадим Габриэлевич (1893—1942) — русский советский поэт, переводчик. Играл ведущую роль в футуристической труппе «Мезонин поэзии».

В годы гражданской войны вместе с В. Маяковским писал тексты для «Окон РОСТА». В последние годы жизни В. Шершеневич работал преимущественно для театра, кино, переводил У. Шекспира, П. Корнеля, Б. Брехта.

Впервые он побывал в Абхазии в 1925 году.

22 октября 1925 года в Сухуми состоялась лекция-диспут «Литературное сегодня», с которой выступил В. Шершеневич. В лекции был дан обзор современных течений в литературе, подробно рассказано о творчестве Блока, Брюсова, Маяковского, Асеева, о том, какой должна быть литература будущего. В заключение поэт прочитал свои стихи, среди которых было посвящение Сухуму. Работал в творческом содружестве с абхазским писателем Михаилом Лакербай. В 1935 г. ими написан сценарий звуковой комедии «Птичий джигит», а в 1940-м лирическая оперетта «Дама в зеленом». Стихотворение было напечатано на страницах газеты «Трудовая Абхазия» в 1925 г. и печатается в сборнике по этой публикации.

ШИШКОВ Вячеслав Яковлевич (1873—1945) — русский советский писатель, автор романа «Угрюм-река», исторической эпопеи «Емельян Пугачев», принадлежащей к числу лучших советских исторических романов.

В конце октября 1925 г. В. Я. Шишков прибыл из Феодосии в Сухуми. Отсюда он писал письма А. М. Горькому, К. А. Федину.

<http://apsnyteka.org/>

Во второй раз Шишков приехал в Абхазию осенью 1927 года. Тогда же он побывал в Гагре, Новом Афоне и Сухуме. Большая дружба связывала В. Я. Шишкова с писателем И. А. Новодворским, жившим в Абхазии, переписывался с ним. Приезжал В. Я. Шишков в Абхазию в 1935 г., в 1936 г., работал здесь над первой книгой «Емельян Пугачев». Осенью 1938 г. В. Я. Шишков в последний раз приезжал в Абхазию. Письмо М. Горькому было опубликовано в издании: В. Я. Шишков. Неопубликованные произведения. Воспоминания о В. Я. Шишкове. Письма, Л., 1956. Рассказ «Отец Макарий» опубликован в издании: В. Я. Шишков. Собр. соч. (в 8-ми томах), т. 2. Повести, рассказы, очерки (1918—1938), М., 1961.

ФУРМАНОВ Дмитрий Андреевич (1891 — 1926) — русский советский писатель. Широкий успех и признание к Д. Фурманову приходят с изданием романа «Чапаев» (1923). Последняя его книга, вышедшая посмертно, — «Морские берега» (1926 г.), куда вошли очерки, посвященные Абхазии: «Адлер», «Гагры», «Афон». Эти очерки печатаются по изданию: Д. Фурманов. Собр. соч. в 4-х томах, 1961, т. III.

ПОМОРСКИЙ Александр Николаевич (1891) — псевдоним, настоящая фамилия Линовский — старейший русский советский поэт. Поэзия Поморского — поэзия революционного рабочего. Публиковаться начал с 1908 года. В 1917 г. вышла первая книга его стихов «Песни борьбы», в 1918 г., вторая — «Цветы восстания». После окончания гражданской войны А. Поморский три года работал в Сухуми, в Политпросвете, затем находился на политической работе в Тифлисе, с 30-х годов живет в Москве. В ряде своих произведений А. Поморский запечатлел образ Ленина. В 20—30-е годы поэтом созданы стихи, посвященные преобразованиям, происходящим в Закавказье. Стихотворения «Бзыбь» (1928) и «Праздник урожая» (1934) печатаются по изданию: Александр Поморский. Приказ сердца. «Художественная литература». М., 1973.

НОВОДВОРСКИЙ Иосиф Александрович (1892—1950) — писатель, живший в Абхазии с 1922 года. Стихотворения печатаются по изданию: И. А. Новодворский. Сухум с точки зрения почти лирика. Сухум, 1929.

АСЕЕВ Николай Николаевич (1889—1963) — русский советский поэт. Имя Асеева часто ставят рядом с именем В. Маяковского. В лирике Н. Асеева 30-х годов цикл «Кавказские стихи» один из наиболее поэтичных. Сюда входят стихотворения «Абхазия», которое впервые было опубликовано в газете «Правда» 5 января 1933 г. Печатается по этому тексту. В 1950 г. Н. Асеев вновь побывал на Кавказе, в частности, в Абхазии. В этот период им было написано несколько стихотворений, посвященных Абхазии: «Стихи о Сухуми», «Майский дождь в Сухуми».

ИНГЕ Юрий Алексеевич (1905—1941) — русский советский поэт. Начал печататься в середине 20-х годов. Опубликовал сборники стихов «Эпоха» (1931), «Точка опоры» (1934) и др. В 1934—1935 годах жил в Абхазии, сотрудничал в ттварчельской многотиражке «Сталинская стройка». Погиб в годы Великой Отечественной войны. Стихотворение «Очамчире» печатается по сборнику,

составленному К. Симоновым «Если пелось про это... Грузия в русской советской поэзии», «Мерани», Тбилиси, 1977.

СОФРОНОВ Анатолий Владимирович (1911 г.) — русский советский писатель. С 1953 г. — главный редактор журнала «Огонек». Автор сборников стихов «Солнечные дни», «Стихи и песни», «Я вас люблю» и др. Абхазии посвящены стихи «Над берегом Черного моря», «На озере Рида», «Буйволы». Стихотворения печатаются по изданию: А. Софронов. Собр. соч. в 5 томах, «Художественная литература», М., 1971, т. I.

КИРСАНОВ Семен Исаакович (1906—1972) — русский советский поэт, лауреат Государственной премии. Стихотворение «Растение в полете» печатается по сборнику: «Если пелось про это... Грузия в русской советской поэзии», изд. «Мерани», Тбилиси, 1977.

СОКОЛОВ-МИКИТОВ Иван Сергеевич (1892—1975) — русский советский писатель. В рассказах о деревне (цикл «На речке Невестнице», путевых очерках, книге «Северные рассказы», автобиографической повести «Детство») воспевается поэзия труда.

Особое место и весьма значительное место в творческом наследии писателя занимают охотничьи рассказы, к которым относится небольшой рассказ «Охота на Кавказе», входящий в цикл рассказов «По охотничьим тропам». Рассказ был написан в 1940 году. Текст печатается по изданию: И. Соколов-Микитов. Соч. в 2-х томах, т. 1, «Художественная литература», М., 1959.

УШАКОВ Николай Николаевич (1899—1973) — русский советский поэт. Впервые выступил в печати в 1923 г. Сборники стихов последних лет: «Веснодворец» (1962), «Теодолит» (1967), «Я рифмы не боюсь глагольной» (1970).

Ушаков — замечательный мастер стиха и художественного перевода. Стихотворение «Гагры» печатается по сборнику: Н. Ушаков» Поэмы и стихотворения. Советский писатель, 1980.

ТИХОНОВ Николай Семенович (1896—1979) — русский советский, писатель, общественный деятель, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии. В Абхазию Тихонов впервые приезжает в середине 20-х годов. Об этом он подробно вспоминает в своем очерке «Беседы в стране Души». Стихотворение «Абхазский пейзаж» и «Санчарский перевал», написанные поэтом в 1948 году, печатаются по изданию: Н. Тихонов. Избранные произведения в 2-х томах, т. 1, «Художественная литература», М., 1955. «Сосны Пицунды» опубликовано в альманахе «День поэзии», 1972 г. Печатается по тексту из альманаха. Очерк «Беседы в Стране Души» (страницы воспоминаний) был написан Н. Тихоновым в 1963 г. и опубликован в журнале «Знамя», 1964, № 1.

ЧИВИЛИХИН Анатолий Тимофеевич (1915—1957) — русский советский поэт. Автор сборников «Январь», «Голос на ветру» и др.

СИМОНОВ Константин Михайлович (1915—1979) — русский советский писатель. С Абхазией у Симонова связана творческая работа. Здесь он создавал романы

«Товарищи по оружию», «Живые и мертвые». Сам К. Симонов писал: «Для меня дело не только в том, что мне хорошо работается в Абхазии. Здесь я нашел хороших людей, к которым привязался всем сердцем. Первый из них — Дмитрий Иосифович Гулиа... Дружба с ним, как и с другими писателями Абхазии — один из магнитов, притягивающих меня к этому краю».

В 1962 г. «Литературная газета» опубликовала статью К. Симонова «Черты облика», посвященную памяти Д. Гулиа. Позже эта статья стала послесловием к роману писателя «Камачич». 8 мая 1968 г. на страницах газеты «Правда» была опубликована статья К. Симонова «Удивительное рядом» — отклик на выход в переводе на русский язык романа в стихах «Песня о скале» народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба (перевод был осуществлен Риммой Казаковой). Печатается по указанному тексту. В 1975 г. им была написана вступительная статья к избранным стихам Б. Шинкуба, в «Литературной газете» в 1973 г. он откликнулся статьей на выход в свет в переводе на русский язык сборника стихов абхазского поэта Ивана Тарба «Книга песен», совместно с Яковом Козловским К. Симонов переводит исторический роман Б. Шинкуба «Последний из ушедших». «О поэзии Баграта Шинкуба» печатается по изданию: Б. Шинкуба «Избранное», М., «Художественная литература», 1976 г. «Живет в своей любви к народу и земле...» печатается по тексту из газеты «Советская Абхазия», 6 июня 1980 г. «Вырубленное из камня» — печатается по тексту из «Литературной газ.», 1 дек. 1962 г. В Агудзера создан Дом-музей К. Симонова — филиал музея Д. И. Гулиа.

ГОЛУБКОВ Дмитрий — русский советский поэт. «Ткварчели» печатается по сборнику лирических стихов «Свидание», Советский писатель, М., 1962.

ВАСИЛЬЕВ Сергей Александрович (1911 г.) — русский советский поэт. Печатается с 1931 г. Стихотворение «Черты открытого лица» печатается по тексту из сборника «Если пелось про это... Грузия в русской советской поэзии», «Мерани», Тбилиси, 1977.

ЕВТУШЕНКО Евгений Александрович (1932) — русский советский поэт. Первая встреча Е. Евтушенко с Абхазией состоялась летом 1952 года. Свидание с морем потрясает его и оно входит в поэзию Евтушенко как символ постоянства чувств. Этому впечатлению посвящено стихотворение «Море». Образ абхазца-крестьянина дан поэтом в поэме «Под кожей статуи Свободы». На вечере поэзии в Сухуми поэт говорил, что ему легко работается в Абхазии, где он написал свыше 100 своих произведений. Тексты произведений поэта публикуются по изданию: Евг. Евтушенко. Избранные произведения в 2-х томах. М., «Художественная литература», 1975, т. 1.

ДОЛМАТОВСКИЙ Евгений Аронович (1915) — русский советский поэт. В Абхазию Евгений Долматовский приехал в послевоенные годы, бывал в доме Д. Гулиа. В 1952 г. Е. Долматовский вновь побывал у Д. Гулиа, когда старый поэт прочитал свое последнее стихотворение. Оно было в тот же день переведено русским поэтом.

В 1975 году в издательстве «Советский писатель» вышла его книга прозы «Было». В ней «Последние стихи Дмитрия Гулиа», печатаются по изданию: Евг.

Долматовский, Советский писатель», М., 1975.

ГРИБАЧЕВ Николай Матвеевич (1910) — русский советский поэт. Первая книга стихов поэта вышла в 1935 г. Тема Кавказа нашла воплощение в цикле «Стихи о Кавказе». Стихотворение «Ткварчели» печатается по сборнику «Если пелось про это... Грузия в русской советской поэзии», «Мерани», Тбилиси, 1977.

БАУКОВ Иван Петрович (1909) — русский советский поэт. Автор нескольких поэтических сборников.

ДЕМЕНТЬЕВ Андрей — советский поэт. «Абхазия в моем сердце...» опубликовано в журнале «Дружба народов», № 2, 1967.

ТАТЬЯНИЧЕВА Людмила Константиновна — русская советская поэтесса. Стихотворение «Мыс Пицунда» было опубликовано в журнале «Огонек», № 9, 1970.

КУДРЕЙКО Анатолий Алексеевич (1907) — русский советский поэт. Впервые печататься начал в 1924 г. «Сухумский снег» печатается по тексту сборника стихов, вышедших в издательстве «Художественная литература». М., в 1975 г.

БОКОВ Виктор Федорович (1914) — русский советский поэт. Стихи о море, объединенные общим заголовком «Стихи, написанные в Гаграх», были опубликованы в сборнике поэта «Три травы», 1975 г. «Абхазия» печатается по сборнику: «Если пелось про это... Грузия в русской советской поэзии». В. П. Пачулиа, которому посвящена «Новоафонская пещера», один из пионеров рекреационного ее использования.

АРТАМОНОВ Ростислав — русский советский поэт. Стихотворение «Сухуми» было опубликовано в сборнике стихов московских поэтов «Московский рассвет», «Московский рабочий», 1977.

КРАСНОВ Николай — русский советский поэт. Стихотворение «Абхазия» — одно из лучших его произведений, посвященных Абхазии. Печатается по тексту из сборника «Огонь — цвет». «Молодой гвардия», 1964.

СОКОЛОВ Владимир Николаевич (1928) — русский советский поэт. Стихотворение «Пицунда» было опубликовано в газете «Литературная Россия» 19 октября 1979 г.

КАЗАКОВА Римма Федоровна (1932) — русская советская поэтесса. Много работает над переводами поэтических произведений абхазских поэтов. «Абхазские слова во мне живут...» публикуется впервые.

КОЗЛОВСКИЙ Яков Абрамович (1921) — русский советский поэт. Известен и как переводчик кавказской и среднеазиатской поэзии. Секретарь правления Московской писательской организации. Стихотворение «На пляже» печатается по сборнику «Как в молодости отдаленной», изд. «Правда», 1981.

СМИРНОВ Сергей Васильевич (1918) — русский советский поэт. Удостоен Государственной премии РСФСР им. Горького (1969). Впервые в Абхазию приехал в 1940 г. В 1954 году С. Смирнов в составе делегации московских писателей приезжал в Сухуми на празднование 80-летия со дня рождения Дмитрия Гулиа. Приезжал писатель в Абхазию и позже. Результатом этих поездок является книга лирических миниатюр «Один на один (Абхазская тетрадь)». Печатается по книге: Сергей Смирнов. Один на один. Издательство «Современник», 1981.

АПСНЫ АУРЫС ЛИТЕРАТУРАҢЫ **Урысшәала**

АБХАЗИЯ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Художник Л. И. Евменов
Художественный редактор П. Г. Цквитария
Технический редактор Л. И. Евменов
Старший корректор А. А. Мхитарян
Корректор Ж. И. Гублиа
Выпускающий Т. С. Ашхараа

ЭИО 330. Сдано в набор 11.11.1982 г. Подписано к печати 31.12.1982г.
Газетн. бум. Формат 84x108 1/32. Усл.-печ.л. 19,74.
Уч.-изд. л. 19,1. Заказ 0663. Тираж 2000 экз. Цена 1 р. 40 к.

Издательство "Алашара", Сухуми, ул. Ленина, 9.

Сухумская типография им. Ленина Госкомитета Грузинской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Сухуми, ул. Ленина, 6.

(OCR — Абхазская интернет-библиотека, <http://apsnyteka.org/>.)